

# КОНТИНЕНТ 40

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNTENT CONTINENT KONTINENT  
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

Кто мог тогда думать, что через полтора года в руках Сырцова будет жизнь и смерть тысяч людей и что



он, этот строитель светлого будущего, будет подписывать на расстрел своих бывших товарищей: студентов, гимназистов и казачков из станиц, воевавших против красных.

*Т. А. Миллер,*

*урожд. Неклюдова*

То была репродукция популярной некогда картины «Всюду жизнь», может быть, кто-то из читателей старшего поколения

еще помнит ее: перрон, на переднем плане голуби что-то клюют, а сквозь решетку столыпинского вагона на них смотрят мужчина и женщина с ребенком на руках.

*Леонид Гиршович*



Гляди: из твоего небытия что у тебя почти отняло

душу

Вырастает такая любовь и дает тебе

бесконечность

Тебе ззку отныне

достойному быть кем

угодно

Быть заржавленным

Богом

Которого человек

прибывает к человеку

И Который плачет увидев



распятого Каина

...Этот ад твоей жизни — твоя хвала Ему

Этот Каин, которым ты был ты его простил...

Твои глаза не отступаются глаз

убийцы

Чтобы он от тебя узнал с какою нежностью

Умирающий Авель

не перестает его созерцать.

*Пьер Эмманюэль*

Было бы ошибкой полагать, что Уклон представлял собой какой-то единый образец, или что существовали



некие отчетливые правила, введенные законодательством, и что правила эти будто бы просто предписывали каждому нынче соблюдать здоровую меру в использовании своих дарований.

*Алексей Ковалев*

Здесь есть дольмены. Но друидов нет, А я бы повидал друидов.

Солнцепоклонник пел, встречая свет; Теперь

не празднуют восходов.

Друидов нет. Есть миллионы жертв,

Но нет ни жертвоприношений,

Ни пения магических торжеств,

Ни погребальных заклинаний

*Игорь Чиннов*



*Главный редактор:* Владимир Максимов  
*Зам. главного редактора:* Наталья Горбаневская  
*Ответственный секретарь:* Виолетта Иверни  
*Заведующий редакцией:* Александр Ниссен

*Редакционная коллегия:*

Василий Аксенов · Ценко Барев · Сол Беллоу  
Николас Бетелл · Энцо Беттица · Иосиф Бродский  
Владимир Буковский · Армандо Вальядарес  
Ежи Гедройц · Александр Гинзбург · Пауль Гома  
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер  
Петр Григоренко · Милован Джилас  
Ирина Иловойская-Альберти · Эжен Ионеско  
Роберт Конквест · Наум Коржавин  
Эдуард Кузнецов · Николаус Лобковиц  
Эрнст Неизвестный · Амос Оз  
Алексис Раннит · Андрей Сахаров · Андрей Седых  
Виктор Спарре · Странник · Юзеф Чапский  
Карл-Густав Штрём · Пьер Эмманюэль

*Корреспонденты «Континента»*

- Израиль Михаил Агурский  
Michael Agoursky, P.O.B 7433,  
Jerusalem, Israel
- Италия Сергей Рапетти  
Sergio Rapetti, via Beruto 1/B  
20131 Milano, Italia
- США Эдуард Лозанский  
Edward Lozansky, The Andrei Sakharov Institute,  
3001 Veazey Terrace, N. W., Suite 332 Washington,  
D. C. 20008, USA
- Япония Госуке Утимура  
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7  
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «КОНТИНЕНТ» — © В. Е. Максимова





# КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический  
и религиозный журнал

40

Издательство «Континент»  
1984



## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Иосиф Бродский — Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова                                                         | 7   |
| Александр Зиновьев — Предостережение из будущего (Мир после третьей мировой войны). Социологический рассказ | 19  |
| Виктор Ворошильский — Из новой книги стихов. Пер. с польского Н. Горбаневской                               | 29  |
| Алексей Ковалев — Случайное семейство. Глава из романа                                                      | 40  |
| Пьер Эмманюэль — Книга Каина. Отрывки из поэмы. Пер. с французского Н. Горбаневской                         | 73  |
| Лев Консон — Короткие повести                                                                               | 79  |
| Наталья Горбаневская — Стихи. Зима 1983/1984                                                                | 83  |
| Леонид Гиришович — Прайс. Главы из книги                                                                    | 88  |
| <br>СТИХИ                                                                                                   |     |
| Александр Верник, Игорь Чиннов                                                                              | 143 |
| Леонид Ржевский — Малиновое варенье                                                                         | 152 |
| Александр Радашкевич — Из новых стихов                                                                      | 176 |
| <br>РОССИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ                                                                                     |     |
| Наум Коржавин — А был ли Сталин-то? (Очерки о психологическом развитии советского большевизма). Окончание   | 183 |
| <br>ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ                                                                              |     |
| Кшиштоф Ежевский — Польша после Папы                                                                        | 209 |
| <br>ЗАПАД — ВОСТОК                                                                                          |     |
| Джон Кип — Нет, мы слушаем...                                                                               | 231 |
| <br>ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА                                                                                   |     |
| Михаил Агурский — Клаус Барбье и Иван Дараган                                                               | 239 |
| <br>ИСТОКИ                                                                                                  |     |
| Две эпохи: события и случаи. Воспоминания Т. А. Миллер, урожд. Неклюдовой                                   | 251 |

## РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <b>Яков Виньковецкий</b> — Врата рая | 327 |
|--------------------------------------|-----|

## ИСКУССТВО

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Владимир Тетерятников</b> — Профессорская вакханалия вокруг русской культуры | 335 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|

## ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Адам Михник</b> — Пушкин и русские глазами польского писателя | 363 |
|------------------------------------------------------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>КОЛОНКА РЕДАКТОРА</b> | 381 |
|--------------------------|-----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| <b>НАША ПОЧТА</b> | 385 |
|-------------------|-----|

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| <b>Е. Брейтбарт</b> — Взглянуть себе в лицо | 401 |
|---------------------------------------------|-----|

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Ю. Милославский</b> — О романе Юза Алешковского «Карусель» | 409 |
|---------------------------------------------------------------|-----|

## ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

### НАША АНКЕТА

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>«Контитенту»</b> — десять лет | 419 |
|----------------------------------|-----|

## ЛИТОВСКИЙ НОКТЮРН: ТОМАСУ ВЕНЦЛОВА

### I

Взбаламутивший море  
ветер рвется как ругань с расквашенных губ  
вглубь холодной державы,  
заурядное до-ре-  
ми-фа-соль-ля-си-до извлекая из каменных труб;  
нецаревны-нежабы  
припадают к земле,  
и сверкает звезды оловянная гривна,  
и подобье лица  
растекается в черном стекле  
как пощечина ливня.

### II

Здравствуй, Томас. То — мой  
призрак, бросивший тело в гостинице где-то  
за морями, гребя  
против северных туч, поспешает домой,  
вырываясь из Нового Света,  
и тревожит тебя.

### III

Поздний вечер в Литве.  
Из костелов бредут, хороня запятые  
свечек в скобках ладоней. В продрогших дворах  
куры роются клювами в жухлой дресве.  
Над жнивьем Жемайтии  
вьется снег, как небесных обителей прах.  
Из раскрытых дверей  
пахнет рыбой. Малец полуголый  
и старуха в платке загоняют корову в сарай.  
Запоздалый еврей  
по брусчатке местечка гремит балаголой,  
вожжи рвет  
и кричит залихватски «Герай!»

### IV

Извини за вторжение.  
Сочти появление за  
возвращенье цитаты в ряды «Манифеста»:  
чуть картовей  
чуть выше октавой от странствий вдали.  
Потому — не крестись,  
не ломай в кулаке картуза:  
сгину прежде, чем грянет с насеста  
петушиное «пли».  
Извини, что без спросу.  
Не пяться от страха в чулан:  
то, кордонов за счет, расширяет свой радиус брэнность.  
Мстя, как камень — колодцу, кольцом грязевым,  
над Балтийской волной  
я жужжу, точно тот моноплан —  
точно Дариус и Геренас,  
но не так уязвим.

## V

Поздний вечер в Империи,  
в нищей провинции.  
Вброд  
перешедшее Неман еловое войско,  
ошестинившись пиками, Ковно в потемки берёт.  
Багровеет известка  
трёхэтажных домов, и булыжник мерцает как  
пойманный лещ.  
Вверх взвивается занавес в местном театре.  
И выносят на улицу главную вещь,  
разделенную на три.  
Без остатка.  
Сквозняк теребит бахрому  
занавески из тюля. Звезда в захолустье  
светит ярче: как карта упавшая в масть.  
И впадает во тьму,  
по стеклу барабана, руки твоей устье.  
Больше некуда впасть.

## VI

В полночь всякая речь  
обретает ухватки слепца.  
Так что даже «отчизна» наощупь как Леди Годива.  
В паутине углов  
микрофоны спецслужбы в квартире певца  
пишут скрежет матраца и всплески мотива  
общей песни без слов.  
Здесь панует стыдливость. Листва, норovia  
выбрать между своей лицевой стороной и изнанкой,  
возмущает фонарь. Отменив рупора,  
миру здесь о себе возвешают, на муравья  
наступив ненароком, невнятной морзянкой  
пульса, скрипом пера.

## VII

Вот откуда твои  
щек мучнистость, безадресность глаза,  
шепелявость и волосы цвета спитой  
тусклой чайной струи.  
Вот откуда вся жизнь как нетвердая честная фраза,  
склонность букв к запятой.  
Вот откуда моей,  
как ее продолжение вверх, оболочки  
в твоих стеклах расплывчатость, бунт голытьбы  
ивняка и т. п., очертанья морей,  
их страниц перевернутость в поисках точки,  
горизонта, судьбы.

## VIII

Наша письменность, Томас! с моим, за поля  
выходящим сказуемым! с хмурым твоим домоседством  
подлежащего! Прочный, чернильный союз,  
кружева, вензеля,  
помесь литеры римской с кириллицей: цели со средством,  
как велел Макроус!  
Наши оттиски! В смятых сырых простынях —  
этих рыхлых извилинах общего мозга! —  
в мягкой глине возлюбленных, в детях без нас.  
Либо — просто синяк  
на скуле мирозданья от взгляда подростка,  
от попытки на глаз  
расстоянье прикинуть от той ли литовской корчмы  
до лица, многооко смотрящего мимо,  
как раскосый монгол за земной частокол,  
чтоб вложить пальцы в рот — в эту рану Фомы —  
и, нащупав язык, на манер серафима  
переправить глагол.

## IX

Мы похожи.

Мы, в сущности, Томас, одно:  
ты, коптящий окно изнутри, я, смотрящий снаружи.

Друг для друга мы суть  
обоюдное дно  
амальгамовой лужи,  
неспособной блеснуть.

Покривись — я отвечу ухмылкой кривой,  
отзовусь на зевоту немотой, раздирающей полость,  
разольюсь в три ручья  
от стоватной слезы над твоей головой.

Мы — взаимный конвой,  
проступающий в Касторе Поллукс,  
в просторечьи — ничья,  
пат, подвижная тень,  
приводимая в действие жаркой лучиной,  
эхо возгласа, сдача с рубля.

Чем сильнее жизнь испорчена, тем  
мы в ней неразличимей  
ока праздного для.

## X

Чем питается призрак? Отбросами сна,  
отрубями границ, шелухой цифири:  
Явь всегда норовит сохранить адреса.  
Переулок сдвигает фасады, как зубы десна,  
желтизну подворотни как сыр простофили  
пожирал лиса  
темноты. Место, времени мстя  
за свое постоянство жильцом, постояльцем,  
жизнью в нем, отпирает засов,  
и эпоху спустя

я тебя застаю в замусоленной пальцем  
сверхдержаве лесов  
и равнин, хорошо сохраняющей мысли, черты  
и особенно позу: в сырой конопляной  
многоверстой рубахе, в гудящих стальных бигуди  
Мать-Литва засыпает над плёсом,  
и ты  
припадаешь к её неприкрытой, стеклянной,  
поллитровой груди.

## XI

Существуют места,  
где ничто не меняется. Это —  
заменители памяти, кислый триумф фиксажа.  
Там шлагбаумы на резкость наводит верста.  
Там чем дальше, тем больше в тебе силуэта.

Там с лица сторожа  
моложавей. Минувшее смотрит вперед  
настороженным глазом подростка в шинели,  
и судьба нарушителем пятится прочь  
в настоящую старость с плевром на стене,  
с ломотой, с бесконечностью в форме панели  
либо лестницы. Ночь  
и взаправду граница, где, как татарва,  
территориям прожитой жизни набегом  
угрожает действительность, и наоборот  
где дрова переходят в деревья и снова в дрова,  
где что веко не спрячет,  
то явь печенегом  
как трофей подберет.

## XII

Полночь. Сойка кричит  
человеческим голосом и обвиняет природу  
в преступленьях термометра против нуля.  
Витовт, бросивший меч и похеривший щит,  
погружается в Балтику в поисках броду  
к шведам. Впрочем, земля  
и сама завершается молотом, погнавшимся за  
как по плоским ступенькам, по волнам  
убежавшей свободой. Усилья бобра  
по постройке запруды венчает слеза  
расставаясь с проворным  
ручейком серебра.

## XIII

Полночь в лиственном крае,  
в губернии цвета пальто.  
Колокольная клинопись. Облако в виде отреза  
на рядно сопредельной державе.

Внизу  
пашни, скирды, плато  
черепицы, кирпич, колоннада, железо,  
плюс обутый в кирзу  
человек государства. Ночной кислород  
наводняют помехи, молитва, сообщенья  
о погоде, известия, храбрый Кошей  
с округленными цифрами, гимны, фокстрот  
болеро, запрещенья  
безымянных вещей.

## XIV

Призрак бродит по Каунасу. Входит в собор.  
Выбегает наружу. Плетется по Лайсвис-аллее.

Входит в «Тюльпе», садится к столу.

Кельнер, глядя в упор,  
видит только салфетки, огни бакалеи,  
снег, такси на углу,  
просто улицу. Бьюсь об заклад,  
ты готов позавидовать. Ибо незримость  
входит в моду с годами — как тела уступка душе,  
как намёк на грядущее, как маскхалат  
Рая, как затянувшийся минус.

Ибо все в барыше  
от отсутствия, от  
бестелесности: горы и доли,  
медный маятник, сильно привыкший к часам,  
Бог, смотрящий на всё это дело с высот,  
зеркала, коридоры,  
соглядатай, ты сам.

## XV

Призрак бродит бесцельно по Каунасу. Он  
суть твоё прибавление к воздуху мысли  
обо мне, суть пространство в квадрате, а не  
энергичная проповедь лучших времен.

Не завидуй. Причисли  
привиденье к родне,  
к свойствам воздуха — так же, как мелкий петит  
рассыпаемый в сумраке речью картавой  
вроде цокота мух,  
неспособный, поди, утолить аппетит  
новой Клио, одетой заставой,

но ласкающий слух  
обнаженной Урании. Только она,  
Муза точки в пространстве и Муза утраты  
очертаний, как скарעד — гроши,  
в состояньи сполна  
оценить постоянство: как форму расплаты  
за движение — души.

## XVI

Вот откуда пера,  
Томас, к буквам привязанность. Вот чем  
объясняться должно тяготенье, не так ли? Скрепя  
сердца, с хриплым «пора!»  
отрывая себя от родных заболоченных вотчин,  
что скрывать — от тебя!  
от страницы, от букв, от — сказать ли! — любви  
звука к смыслу, бесплотности к массе  
и свободы к — прости  
и лица не криви —  
к рабству, данному в мясе,  
во плоти, на кости,  
эта вещь воспаряет в чернильный ночной эмпирей  
мимо дремлющих в нише  
местных ангелов. Выше  
их и нетопырей.

## XVII

Муза точки в пространстве! Вещей, различаемых лишь  
в телескоп! Вычитанья  
без остатка! Нуля!  
Ты, кто горлу велишь  
избегать причитанья,  
превышения «ля»

и советуешь сдержанность! Муза, прими  
эту арию следствия, петую в ухо причине,  
то есть песнь двойнику,  
и взгляни на неё и её до-ре-ми  
там, в разреженном чине,  
у себя наверху  
с точки зрения воздуха.  
Воздух и есть эпилог  
для сетчатки — поскольку он необитаем.  
Он суть наше «домой»,  
восвояси вернувшийся слог.  
Сколько жаброй его ни хватаем,  
он успешно латаем  
светом взапуски с тьмой.

## XVIII

У всего есть предел:  
горизонт — у зрачка, у отчаянья — память, для роста  
расширение плеч.  
Только звук отделяться способен от тел,  
вроде призрака, Томас. Сиротство  
звука, Томас, есть речь.  
Отстранив абажур, глядя прямо перед собою,  
видишь воздух: в анфас  
сонмы тех, кто губою  
наследил в нём до нас.

## XIX

В царстве воздуха! В равенстве слога глотку  
кислорода. В прозрачных и в сбившихся в облак  
наших выдохах. В том  
мире, где, точно сны к потолку,

к небу льнут наши «о!», где звезда обретает свой облик  
    продиктованный ртом.  
Вот чем дышит вселенная. Вот  
    что петух кукарекал,  
упреждая гортани великую сушь!  
Воздух — вещь языка.  
    Небосвод —  
хор согласных и гласных молекул,  
    в просторечии — душ.

## XX

Оттого-то он чист.  
Нет на свете вещей, безупречней  
    (кроме смерти самой)  
    отбеляющих лист.  
Чем белее, тем бесчеловечней.  
Муза, можно домой?  
Восвояси! В тот край,  
где бездумный Борей попирает беспечно трофеи  
уст. В грамматику без  
    препинания. В рай  
    алфавита, трахеи.  
В твой безликий ликбез.

## XXI

Над холмами Литвы  
что-то вроде мольбы за весь мир  
раздаётся в потёмках: бубнящий, глухой, невесёлый  
звук плывёт над селеньями в сторону Куршской Косы.  
То Святой Казимир  
с Чудотворным Николой  
    коротают часы  
в ожидании зимней зари.

За пределами веры,  
из своей стратосферы,  
Муза, с ними призри  
на певца тех равнин, в рукотворную тьму  
погруженных по кровлю, на певца усмирённых пейзажей.  
Обнеси своей стражей  
дом и сердце ему.

Десятилетие журнала в эмиграции – это немалый срок. За эти десять лет «Континент», по моему глубокому убеждению, выполнил свою роль в среде русской эмиграции и западноевропейской интеллектуальной жизни. Но для меня, как для поляка, само существование этого журнала имеет и личное значение: в нем на протяжении всего десятилетия неизменно находила отражение тема Польши. Поэтому сегодня я хочу пожелать «Континенту» жить и действовать как можно дольше, так долго, как долго будет продолжаться наше и ваше изгнание. «Континент» – красноречивое свидетельство того, что, несмотря на все противоречия между нашими народами, дружеский диалог между ними все-таки возможен. Успеха вам, дорогие друзья!

*Юзеф (Иосиф) Чапский*

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ИЗ БУДУЩЕГО

*(Мир после третьей мировой войны)*

Я поздравляю всех сотрудников журнала «Контитент» и лично его редактора Владимира Максимова с юбилеем журнала. Посвящаю этому юбилею мой короткий социологический рассказ.

*А. Зиновьев*

В результате третьей мировой войны все крупные государства планеты были разрушены. Население сократилось по меньшей мере в десять раз. От эпидемий, явившихся следствием применения бактериологического оружия, почти полностью вымерло население Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Мир распался на бесчисленное множество мелких человеческих объединений. Разрушительные последствия от борьбы между ними довершили страшный процесс крушения цивилизации.

Большая часть уцелевших на планете людей начала деградировать не только культурно, но и биологически. Через несколько десятков поколений эта деградация зашла настолько далеко, что никакой надежды на возвращение к прежним биосоциальным высотам не осталось. Лишь незначительная часть европейцев сумела сохранить зачатки прежних человеческих качеств и развить их затем до уровня, сопоставимого с довоенным. Им постоянно приходилось вести жестокую борьбу с деградантами, которые стали для них столь же опасными врагами, как и полчища гигантских крыс, совершавшие набеги на их поселения и временами уничтожавшие целые города и даже маленькие государства. Часто деграданты объединялись для таких нападений с крысами. Пос-

леднее такое крупное нападение имело место на юге бывшей территории Франции. Тогда крысы и деграданты окружили довольно значительное государство и сожрали всех его граждан в течение нескольких минут. От полного уничтожения европейцев спасло лишь то, что крысы и деграданты поссорились между собою и нанесли друг другу урон, сделавший их неспособными завоевать полное господство на планете. После такого побоища и возникла идея объединения европейских государств в единое целое с целью создания системы защиты от внешних нападений. Проблема встала так: либо гибель, либо совместная защита от врагов и прекращение междоусобиц. Так на территории нынешней Европы сложилось сравнительно большое и сильное государство Гумания. Чтобы это случилось, прошло много веков борьбы остатков рода человеческого за выживание.

Создание единой системы защитных сооружений послужило лишь началом и толчком к объединению уцелевшего и сохранившего искры цивилизации населения Европы в единое общество. К проблеме самозащиты от общих врагов присоединились проблемы источников энергии и питания, а также проблемы внутренней организации большого объединения людей в условиях, какие в истории человечества появились впервые. Среди этих условий особого внимания заслуживают такие. Это, во-первых, необычайно трудные условия биологического существования, каких никогда еще не знали люди. Окружающий общество мир грозил гибелью или в лучшем случае вырождением. Он постоянно в самых различных и неожиданных формах врывается и внутрь общества, производя страшные опустошения и вынуждая тратить все силы на борьбу с ним и на самосохранение. Даже климатические условия стали настолько опасными для жизни, что изоляция людей от природы стала необходимым условием их выживания на достигнутом ранее

биологическом уровне. А решить эту проблему для больших масс людей на многие годы можно было только путем объединения усилий и средств всех остатков цивилизации. Не только отдельные люди, но вся жизнь общества нуждалась в неких защитных искусственных оболочках.

Вторая группа условий заключалась в следующем. Несмотря на разрушительную войну и последующие разрушительные события, от прежней (довоенной) цивилизации сохранились огромные ценности. И теперь все цивилизаторские усилия общества оказались направленными на то, чтобы овладеть этими ценностями и приспособить их для нужд современной жизни граждан. Так что общество, сложившееся на развалинах довоенной европейской цивилизации, оказалось в известном смысле вторичным по отношению к обществу довоенному, производным от него, более высокой ступенью его развития. Так что тезис государственной идеологии Гумани, согласно которому Гуманитя является вершиной развития человечества, есть неоспоримое научное утверждение. Процесс исторического развития не есть непрерывное наращивание неких добродетелей и достоинств. Он включает в себя и периоды катастроф, в результате преодоления последствий которых человечество делает новый шаг вперед.

Сам процесс объединения мелких государств послевоенного периода проходил в жестокой внутренней борьбе и стоил жертв, сопоставимых с жертвами от набегов крыс и деградантов. Так что временами снова побеждали тенденции к раздробленности и автономии. Победа объединяющей тенденции не была фатальной. Больше пятисот лет ушло на то, чтобы эта тенденция утвердилась и стала доминирующей. И еще тысяча лет ушла на то, чтобы складывающееся общество доказало свои преимущества перед всеми прочими формами социальной жизни и чтобы граждане

стали его воспринимать как вполне естественное, максимально разумное и даже единственно возможное.

Хотя в результате войны многое было разрушено и уничтожено, все же то, что накопило человечество и что сохранилось, было вполне достаточно, чтобы в изобилии обеспечить потребности сравнительно небольшой уцелевшей группе людей практически навечно. Сохранить накопленные богатства, отобрать из них, что требуется, сделать пригодным для употребления и распределить среди людей — вот что стало основным для общества. Общество изобилия, которое обещали коммунисты прошлого, стало явью.

Производство стало не созданием нового, а отбором и использованием созданного ранее — вторичным производством. Наука стала не открытием новых истин, а изучением того, что было открыто ранее. Профессия писателя превратилась в просмотр литературы прошлого, отбор нужного, переработку отобранного по определенным правилам. И так во всем. Представьте себе, что группа людей поселилась в гигантском складе, в котором есть абсолютно все, что нужно для тела и души. Так произошло с Гуманней. С той лишь разницей, что угроза физическому существованию вынудила к определенным защитным средствам, которые, наложившись на законы организации больших масс людей в единое целое, дали тот социальный феномен, о котором я говорю.

Вековая мечта некоторой части человечества о разделении людей на низшую и высшую расу в Гуманнии осуществилась как бы сама собой. Породив деградантов, история невольно сделала бесценный подарок людям. — она породила естественный материал для выведения существ низшей сравнительно с людьми расы. Сначала гуманийцы использовали некоторую часть захваченных деградантов наподобие рабочей скотины. Затем начался добровольный приток деградантов, которые соглашались на любые условия жиз-

ни в Гумании, лишь бы не возвращаться обратно в послевоенные смертельно опасные джунгли, окружающие Гуманию. Со временем гуманийцы начали специально охотиться на деградантов, отбирая лучшие экземпляры для использования на самых тяжелых и неприятных (особенно — жизненно опасных) работах. Наконец, возникла целая отрасль хозяйства — разведение деградантов. Отбор в ряде поколений позволил вывести из деградантов идеальных рабов, о которых и мечтать не смели рабовладельцы прошлого.

Разводили деградантов на территориях, примыкающих к Гумании, но не входящих в нее. Эти территории точно так же были защищены от окружающей среды. Деградантов содержали и разводили как скот. Их обеспечивали всем необходимым для существования и обучали лишь настолько, чтобы они могли выполнять определенную работу, само собой разумеется — самую грязную, тяжелую, скучную и опасную. Для них были целиком и полностью исключены группировки и иерархическое структурирование (подобно тому, как домашние коровы и лошади не имеют своей социальной структуры). Деграданты выполняли все работы под контролем гуманоидов. Каждый гражданин Гумании ощущал себя представителем высшей расы в сравнении с деградантами. Деграданты составляли бесструктурную массу существ, лишь под контролем гуманоидов образующих временные объединения в интересах гуманоидов. Последние же образовали сложное, структурированное социальное объединение. Собственно говоря, лишь они образовали общество. И все проблемы организации, контроля, управления и прочие как социальные проблемы касаются только их (подобно тому, как коровы и лошади не входят в социальную структуру нынешних стран). Деграданты стали лишь необходимым средством производства нового типа, а также фактором общественной психологии и идеологии Гумании.

В прошлом проблему организации больших масс людей в целое решали всегда путем создания системы власти, т. е. принуждения. Всю историю человечества властители стремились к абсолютному контролю за поведением подчиненных и к абсолютной власти над их судьбой. Предел этого — сосредоточение и воплощение этого идеала власти в одном человеке. Многим удавалось приблизиться к этому идеалу настолько близко, что казалось, будто и на самом деле он достигнут. Но он никогда не бывал достигнут на самом деле. Всегда что-то в поведении людей оставалось неподконтрольным от вышестоящих властителей. Всегда какие-то группы людей выпадали из-под их контроля, восставали, отделялись. Судьбы властителей и их режимов говорят о том же — приближение к идеалам власти было всегда кратковременным и неустойчивым. В Гумании проблема контроля за поведением людей и управления ими была решена раз и навсегда, причем не в духе примитивных честолюбцев и насильников прошлого, а в полном соответствии с социальными законами — т. е. как власть отчужденной организации людей в целое над самими организуемыми людьми и как абсолютное условие самосохранения всех и каждого.

Что я имею в виду, говоря об отчужденной организации людей в целостный общественный организм? Если бы все гуманоиды умерли, то осталось бы некое грандиозное техническое сооружение, представляющее собою основу, скелет, объединяющую систему и прочее и прочее и прочее гуманийского общества. Без людей это сооружение мертво — лишь люди делают его живым организмом. Но без него люди не способны существовать и образовывать целое общество. Это — своеобразный социобиологический гибрид. Люди помещаются в ячейках этого сооружения, оживляя его своим интеллектом, своей волей, своими эмоциями. Человек может существовать в этом обществе

только при том условии, что он занимает в нем определенную техническую ячейку. Заняв эту ячейку, он вынужден в ней выполнять строго определенные функции и выполнять их должным образом, иначе он лишается средств существования, изымается и заменяется другим, более подходящим индивидом. Здесь за человеком строго закрепляется определенная функция. И сам он строго прикрепляется к определенной ячейке механизма. Человек может сменить функции и ячейку (например, поднимаясь по иерархической лестнице), но — по строго определенным правилам.

Существенно здесь то, что распределение людей по социальным ячейкам, изменение их положения, распределение жизненных благ и прочие жизненно важные действия здесь переданы людьми упомянутому техническому устройству — результату их коллективной мысли и воли. Потому здесь исключена несправедливость, обычная для нашего общества. Исключены обман, недобросовестность, коррупция, карьеризм и прочие язвы, обычные у нас. Даже самые высшие лица в социальной иерархии находятся целиком и полностью во власти отчужденной справедливости. Они за свое положение имеют больше благ, но они не способны злоупотреблять своим положением.

Да в этом и нет надобности. Здесь невозможно накопление и перераспределение ценностей. Здесь нет никаких денег: люди все получают без них по соответствующим, механически выполняемым нормам. Исключена группировка людей, не зависящая от выполняемых ими функций. Исключена механически. И она лишена смысла. Ради чего? Протест? А против чего? Против неотвратимых законов природы?

Размножение членов общества производится так. Особые устройства отбирают наиболее ценные экземпляры обоих полов и скрещивают их в расчете получить нужное число новых индивидов заданных заранее типов. Причем мужчины и женщины не всту-

пают в контакт. На них просто оказывается воздействие особыми устройствами, в результате чего они получают сексуальное удовлетворение. Оплодотворение же происходит в особых устройствах, в которых затем развиваются эмбрионы. Родители не знают своих детей, дети — родителей. Семейные отношения исключены как ненужные с точки зрения интересов целого. Все индивиды испытывают сексуальное удовлетворение индивидуально в соответствии с установленными нормами.

Индивиды не вступают в непосредственные контакты вообще. Они вступают в личные контакты в установленное время и с определенными независимо от их воли другими индивидами посредством телевизионных устройств. Учтены все возможные типы контактов и комбинаций партнеров. Все потребности общения удовлетворяются в соответствии с нормами общения для данной категории лиц.

Все члены общества автоматически получают определенные вещества и облучения, благодаря чему они постоянно находятся в состоянии удовлетворения своим положением. Уровень удовлетворенности и степень счастливости повышается с повышением позиции, занимаемой индивидом. Воздействие это подобно воздействию наркотиков, но без вредных последствий и в меру. Одновременно члены общества воспитываются идеологически так, что живут они с сознанием абсолютной справедливости бытия и своего исключительного положения высших существ. Они ощущают себя богами различной степени божественности.

Наступает момент, когда дальнейшее существование индивида становится нежелательным или даже опасным для общества, и его находят целесообразным уничтожить, заменив новым. Решение принимается особым устройством на основе расчетов жизненного и производственного потенциала индивида на компьютерах. Индивид уничтожается мгновенно.

Таким образом снимается страх смерти. Прочие члены общества не знают об уничтожении отработанного члена. Впечатление создается такое, будто индивиды живут вечно. И они живут с сознанием вечности своего существования.

Короче говоря, все сферы жизни людей абсолютно рационализированы и изъяты из субъективной власти и воли отдельных людей. Исполнение всех правил коллективной жизни передано техническому устройству, так что ни один из членов общества (включая высших лиц) не может помешать исполнению этих правил или нарушить их.

Как следствие в обществе исчезла персонификация граждан — они обозначались номерами ячеек, в которые они попадали в результате распределения людей по ячейкам. В этом есть свои плюсы. В частности, исчезло тщеславие, возвеличивание ничтожеств, подхалимство и многие другие явления, разъедавшие души людей в прошлом.

Прошли века. На планете восстановились нормальные (с нашей точки зрения) условия жизни. Но эволюция человечества уже пошла в определенном направлении, причем необратимая. Именно в изменившихся условиях, когда исчезли прежние опасности, эта эволюция дошла до логического конца, т. е. до наиболее полного воплощения законов коммуналности в механическую принудительную силу технического устройства, о котором я говорил. Теперь сами люди эволюционировали так, что для них отказ от изобретенной веками формы социальной организации стал невозможен в силу их собственной природы. К тому же, какой смысл в том, чтобы отказываться от нее? Снова ринуться в кошмары прошлой истории, дабы в результате неслыханных страданий снова прийти к данному состоянию, вполне устраивающему гуманоидов? А если в результате некоей мировой войны (а войны тогда будут неизбежны) никто не уце-

леет? Нет, не стоит рисковать. И механически-животное состояние утвердилось на планете до скончания века.

Юный «Стрелец» поздравляет старейшину нашей эмиграции со славным юбилеем и желает дальнейшего процветания во имя России! О, как многие скривятся от этих слов — славный юбилей и во имя России, — сколь многие, чьи отравленные стрелы на глазах подростка «Стрельца» летели в сердце «Континента», возмутятся и возопят... Но Бог с ними! Как говорится на древнем и мудром Востоке, «собака лает, а караван идет»! Создатели «Стрельца» читали первый номер «Континента» еще в России. Бескомпромисность и демократичность «Континента», верность его себе, своим принципам, своему мировоззрению служили примером нам здесь. И мы хотим надеяться, что день придет: и однажды мы, редакторы, авторы и младшие коллеги «Континента» соберемся в его редакции в Москве, скажем, где-нибудь на Цветном Бульваре, и будем вспоминать, вспоминать... И Париж. И Нью-Йорк. И Берлин (Западный)... А за окном будет наша Россия, свободная Россия, вечная Россия!

Может, все это звучит слишком оптимистично? Что ж, молодости свойственен и прощителен оптимизм. А «Континенту» многие лета, многие лета, многие лета!..

*Александр Глезер, Сергей Петрунис, Виталий Длуги*

## ИЗ НОВОЙ КНИГИ СТИХОВ

*Перевод с польского Н. Горбаневской*

Новая книга стихов Виктора Ворошильского «Зеркало. Дневник интернирования» вышла в 1983 г. в подпольном издательстве «Офицына Литерацка» («Литературное книгоиздательство»). В ее состав входят два больших цикла, давших ей название: первый, «Зеркало», – стихи 1980 – 1981 гг., второй, «Дневник интернирования», в свою очередь состоит из двух частей, написанных в лагерях интернирования в Бялолэнке и Явоже (зима 1981 – 1982) и Дарлувке (весна – лето – осень 1982). Книгу открывает более раннее стихотворение, с которого начинается и наша подборка переводов.

ОДНАЖДЫ ЗИМОЮ В ОДНОМ ГОРОДЕ РАБОЧИЕ ОТГОВА-  
РИВАЮТ ПРОХОЖИХ  
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НИМ

Мы идем А вы не ходите с нами  
Вы не ходите с нами  
Вы у кого не всё еще отняли  
Вы не ходите с нами  
Пока вам хватает хлеба и надежды  
Вы не ходите с нами  
Ваш огонь греет Наш выжигает  
Вы не ходите с нами  
У вас каша вскипает У нас накипело  
Вы не ходите с нами  
Ваша дверь тиха Наша взломана стонет  
Вы не ходите с нами  
Вам стена защитой Мы к стене приперты  
Вы не ходите с нами

Кому локтя из сустава не вырвали  
Вы не ходите с нами  
Изо рта последней корки не вырвали  
Вы не ходите с нами  
Брата из братской семьи не вырвали  
Вы не ходите с нами  
Пока вам больно но не так еще больно  
Пока вам тошно но не так еще тошно  
Пока вас топчут но не так еще топчут  
Пока вас мучат но не так еще мучат  
Пока вам хватает пива и смиренья  
Вы не ходите с нами  
Вы не ходите с нами

*1970–1976*

## ЗЕРКАЛО

1

Этот сеющий снег моего старения  
засыпанья забвением слов лиц происшествий жизни  
это и снег возврата  
прежних зим изумлений замечетей звучных  
прохожу по белому следу легкий без этих лет  
здесь где стала река моего детства  
на другую сторону на оледенелый берег  
меж заснеженными звонницами  
деревьями вылепленными из белизны  
по занесенному следу сквозь сад и до самого края  
раздвигаю льдистые стёжки но там  
незнакомый сон и я отступаю в смущеньи

Говорил я хочу запомнить  
а хотел забыть

Я сжигал мосты  
оставался пепел

Я хотел быть кем-то иным  
не дитятей околицы этой  
пробуждений в светлой солнечной люльке  
песчаных дорог  
седых дождей и морозов  
я хотел быть зачатым на месте где я стою  
на месте где я мне казалось стою  
не раненный и свободный

Я сжигал сны  
оставалось пробужденье

Дракон поселился со мной От его дыханья  
высыхала река  
та единственная в которую  
окунувшись  
я обрел бы жизнь  
я сбегал по крутому берегу  
но ее уже не было  
она уходила в землю  
последнею пеной клубилась  
возле скользких камней  
и порастала степью

Мост простирали крылья  
и отлетал

Берег на глазах рассыпался

Сугроб это белая церковь зимы  
 Земля возносит молитвы главами сугробов  
 Войди приглашает в их перезвон в их белизну  
 поверь полюби с возвышенным полем сойдишь

Во что поле верит  
 Кому молится поле  
 В зиму оно верит или звенящую весну  
 чему обучает распростертая религия поля

Молит ли оно о снятии чар о таянии снега  
 или смиренно принимает снежный покров  
 высматривая в поземке Единого Бога

а когда лес-иноверец елово-колкий  
 подступает осадой  
 оно против него застывает в плоской  
 тяжелой  
 ледовитой верности

Уже только об этом  
 из меня выплывающем  
 меня омывающим  
 океане времени капля по капле

Кровь ли это  
 или огонь  
 или снег  
 или мрак

хлюпает плещется пенится  
 точит камень каждого дня  
 подмывает каждой минуты твердь

и вдруг  
беззвучно смерзается  
в костистую хватку на горле  
панцирь смерти  
стеклянное месиво в венах  
безбрежное зеркальное поле  
сибирь

14

Ничто не тождественно себе  
Всё одновременно своя противоположность  
Сон есть высшее сознание  
Память – забвение  
Нежность – убийство  
Побег и погоня жаркими копытами выжигают один и  
тот же след  
Камень к небесам простирает голодные ладони  
Зеленый шепот травы камнеет

А я и побег и погоня  
груз и согбенные плечи  
травы и камень  
во мне и нежность и ненависть  
и обе поминутно обращаются в свою противоположность  
я несу в себе жажду и отвращение  
ясновиденье и слепоту  
я здесь но я и там  
я не гляжусь в зеркало  
оно иронически глядится в меня  
искажающего чистый облик его поверхности

Надо бежать по улицам города  
 не оглядываясь назад  
 на соляные столбы  
 на всадников колющих пиками  
 на макеты манекены железные башни  
 по самой середке сонного крика  
 по улицам серой бессонницы  
 по белому пустырю простынь  
 по скомканным ледникам постелей  
 на тот берег  
 взбираясь на звонницы с боем часов  
 раздвигая оледенелые годы  
 не останавливаясь до самого конца  
 до вздоха облегчения  
 до круга людей за белой скатертью  
 и отдаленного запаха тихого шелеста  
 праздника

Из бесстыдной расщелины рассвета из рассеченного  
 зеркала из переполовиненного сна  
 выливается выплескивает хлещет  
 этот хоровод карнавал  
 мир  
 в рыжем парике с набеленной половиной лица  
 дрыгая гримасничая и пляша  
 танцовщицы и личины  
 чучела на велосипедах  
 обезьяны и носороги  
 шелестящая листва и черный град  
 тулумбасы и тифоны  
 холодные огни холодные глаза  
 железные фаллы торчащие к небу

Идут привиденья званные и незванные  
мои умершие  
полуживые  
убийцы  
пожиратели высохших трав любовники глины  
те на чьей стороне я был когда они умирали  
те кто не на моей стороне когда я хочу жить  
идут воскресшие торжествующие  
требующие свободы  
для насилия и подчинения насилию  
И все пропадает в задымке  
личины воздушные шарик  
в шраме зеркала крупной солью жизни оседает снег  
и по этому шву по белым стежкам на черном тяжело  
тащится старец с выцветшими глазами  
женщина с разинутым ртом  
мальчик на костылях  
и раскрывается пусто-место между ними  
и туда вступает тот кого я ждал  
и остановившись поднимает ко мне лицо  
не такое прекрасное как в приюте воспоминаний

20

Я и есть это заснеженное поле по мне  
все прошли на моей белизне их черные следы

Я жду я дышу

Засыпаю и просыпаюсь

Зима я чую в себе весну

Перепахан перекроен перелопачен

Моя оголённость мой гололёд

По себе самому бороздою морозной бегу себя топчу

По краю бывшего побоища заиндевелою стежкой через  
сад

Во мне во мне известковая яма рассеянный прах  
вечный покой любовная пляска червей упрямство серых  
ростков

Ритм распада и становления

И когда я оттаю я заговорю  
шелестом забытых языков гулом баталий  
иероглифом голода и желания  
хоралом

И отразится во мне с высоты  
звездный пульсирующий отклик

## ДНЕВНИК ИНТЕРНИРОВАНИЯ

*ПОДСЛУШАНО*

Сдал ты что ли этот лом  
ну сдал  
а я не сдал  
надо было сдать  
чего ж я буду сдавать и брать  
сдавать и брать

## *БЕЗОПАСНОСТЬ*

Померещилось тебе Спи Никто не звонил  
Это не твой дом в него не ворвутся  
Двери заперты снаружи их не выломают  
Человек в коридоре  
не пришел за тобой  
он тебя стережет

## *ПОДПИШИТЕ-КА ЭТО*

Вы меня не знаете а я вас знаю  
Я вами интересуюсь  
Не хотите так напишите своими словами  
Жаль что вы как-то так  
Если вы нет то я  
Сами выбрали  
Ничего хорошего не ждите

## *ОПЫТНЫЙ ЗЕК СОВЕТУЕТ НЕ СЧИТАТЬ ДНЕЙ*

Не считай дней до выхода на свободу  
Срок пройдет а ты все будешь тут  
Несбывшаяся надежда как отравка  
Этот день наступит но не думай о нем как не думаешь о  
смерти  
дай ему прийти незваному как смерть

## *ВСТРЕЧА*

Заросшие мужчины  
кидаются в объятия друг друга  
Как там наша камера  
Кто спит на моих нарах

Рваная тюремная биография  
на мгновение срастается  
первая камера становится  
утраченной родиной  
сентиментальным детством зэка

### *СОН И ЯВЬ*

Наяву я здесь  
в колючечном чреве этой зимы Во сне  
навещаю иные пейзажи иные времена года  
Но все чаще когда засыпаю  
я по-прежнему здесь  
между скованным белым озером  
и недвижимым лесом  
и сон порошит поземкой  
и расставляет охрану  
в заснеженных башлыках

### *МОРЕ*

Море как Бог

Слышу его шум  
а не вижу за туманом за лесом

Так близко  
а не дойти

Думаю что оно есть  
не уверен  
хочу чтоб оно там было

## ГОВОРIT ЗАМÓК

Проснись я твоя предрассветная птица  
мой нежный скрежет продирает тебе глаза  
ржавчины луч озаряет твою молитву

Ты был послушным теперь ты можешь шагнуть  
но смотри я в любое мгновенье сумею захлопнуться  
Не затрудняй моего тяготенья  
я всего лишь из железа и еле справляюсь

Мне сегодня положено выслушать твою исповедь  
продиктовать тебе письмо домой  
почитать твои движения и взгляды  
обыскать не спрятал ли ты одного из них

Научись меня читать мой ты ученый  
это поможет тебе пережить день

И пусть твой сон не совершает попытки побега

## ЛИШЬ БЫ ДО ВЕСНЫ

Земля  
серый зэк на космическом прогулочном дворике  
снова вытоптала круг  
и вернулась  
в эту грусть эту осень  
где дни желтеют и облетают  
ветер треплет мокрое белье тумана  
и только клин журавлиный  
вышибает расщелину в небе

# СЛУЧАЙНОЕ СЕМЕЙСТВО

## *Глава из романа*

### ОТ АВТОРА

Книга задумана в традициях большого романа и предположительно должна составить 25 печатных листов.

Две первые части (500 стр.) закончены еще в России. Но условия эмиграции из Сов. Союза настолько жестки, что не позволили вывезти рукопись. Она была конфискована таможенными властями.

В настоящее время мной восстановлены обе части и я продолжаю работать над последней.

Темой романа является нынешняя Российская действительность.

В свое время Герцен сказал: «Настоящее никогда не наше, ибо поглощает нас собой». Чтобы попытаться изобразить более или менее объективную картину действительности, иногда бывает необходимо отстраниться от нее, взглянуть свежими глазами. Такая возможность и представляется по сюжету главному персонажу романа — А. С. Апушкину.

Неизвестная болезнь (некая форма летаргии) продержала его в бессознательном состоянии около 30 лет. Началось это в конце 50-х — начале 60-х годов, то есть в период послесталинской оттепели, в пору национальных надежд и общего народного ликования.

Это ощущение сохраняется в памяти героя, который теперь вынужден продолжать жизнь в незнакомых для него и малопривычных условиях конца века.

В соответствии с государственной политикой точные даты и сроки лишились своего принципиального значения. Так что герою трудно даже выяснить, сколько времени продолжался его сон. Вместе с тем, действительность сохраняет вполне узнаваемые внешние черты, что позволяет повествованию развиваться в реалистическом русле.

Ряд психологических и социальных загадок, которые герой вынужден разгадывать самостоятельно, помогают проникнуть в некоторые глубинные принципы жизни в России конца XX века.

Лишенный родственных и дружеских связей, не находя отклика своим представлениям о жизни, герой все упорнее ищет ту точку в прошлом, где оборвались важные для него традиции.

Я стараюсь в романе избегать критической авторской позиции. И хотя симпатии мои во многом на стороне героя, я хочу честно рассказать, что знаю о России последних десятилетий.

Заглавие романа — «Случайное семейство» — относит нас к последним страницам романа Достоевского «Подросток». В период русской истории, описываемый автором, его внимание привлекла одна особенность. Странные, невозможные прежде браки между представителями разных слоев общества создавали новые семьи — без традиций, без устойчивых нравственных ценностей. Так началось разрушение органической иерархии в обществе. Достоевский предвидел печальные последствия этой тенденции и оказался прав.

Богом данное человеку представление об иерархии разрушалось не только внешними средствами — сменой власти, государственного строя, физическим уничтожением лучшей части нации. Это разрушение шло и внутренними путями, когда человек поспешно, одну за другой упразднял в своей душе христианские заповеди.

Вероятное последствие этого грустного процесса, наряду с некоторыми другими особенностями общественной жизни в современной России, является содержанием книги.

Некоторые слова в книге наделены новым смыслом, который герою приходится разгадывать вместе с нами. Так в предлагаемом отрывке слово «пчелы» является общепринятым обозначением возраста. Тех, кому за сорок и кто уже учился в школе, когда ввели Всеобщую Дошкольную Подготовку, связанную с усиленным Освоением учебного материала, называют пчелами. Тех же, кто родился позже и эту Подготовку прошел, называют осами.

Такие слова, как Уклон, двочка, табель (или таб), нынки — разъясняются в самом тексте.

Плик-плюк, плик-плюк, плики-пляки-плёки-плюк, — раздавался из кухни приглушенный мерный звук утечки. Сур не мог заснуть. Но не эти, отчетливые в ночной тишине звуки ему мешали. Он давно уже перевалил обычный полторачасовой разбег, помогавший ему справиться со страхом перед прыжком в болото сновидений. Сегодня и это время было истрачено не по назначению.

Шепотом покряхтывая, чтобы не беспокоить сына, старик сел на кровати, опустив босые ноги на ковер. Посидел в темноте, чувствуя, как по полу тянет приятным холодком. Потом встал, нащупал шлепанцы и, неслышно ступая, перешел в комнату сына. Опустив как можно ниже колпак настольной лампы, старик включил ее, прислушался и медленно обернулся к кровати.

Гарик спал крепко. Он лежал на боку, до уха закрывшись одеялом и уперев свой большой красивый нос в край выемки, промятой в подушке его черноволосой головой. Любуясь сыном, старик обошел кровать и осторожно сел в низкое кресло у балкона. Кресло не скрипнуло, только пижама пошуршала по подушкам, когда он устраивался поудобнее.

Через полминуты Гарик открыл свободный глаз. Не подняв головы, он взгляделся в сидящего отца, потом опять закрыл глаз и спросил:

— Тебе нехорошо?

— Сынок, — тихо и торжественно произнес старик, — отец хочет поговорить с тобой. Отец хочет знать, что он не одинок. Твоя мать, которую я любил без памяти, не могла перед смертью сказать ни слова. Но если бы смогла, я знаю, что она сказала бы. «Береги мальчика, пока сможешь, — вот что она обязательно сказала бы, — а когда уже не сможешь, пусть мальчик тебя бережет». И вот я хочу знать, всё ли я для тебя сделал. Скоро я уже не смогу тебе помочь. Доволен ли ты своей жизнью, сынок?

Полежав еще немного неподвижно, Гарик откинул одеяло, встал и уселся в такое же кресло напротив отца.

— Прости, я еще не совсем проснулся и плохо соображаю. Что-нибудь у нас случилось?

— Как посмотреть, — сказал отец с решимостью человека, которому больше некуда отступать. — Может быть, и нет. Может быть, всё так хорошо, что

все должны только завидовать нам. Но я хочу, чтобы ты сказал это сам. Ты не хочешь сначала выпить молока?

— Нет, папа, спасибо. Я чувствую себя хорошо. Может быть, тебе принести?

— Спасибо, ты же знаешь, я стараюсь на ночь ничего не есть и не пить. Надеюсь, мы еще посидим.

— Тогда говори, папа.

— Я вспоминаю свою жизнь, мой мальчик, и радуюсь, что не совершил в ней большого зла. Как сказала бы твоя бабушка, Бог не слишком осудит меня за мои грехи. Не знаю точно, что она имела в виду, но повторяла эти слова не раз и не два, — Сур помедлил, внимательно глядя на сына. Тот утвердительно кивал головой, соглашаясь, что, хоть бабушкины слова и непонятны, он готов со всей серьезностью отнестись к тому что скажет отец. Он и не подумал заметить подвоха в неумелой попытке отца измерить пропасть, отделяющую их друг от друга. Разумеется, Сур не ждал ничего иного и все же опять ощутил, как мигом осела кожа на плечах, оставив сыпь мелких пупырышков там, где ее натянули изнутри невидимые иголки.

Как это получилось, что вот он, Сурик, когда достаточно возмужал, изредка ссорился со своим отцом? Правда, сейчас уже трудно вспомнить, были ли эти ссоры явью или являлись ему только в воображении. Но разве можно вообразить что-либо, чему не может быть места в действительности? А вот со своим дорогим мальчиком ему не довелось поспорить ни разу. И не только потому, что он послушен и робок от природы. А потому, что все их совместное житье складывалось из добровольных допущений взаимной правоты. От кого бы из них ни исходили новые идеи, другой неизменно отвечал пониманием и согласием. Они всегда были довольны друг другом. Бывает ли так? Прежде Сур не задавал себе такого вопроса.

Но ему предстояло решиться на поступок или даже ряд поступков, которые не просто запрещены для одобрения, если хоть мало-мальски вникнуть в их существо, но находятся вообще вне одобрения или осуждения. Тут трудно даже подобрать пример из действительной жизни. Разве что вообразить, будто некто объявляет о своем желании ограбить табачный киоск, но собирается при этом пользоваться настолько негодными средствами, что очевидным становится стремление этого человека к поражению, а не к добыче, которая, кстати, в этом случае обещает быть ничтожной. Если же учесть, что этот разбойник — лицо вполне обеспеченное и в дополнительных средствах остро не нуждается, то вот такая вымышленная картина, вероятно, может в какой-то мере дать представление о том, в каком положении окажется человек, к которому вышеупомянутый самоубийца обращается за поддержкой. Простое уважение к человеческому разуму не позволит ответить ни да, ни нет, а только, может быть, завести глаза к небесам и, подняв плечи, руки распахнуть. В отдельных случаях уместно бывает проверить серьезность намерений, прямо спросив, не сошел ли он с ума. Но надо помнить, что такие слова ни с того ни с сего не скажешь, особенно между людьми, которые давно друг друга знают и ранее никаких к тому поводов не подавали.

Видимо, в этом примере есть все-таки преувеличение, главным образом, в его конкретности, потому что Сур Симолян сам не охватывал ситуации с такой степенью ясности. Он только чувствовал, что сейчас нарушит устоявшееся между ними доверие. Но складистое это доверие больше не в состоянии было ему помочь. Нынче от сына требовалось не только выразить свое отношение к отцовской инициативе, но и принять в ней самое непосредственное участие.

Вот почему им было не до споров! — открылось вдруг озабоченному отцу. Всё, с чем до сих пор при-

ходилось обращаться друг к другу, в главном всегда касалось только одного из них — того, кто в одиночестве вынашивал решение и наконец объявлял о нем, всесторонне позаботившись, чтобы последствия никоим образом не обременяли другого. О чем же тут было спорить? Они уважали друг в друге зрелость и самостоятельность и не рисковали сомневаться в обоюдной разумности.

Мало того, что Гарику предстояло играть роль полномочного представителя новой идеи во внешнем мире, куда доступ отцу был ограничен, но сама идея никак не хотела обрести законченную форму. И Сур уже отчаялся совершить этот непосильный труд в одиночку. Короче говоря, ему нужно было, чтобы Гарик помог для начала назвать его собственное беспокойство, которому сам он не решался подобрать имени. Для этого требовалось нечто большее, чем всеобъемлющее, вечно преждевременное согласие. Сур с ужасом поймал себя на том, что прикидывает в уме, как можно заставить Гарика закричать и затопать ногами. И тут же шарахнулся обратно, в мирную тишину их спокойного дома. А времени у него оставалось все меньше.

— Ты киваешь головой. Я понимаю это таким образом, что ты следуешь за моей мыслью и пока она не вызывает у тебя возражений. Сегодня я хотел бы, чтобы ты не пропускал ничего сомнительного для тебя в моих словах. И не оставлял будущему разъяснить тебе твои сомнения, как это обычно бывало у нас, помогая нам пренебречь мелкими расхождениями, чтобы сохранить столь ценное нами доверие. Надеюсь, мой мальчик, ты дашь мне возможность самому ответить на все вопросы, которые у тебя возникнут.

Гарик слушал по-прежнему согласно и одобряюще.

— В наше трудное время я прожил жизнь, не навлекая на себя особых опасностей и стараясь по мере

сил делать добро людям. Я работал врачом, никогда не превращая в кумира свою работу. Старался не считать ее самым важным делом на свете. Но эта полезная скромность, которая, без сомнений, в высокой степени свойственна и тебе и далась тебе без труда, всегда стоила мне некоторых усилий. Здесь есть разница между нами. Ты догадываешься, в чем она?

Немного помедлив, Гарик отвечал:

— Мне кажется, разница в поколениях всегда есть. Но я думаю, что лучше пойму, что тебя беспокоит, если ты договоришь до конца.

— Ты так считаешь? — спросил отец, стараясь тщательно скрыть горечь, подступавшую вместе с сознанием того, что он слишком долго, может быть, оттягивал какой-то такой разговор. — Хорошо, будь твою. Я хочу говорить о нынешнем дне. Может быть, я неприятно удивлю тебя, если скажу следующее. То, что ты, обладая незаурядными математическими способностями, решил, тем не менее, посвятить свою жизнь медицине, является самым распространенным примером какого-то общего правила. Я сам не только не препятствовал твоему выбору, но и всячески поддерживал тебя в следовании этому правилу. Ты вот уже несколько лет живешь в ладу с самим собой, и это доказывает, что мы не ошиблись и что правило это, видимо, вполне разумно, хотя существовало оно не всегда. Знаешь ли ты об этом?

— Ты говоришь об Уклоне? Но что же здесь странного? И почему ты не называешь вещи своими именами? Сначала люди вынуждены неосознанно следовать природному закону и испытывают множество неудобств в связи с этим. Потом они открывают его и подчиняются ему сознательно.

— Хочешь ли ты сказать, что с тех пор, как закон обнаружился, следовать ему становится для всех не только удобным, но и естественным?

— Должно быть, так.

— Наверно, я разочарую тебя. Уже очень давно я не сомневаюсь в полезности Уклона. Удобство его часто казалось мне сомнительным. Что же касается естественности, то о ней и речи быть не может. Разумеется, я говорю только о себе. Кстати, согласишься, что непринужденность, с которой ты пользуешься самым этим словом, не так уж часто встречается.

— Разве? Я не замечал.

— Вспомни, часто ли ты его слышишь?

— Может быть, это потому, что закономерность Уклона больше не надо доказывать? Что говорить о Биноме?

— Да дело в том, что я не помню, чтобы ее вообще когда-либо доказывали. Но это неважно. Я повторяю, речь идет лишь обо мне. Я вовсе не хочу внести беспорядок в твои представления о мире. Хотя в общем-то уже делаю это, заставляя тебя бодрствовать среди ночи.

— Не волнуйся за меня, папа. Я, право, прекрасно себя чувствую. Продолжай.

Хоть бы раз за многие годы он назвал меня отцом! — сокрушался Сур. В раннем детстве то ли по чьему-то наущению, то ли по природному голосу предков, едва избавившись от первоначальных «ма» и «ба», он некоторое время упорно называл меня отцом. А я, несчастный, так хотел слышать доверчивое, вполне исчерпывающее для его возраста «папа». Теперь же, когда давно пришла пора в полную силу зазвучать вечной сути и смыслу слова отец, оно сгинуло бесследно, окончательно ушло из его речей.

Может, это как-то связано со странным явлением, которое выражается, к примеру, в нашей ночной беседе? Кажется, был такой энергичный оборот речи, который служил для доказательства полного владения предметом: разбуди меня среди ночи, — говорили знатоки, — и я отвечу. Вот я разбудил его среди ночи и говорю с ним о вещах, с которыми маюсь в мыслях

уже месяцами, а у него, хоть он и прилгнул, что не совсем проснулся, — сна ни в одном глазу, и он вступает в беседу на равных со мной правах. Это результат Освоения, конечно, какого-то диковинного способа обрабатывать любую информацию без лишних тягот. А какая тут связь с обращением к отцу? Никто не знает, с чем еще связано Освоение и что еще в нынешней нашей жизни связано с ним. Бесполезно искать объяснений. Они оставили нам только скрытое право сожалеть.

— Хорошо. Но все-таки, чтобы не мучать тебя, я перейду сразу к самой сути. Что ты думаешь об этом феномене со сном, которым мы занимались последнее время?

— Что я думаю? Думаю, что слишком много шума подняли вокруг. Случай удивительный, конечно. Но когда проблемный сам по себе случай окутывают еще и искусственным туманом с какой-то немыслимой секретностью, с посторонними, неизвестного ведомства людьми, чуть ли не с вооруженной охраной, честное слово, всякое любопытство увядает. Мне даже начинает мерещиться запах шарлатанства и мистификации. Почему ты спрашиваешь?

— Удивительно. Лет пять назад я повторил бы это слово в слово. Вот что я скажу тебе, мальчик мой. По всем правилам, нам следовало бы забыть этот случай, раз мы честно выполнили свои обязанности и не осрамылись, не ударили лицом в грязь. Ты согласен?

— Конечно, папа.

— А что ты скажешь, если я признаюсь тебе, что желаю опрокинуть правила и продолжать исследовать этот случай всеми доступными и недоступными способами?

— Не понимаю тебя.

— Мальчик, это очень просто понять. Для этого не нужно искать в моем желании глубокого смысла.

Оно объясняется всего в двух словах, и слова эти — жгучий интерес. Значат ли что-нибудь для тебя эти слова?

— Конечно, — ответил сын не сразу, — я понимаю. Я и сам знаю, что это бывает, — продолжал он размышлять над словами отца. — Но только это ощущение не может быть связано с работой... А что, собственно говоря, ты собираешься исследовать? Что именно?

— Не бойся. Слушай внимательно. Ты совершенно прав. На этот раз жгучий интерес связан именно с работой. Я не допускаю, чтобы естественное летаргическое состояние длилось десятки лет. Ты не помнишь свою бабушку и не знаешь, что такое Бог, но при этом согласно киваешь головой, когда я о нем упоминаю, как будто это нечто само собой разумеющееся. На самом же деле все это настолько не вызывает в тебе никакого интереса, что ты не в состоянии предположить, будто даже слово это имеет какой-то смысл. Уж не говоря о том, что за этим понятием может стоять какая-то реальная действительность. Я тоже так считаю, но пришел к этому иначе, чем ты. Ты даже не пытаешься примерять свой разум к этой идее. Я же делал это и отверг эту идею потому, что она основана на чудесах. Так вот, десятилетия произвольного сна — это такое же чудо. Ты должен со мной согласиться, потому что так же, как я, не веришь в чудеса, хоть и на ином основании. В данном случае это неважно. Почему ты не задаешь вопросов?

— Мне пока все понятно, папа.

— Да? Я прожил полвека и теперь не сплю ночами, ищу, ищу множество ответов на множество вопросов и по-студенчески бужу тебя ночью, чтобы поделиться своими мыслями, так как мне невтерпех! А тебе все понятно?

— Почему ты сердишься? Мне кажется, что я в самом деле понимаю тебя, но ты ведь еще не договорил?

— Хорошо, — в третий уже раз отступил Сур. Он откинулся на спинку кресла, с силой пригладил рукой волосы ото лба к затылку и резко, не щадя уха, сбросил кисть в сторону, как бы стряхивая с головы лишние мысли. — Стало быть, была какая-то причина, на мой взгляд, совершенно материальная, которая вызвала этот гигантский обморок. Стало быть, это можно повторить, если найти эту причину. Стало быть, я должен ее найти.

Теперь Сур говорил громко, совершенно не смущаясь ни временем, ни явной доступностью его голоса для соседей сверху и рядом за стеной. Гарику очень хотелось утихомирить отца, но он не знал, как это сделать, потому что таким видел отца впервые и был испуган. Еще сильнее пугало его предчувствие гулко-го стука по батарее, которым не стеснялись пользоваться недовольные соседи сверху. Гарик вспотел. Он никак не мог сосредоточиться, чтобы как-то ответить отцу, лишь судорожно вспоминал, как их обоих благодарил и отстранял Профер, как ушли в корзину его дополнительные расчеты, пока не наткнулся с очевидностью на вывод о том, что отцу не удастся продолжать в клинике эту работу.

— Но это же невозможно! — выпалил он, не заметив, что со страху перешел на шепот.

— Так! — не понижая голоса крикнул возбужденный старик и хлопнул обеими руками по деревянным подлокотникам. — Почему ты так считаешь? Заметь, ты не спрашиваешь меня — зачем! Ты уже говоришь о вероятности.

— Но ты не принимаешь больше участия в Программе! Да и сама Программа не была ориентирована в этом направлении. Ты же сам наблюдал, как там все стало строго к концу. Нет, это безумие какое-то! Извини! Это целость, в конце концов!

— Ну — и — что? — растягивая гласные и внезапно сократив звук, лукаво спросил Сур.

Гарик почувствовал, что устал. Разговор становился нелепым. При безграничной почтительности к отцу, для Гарика все отчетливее проявлялся юмористический характер отцовской горячности. Что-то такое он слышал о критическом возрасте пчел, но ему казалось, что это бывает гораздо позже. Он даже не знал, что отвечать на этот вопрос, только высоко поднял плечи в недоумевающем жесте.

— Ты думаешь, меня посадят в тюрьму? — не унимался Сур. — Не посадят. В крайнем случае придется уйти из клиники, да? А они и так выживают меня на пенсию — чего же мне бояться? Ну, говори, говори! Что они могут со мной сделать? А ты знаешь, что, если мне повезет, может быть, наоборот, придет большой успех? Ты знаешь, что один раз в жизни это может пройти? Да что говорить! Неужели ты думаешь, что здесь, — он обвел руками стены, сплошь состоящие из книжных полок, забитых до отказа, — мой жгучий интерес? В этих корешках! Или в рукописях, которыми набит мой стол? Открывай балкон — я спущу вниз все ящики один за другим! Гарик, Гарик, если я одержу верх, мое имя обеспечит тебе простой и легкий путь! Это последнее, что я должен для тебя сделать. Мой настоящий неизменный жгучий интерес — это ты! И тут ты не можешь со мной спорить. Пока у тебя нет своего сына, в этом споре ты мне не соперник. Не бойся, мой мальчик, Сур еще не выжил из ума. Не смотри на меня, как раненая птица. Мы будем действовать осторожно. До поры до времени никто не узнает. Ах, если бы ты понял и поддержал отца! Я бы открыл тебе, что меня действительно мучает. Совсем не эти пустяки. Есть одна черная мысль, которая возвращается, сколько я ее ни гоню. Знаешь, что это за мысль? Хочешь узнать? Я представляю себе, что нам удалось открыть этот возбудитель... или успокоитель — не знаю как его называть, над этим стоит еще подумать. Но вот он

открыт, и мы, собравшись с духом, объявляем об этом. И тут — о проклятая возможность! — и тут оказывается, что это не новость. Отнюдь не новость. Что о нем знали еще тогда, до всего. Что его использовали сознательно и что за всей этой историей стоит какая-то опасная, ужасная интрига, может быть, преступление, которое тщательно скрывают. Вот тогда уж нам не сносить головы... — теперь Сур сам придвинулся вплотную к лицу сына и шептал еле слышно. Он и сам не знал, плод ли это здравых раздумий или фрагмент его ночных видений, о которых Гарику, конечно же, не было ничего известно. Но старый Симолян уже не слишком строго заботился о своих секретах — так рьяно кинулся он навстречу своему жгучему интересу и так нуждался в помощи мальчика. И наконец, это был все же его сын.

Через открытый балкон давно слышался разноголосый щебет. Скоро в комнату с уже ненужной лампой должно было заглянуть солнце. А Сур все говорил и говорил, освобождаясь, как ему казалось, от многолетнего гнета умолчаний, забыв, каким ненадежным, неподходящим слушателем был для него сын.

Гарик слушал вполуха, пытаясь различить в этом потоке хоть какие-то крупинцы значимого для него смысла. Недослышав много больше половины, он закрепился на том, что затея отца будет для него ничем иным, как той же работой, хоть и сверхурочной. Сопротивляться ему не хотелось, да и не привык он оспаривать обращенные к нему просьбы, особенно если они исходили от отца.

Элемент высокого воодушевления в поведении отца он предпочел отнести за счет незначимой случайности и забыл о нем, как только их бдение благополучно завершилось.

Сур чувствовал непривычное приятное утомление. Он был очень доволен. Его больше не страшили методические вопросы Россиянского, ответы на кото-

рые он готов был придумывать хоть сейчас. Он был почти счастлив, ему казалось, что у него снова родился сын.

\*            \*

Большинство нынков благополучно справлялось с жизнью в ее насущных поденных требованиях. Выбирая себе поприще, на котором им предстояло в поте лица добывать хлеб с маслом и сосиски, они всегда соотносили этот выбор с личными природными способностями и устремлениями, то есть как раз с той темной малоразумной областью людского естества, которая одна только и может, пожалуй, породить сверхмерную неуголимую заботу о верности делу своих рук, о неистовом напряжении всех сил в каторжном труде для достижения цели — одним словом, как раз то самое безумство, которое Сур Симолян именовал жгучим интересом. Понятно, что соотносить выбор нужно было по-умному, то есть с прочным отрицательным знаком. В этом и состояла полезная сущность Уклона. Было бы ошибкой полагать, что Уклон представлял собой какой-то единый образец, или что существовали некие отчетливые правила, введенные законодательством, и что правила эти будто бы просто предписывали каждому нынку соблюдать здоровую меру в использовании своих дарований. Ничего похожего не было. Сама жизнь потихоньку учила народ не путать работу с заботой. Кроме того, Уклон располагал уже своей скромной мифологией. Легендарные анекдоты о легкомысленном отношении к Уклону были широко известны и пользовались устойчивым успехом.

Вот один из них.

Некий обыватель, высокоодаренный в литературном порядке, до поры до времени служил по техни-

ческому табу и был в соответствии со своим образом назван химиком-технологом. Сочинительство его, кроме удовольствия, которое, как видно, он получал немалое, приносило ему умеренный приработок, так как вещи его иногда печатались под разными именами, то выдуманнными, то просто чужими, — надо же было кому-то этим делом заниматься вплотную.

Что за муха его укусила, зачем он вдруг решил **переменить табель и со скрипом и мукой на сороковом году жизни назваться писателем, среднему нынку понять трудно. Но на символическом уровне легенды это и не существенно.** Важен факт сам по себе. Сведущие люди, которые не удовлетворяются общими мифологическими вехами этой истории, говорят, что будто бы времени ему не хватало. Так перло из-под пера, что проклял он свое химическое рабочее время, собрал по всем журналам свои работы под псевдонимами от Архипова до Ялочко и отправился прямым в головное учреждение литературного табеля. Для начала там отделили в его работах те, авторские фамилии которых принадлежали людям еще живущим. И сказали, что не с того он начинает, с чего надо бы. То есть если он настаивает, то можно, конечно, затеять экспертизу и все такое, и, может быть, даже он окажется формально прав, но как он будет выглядеть в дальнейшем? Молодой таб, начинающий путь не громким литературным голосом, а сутяжничеством и уголовщиной от литературы. Ему бы опомниться, разумно оценить этот первый сюрприз как эпитафию к своей будущей карьере, но нет — он так своей химии перекушал, что махнул рукой на пропащие работы и пододвинул другую кучку, где псевдонимы были самые вымышленные, то есть натуральные.

На ответственных лиц его тугоумие впечатления не произвело — во всяком случае, они виду не подали, и через некоторый кандидатский срок, когда он с хлеба на воду перебивался — тоже, кстати, умный человек

не промахнул бы даром для себя это обстоятельство, — был назван полноправным табом в новом своем качестве и навсегда простился с постылой химией. Работай, дорогой писатель.

И тут он сел в такую карусель, что через полгода начал не книжки подписывать, а при знакомствах представляться то Ялочкой, то Архиповым.

Кое-что у него было наработано — так это все осталось пока дома на месте, ибо пришлось соблюдать очередь, составлявшую повсеместное и постоянное трехзначное число. И потом работы эти новые не представляли первостатейного интереса, как оказалось. Совсем новую работу затевать он пока осекся, испугавшись, что она попадет в тот же разряд.

Когда он попробовал было выяснить у своего нового старшего сотабника, что же происходит и почему прежние работы были хороши, а новые потеряли свою привлекательность, хотя они ничуть не слабее, то зрелый таб ответил ему прямо: эва, мол, чего вспомнил! Кто ты был тогда, и кто ты есть? И понимаешь ли, что на тебе теперь вся отечественная литература должна держаться, как и на всех нас?

Вот так и встал перед ним впервые во всей своей необъятной полноте вопрос: чего же ей, отечественной литературе, надо?

Ответ он получил тут же и даже не один. Потому что люди в табе работали головой, а не баклуши били.

Во-первых — нефть. Во-вторых — деревня. Это всегда хорошо, если только с голоду не будут подыхать через страницу. И наконец — положительный человек, которого нигде не найти, кроме как на заводе или стройке. Ну, на худой конец, в милиции, хотя это снижение жанра.

Я так подробно рассказываю, потому что пользуюсь сведениями от людей, понаторевших в таких разборах. В просторечьи этот анекдот тут же и кончается на том, что сгинул химик на новом месте, и ни

слуху, ни духу о нем более нет. Говорят, ездит каждый год отдыхать в специальный дом по большой льготе — вот и весь его выигрыш. А на самый конец добавляют для перцу, что у химкомбината, откуда он сбежал, таких домов не четыре, а шесть, а один вообще в Болгарии. И льгота чуть не втрое больше.

Но, возвращаясь к мнению дотошных исследователей, можно уточнить, что ко всем трем нуждам литературы он последовательно приступал. Про нефть он кое-что знал по прежнему своему табу, но ему не пригодилось. Вышло страниц полтора ста прозрачной резины, от которой у него желудок забарахлил. Потом он написал очерк в соавторстве с одним знаменитым нефтяником и депутатом прямо оттуда, из самых недр. Его похвалили, ободрили и половину денег дали. На этом топливную тему он для себя закрыл.

Про деревню он не понимал ни аза и никогда не знал, что ему это понадобится. Можно было уехать туда пожить на полгода, но у него ума хватило сообразить, что зря истратит время. Так что он неделю другую попримерял на себя косу и оглоблю и бросил. Остался положительный человек.

Тут он спохватился, что, сколько себя помнит, кажется, только об этом и думал. И снова стал бегать по кабинетам со старыми своими рукописями. Надо честно сказать, что учили его по-хорошему, дурных слов старались не говорить и любым случаем пользовались, чтобы намекнуть: ах, вот очерк был хорош! Вот бы!... Однако кому-то надоело, или попал не под настроение, но однажды поинтересовались, есть ли у него вообще-то соответствующее образование. Вопрос был ядовит и прямо указывал ему его законное место позади прочих.

К тому времени ему оказалось далеко за сорок. Пять лет учебы он отложил в сторону вместе со своими папками и впредь возвращаться к этому пункту остерегался.

На жизнь он себе зарабатывает, конечно. Вообще с бытовым обслуживанием у них в табе дело поставлено неплохо. Есть там какой-то обширный фонд, из которого по кругу всем сестрам по серьгам достается. Даже если хворь прицепится, то и тут ему помереть не дадут, а социально его обеспечат в разумных пределах.

А вот спросить, чего этот писатель пишет, — так это еще полистать придется, пока его природную фамилию — прятаться-то теперь ему не надо — найдешь. Хороший он писатель оказался или так себе, тоже как-то непонятным остается, запутывается всеми этими изгибами пути. Судить трудно. Некоторые считают, что и в прежних своих работах он был недостаточно значителен, хотя в конце все сходятся на том, что человек безусловно одаренный. Да что же — одаренность, это ведь от нас не зависит. В старину как говорили: Бог дал, Бог и взял.

Может быть, он и попить начал. Но поскольку он остается лицом нарицательным, народу мало известным, не то что какой-нибудь Андрей Упит, то легенда об этом молчит. Иногда добавляют, что опять на нехватку времени жалуется. Ну, не чудачки люди?

Конечно, даже самые вьедливые аналитики до настоящих корней, наверно, не добираются. Сам литературный табель посмеивается по поводу этой притчи и находит ее излишне лапидарной, грешащей против правды жизни. Однако она живет не один десяток лет, широко и вольно гуляет по стране, совершенствуясь и обогащаясь новыми оттенками. Видимо, для народного признания этой лапидарности хватает, и какую-то едкую соль она все же содержит в себе.

И таких анекдотов много. Этот еще ничего, а есть ужасные, как про портного одного, который планерным спортом увлекался. Потом тоже соскочил из ателье и через пять лет стал испытателем — здоровье

позволяло. А через семь воткнул свой сверхзвуковой громыхальщик с высоты в четыре тысячи прямо в танцплощадку на офицерской половине части. Есть мнение, что обычная авария, но уж слишком вертикально шел и слишком точно попал. Не верится, что случайность.

Ну и так далее. Все это дела поучительные, но прошлые. Теперь, если кто-то сбивается с ноги, давая волю своим страстишкам и впустую распаяя заблудившееся свое увлечение, пресловутый жгучий интерес... Кстати, настоящее, документальное имя-то у старика было Сур Гениевич — тоже можно призадуматься, несмотря на то что у них там вокруг Арарата через одного всех зовут Дездемонами да Улиссами. Вот он же сообразил отчество свое благоразумно купировать. Так вот, если и случалось такое помрачение, то редко, длилось недолго и уж, конечно, до перемены таба не доходило. А в общем-то служило хорошей, может быть, немного строговатой школой жизни. Катастроф последнее время не было. Я имею в виду личные катастрофы, разумеется, ибо не может даже такой неистовый порыв одного нынка сколько-нибудь существенно повлиять на общество в целом, это и доказывать не нужно.

Но бывали случаи загадочные, неясные даже для самых любознательных, когда жгучий интерес становился второй табельной заботой в дополнение к обычной работе в любом табе. То есть когда нынок не оставлял свое увлечение вольно пастись, где повезет, а подчинял его соответствующим табельным правилам и в результате тянул одновременно две табные лямки. Тут простая и доступная идея золотой половины переходила в созвучную ей, но все же особую идею удвоения. В народе этих людей так и называли — двоечками.

Полностью овладеть этой идеей и подчинить ей всего себя мечтал Капитон Сомочкин.

Когда обсуждаешь это сложное явление, есть опасность спутать двоичку с обычным совместителем. Можно устроить себе добавочный заработок и даже в постороннем тебе вполне налично, если, скажем, работать токарем, а по ночам сторожить магазин. Но эти халтуры, как их называют, прежде всего берутся на время. Здесь, в сущности, не имеет значения, по какому табу ты прирабатываешь. И смешно представить себе, что у кого-то в эти вспомогательные должности может упереться жгучий интерес.

Но и он может приносить доход. И здесь коренится возможность следующей ошибки. И Потап, и Козел иногда подкармливались — один музыкой, другой психотерапией. Но никогда ни тот, ни другой табель не называли бы их своим именем. Впрочем, мы уже встречались с этим в нашей первой легенде.

Совсем другое дело, когда человек весь, до последнего суставчика, вставлен в табельную систему. Даже если его зарплата здесь имеет условный характер, либо обнаруживается натурой в разнообразных вариантах, либо где-то копится государством в виде скрытых добровольных займов восстановления и развития. Для этого требуются особые внутренние резервы. Да и не любые табы допускают себя сопрягать.

Когда Капитон выбирал будущую работу, он почти ничего о себе не знал. Он чувствовал только, что медицина никогда не возьмет его за горло и не заставит лысеть. Этого оказалось достаточным, чтобы с чистым сердцем себя ей вручить. Но посреди дороги, как раз перед поступлением в клинику, у него случилась одна встреча, которая дала возможность исследовать недра своей души.

Тот, кто пригласил его к себе по телефону, был третьестепенным чиновником, заурядной шестеркой Таба Безопасности. По молодости лет Капитон сильно преувеличил персональный интерес к себе. Вызывали каждого второго, а последние годы, в связи с ши-

роким внедрением научных методов, даже каждого полуторного. Как это возможно? Да никакой головоломки тут нет. Просто получалось, что через одного вызывали двух подряд или кого-то дважды вызывали по разным адресам. Вот и выходило, что из трех приглашались двое, а из полутора сотен — человек сто восемь, сто десять.

Встречи эти были ничем иным, как простым знакомством, о чем их инициатор сразу же и предупреждал, пользуясь случаем прибавить, что прошли времена пыток и глухих застенков и в стране навсегда покончено с порочной практикой мести всех подряд.

Человек получил специальное образование. Всем стало ясно, как его теперь называть, и государство отечески интересуется, что он себе думает в этой связи.

В других обстоятельствах, если, скажем, читаешь о такой встрече в книжке спокойным летним вечером на балконе в удобном кресле, праздная мысль, вольно обегая слова и поступки, может вдруг сложиться в причудливый вопрос: почему это папе вздумалось беседовать с сыном через цепную собаку? Но на то она и литература, чтобы делать из человека хозяина положения и какого-то всевидящего ангела в утешение за его слабости.

А тут поднимаешь трубку и, удостоверившись, что адресуются именно к тебе, слышишь, как твой собеседник представляется таким-то из Таба Безопасности. Что испытывает нынок в этот момент? Подобие легкого, еще неопасного толчка в грудь. Затем, вплоть до самой встречи, откладывать которую не хочется, несмотря на вежливую предупредительность такого-то из ТБ, нынок придумывает, что бы это такое он мог натворить или что бы это такое могли натворить другие. Тема для размышлений обширная, согласитесь.

А далее он уже находится внутри беседы. И как ни относиться к уличным знакомствам, в которых всегда

есть элемент настырности, но посмотреть на себя со стороны и плюнуть в сердцах не всегда удастся. Мастера дамской кадретки это хорошо знают и действуют без промаха.

Чиновник отнесся к Капитону с уважением, которое Капитон тоже переоценил, а вскоре вынудил юношу и на уважительное отношение к себе тем, как мимоходом обнаружил, что ему известны некоторые малозначительные подробности Капитоновой биографии, о которых вообще-то незнакомый человек знать бы не должен. Например, таба интересовало, живали еще и пухнет ли тетрабочка, в которую одна знакомая Капитону девушка переписывала горячие, двусмысленные в политическом отношении стишки. А девушка-то была, и тетрабочка была. Капитон честно соврал, что да, девушку хорошо знает, но нет, о тетрабочке не слышал. Таб заметно улыбнулся, ловить и пристыживать не стал, а дружески посоветовал передать девушке, что лучше бы ей эту тетрабочку забросить.

Так они беседовали не спеша, вроде бы и без особой цели, с удовольствием устанавливая, что знакомых иностранцев у Капитона нет, что вообще вокруг него даже приблизительно не намечается каких-то неудобств и что, пожалуй, наступили в стране прекрасные добрые времена. И вот где-то к третьей четверти беседы, когда ровный доброжелательный интерес чиновника совсем угас, однако Сомочкина он все еще не отпускал, Капитон расслабился, и в мозг ему внезапно вонзился коварный в своей объективности вопрос: а за что же он, такой-то из ТБ, зарплату получает? Тогда он еще не думал ни о сущности ТБ, ни о правах и обязанностях, связанных с этой работой. Он только набрел мыслью на тот факт, что грозный, всегосударственного значения табель заполонили ленивые бездельники. И стал Капитон двоечкой, пропащим человеком.

Первая беседа так и кончилась без видимого результата и ожидаемых последствий. Но когда полгода спустя его снова вызвал все тот же чин, Капитон вел себя совсем иначе.

Он уже работал в клинике у Россиянского, но эта перемена была пустяком по сравнению с тем внутренним перерождением, которое с ним произошло в тот же срок. Раз пустив свое воображение по следу первой встречи с ТБ, Капитон уже не мог остановиться и с помощью глубокой самостоятельной работы над собой овладел основами этого серьезнейшего табеля. Такова была его природа, он не нуждался в ученичестве и стажировке. Он с поразительной легкостью своим умом доходил до столь сложных вещей, как место ТБ в государственной структуре, система организации табеля и методы практической работы и многое-многое другое, ибо скоро он пришел к восторженному открытию, что Таб Безопасности велик и разносторонен, как сама жизнь.

Высшим уровнем работы пока оставалась область межгосударственных связей, хотя ничего принципиально нового этот уровень не обещал. Но так уж исторически ограничивала действительность необъятные возможности могучего и скромного — всегда в тени — Табеля Государственной Безопасности.

Как же тошно было ему выслушивать куцые хитрости рядовой шестерки, в то время как его вера заставляла организм жадно всасывать кислород и неутомимо гнала адреналин в неподвижные, внешне спокойные мышцы.

Ему предстояло в будущем выйти прямо на председателя Таба, а может быть, и на самого президента. Для этого нужно было только выполнить все, что он мог в нынешнем его положении. А мог он немало, и работа предстояла огромная. Да, он работал на Безопасность, работал незаметно и анонимно. Когда придет время, в его руках будет собран невероятно

полный, исчерпывающе полезный материал о тайных и явных жестикуляциях общества, включая и сам ТБ, который делает вид, что ведет важную работу, уговаривая его, Капитона Сомочкина, настучать какой-то унылой застольной фигуре, что рассказывает профессор Россиянский, вернувшись из Амстердама. А дело обстояло именно так. И, руководствуясь высшими интересами, Капитон разыгрывал из себя либерала и чистоплюя, прямо в глаза оторопевшему табешничку отказывался наушничать, но делал это с такой глубокой иронией и таким достоинством, что перепуганный чин даже не брался определить, на сколько звезд больше, чем у него самого, и какого размера светится на плечах у молодого вроде бы еще врача.

После того как однажды, случайно увидев на центральном телеграфе своего исповедника, Капитон открыто указал на него пальцем спутнику и при этом пошептал на ухо, его больше не вызывали. Ведь было же сказано: о беседах никому не передавать — и на вот тебе!

А Капитону и не нужны были больше эти спекуляции в подворотне на три копейки. Неужто так уж необходимо тереться среди оперов, чтобы завести папку на ТБ? Это для заурядных чинуш, для постных табов. Настоящий ум работает так, что никто не видит и не слышит, но при этом всякий знает, что работа идет.

Он сам назвал себя именем нового табеля и видел, что окружающие тоже называют его так про себя. А когда-нибудь его назовут вслух, если это будет полезно делу.

Уместно ли считать, что Капитон все же не был полноправным табом, раз не был назван? А кто в этом табе назван? Сотня тысяч наряженных в вечернее и мундиры этажерок, которые ничего не решают и только размахивают книжечками, зря спугивая сограждан? Не на них держится табель. Не на грубой

силе, а на специфической психологии миллионов при-  
темненных нынков. Так что ТБ по самой сути своей  
как раз лучше всего сопрягается с любым другим та-  
бом. И зависимость тут обратная: чем реже вас назы-  
вают, тем плотнее вы сидите в табеле.

Отсутствие формального права называться табом  
не только не умаляло Капитонова профессионального  
достоинства, а прямо-таки удесят�еряло его. Он был не  
просто таб, он был настоящий Табак — чрезвычайно  
редкая вещь, вроде генералиссимуса. На ее редкости,  
кажется, и была основана древняя поговорка: «Табак  
табака видит издадека...»

А еще когда ему бывало особенно трудно — он  
был живым человеком и так же, как все мы, подвер-  
гался натискам дурного настроения, — его посещала  
странная благостная догадка, что о нем знают там,  
наверху, молча благословляют его тяжкий труд и  
ждут. Представление это отдавало волшебством, но  
он был влюблен, а каких только свойств не ждешь от  
предмета поклонения, да еще такого сильного и пре-  
красного предмета.

Среди бесконечно скучной, но полезной в своей  
совокупности информации Программа несколько вы-  
делялась. Не то что бы стоило прыгать в одиночестве  
и хлопать себя по ляжкам, но случай был достаточно  
редким, и Капитон сразу решил не отпускать его да-  
леко. Россиянский, видимо, считал, что им интересу-  
ется ТБ. Это вряд ли, но пусть себе думает. В конце  
концов, подлинный будущий интерес ТБ — во всем.

Для Сомочкина же вся эта кутерьма со сроками и  
датами была типичным головотяпством любимого  
таба, за которое он не мог нести ответственность  
до сих пор. Но теперь, раз уж оно осуществляется  
на его глазах, никто не сможет эту ответственность  
у него отобрать. И, стало быть, без всяких авралов и  
судорог шла нормальная работа, необходимый и не-  
торопливый сыск.

— Насчет квартиры, это Россиянский, конечно, пузырь напустил, — весело и незаметно думал Капитон по дороге к Амановым. — Прежде всего, любит нравиться Профер, хвост распускать. Но и мои требования старается угадать — знает, с кем имеет дело. Я ведь и без него могу обойтись, без лстивых его сказок о щедрой Академии наук. Никто им квартиры не даст, возьми они хоть еще десяток сонь, хоть палату у себя открой. А думает ведь, что взятку мне дал. Как будто я обязан академические денежки считать и знаю, что у них там хрен с маргарином. Вадик! Я понятия не имею. Ты сказал — я пошел. Я еще когда вернусь, распишу тебе, как им эта новая квартира нужна по горло. Иди — добивайся.

И все же от Россиянского не так тошнило, как от того, такого-то из ТБ. Россиянский был только старательный любитель, а тот считался табом и должен был бы знать себе цену.

Жили они не так уж и далеко. Еще в подъезде Капитон определил, что это кооператив. И сразу стало ясно, почему они так охотно клюнули на государственную квартиру. Попутно сложилась никчемная мозаика из работы матери семейства, о которой он уже знал, многочисленности семьи и дорогой квартиры. Так что он почти наглядно представлял себе то, что увидит в самой квартире. Уголовка тоже ушами хлопала, но это их дело. Гардемарин — не пехота.

Начали с кухни, где возилась старушка. Потом подробно осмотрели комнату за комнатой и прочие служебные места. Квартира была большая с разнообразной и дорогой мебелью, но какая-то потрепанная, неухоженная, как будто жилой дух искал любую возможность отсюда уйти. Всё было налицо: и потерянные житем полы, и запахи жилья и еды, и лоснящаяся кое-где обивка кресел, и множество случайных изношенных предметов по углам. Но это было жилье,

не дом, не сросся он с обитателями, не обрел в них своей души.

Девочка, улучив момент, потянула Сомочкина в свою комнату показать друзей — так она называла многочисленных игрушечных зверушек. Капитон успокоил родителей, которые цыкали на ребенка, и дал ей себя увести. Он не очень это умел, но, сколько мог, знакомился с Гришами, Винями, Егорами и Кузями — почти все они были собаками. Потом очередь перешла к рисункам, потом к строительным материалам, и Капитон уже мог безболезненно оставить детскую, потому что ребенок увлекся созиданием нового дома и, несмотря на то что громко обсуждал детали постройки, в собеседнике больше не нуждался.

Общение с детьми всегда было для Капитона мучительным. В этом дошкольном возрасте они были чудовищны, так как не считались еще в полном смысле слова нынками, не подлежали активному воздействию общественных сил, в том числе и его, Сомочкина, излучению, и тот двусмысленный контакт, который уже стал для него необходимым как воздух, установить с ними не удавалось. Встречались, правда, случаи раннего развития в этом отношении, но они были смехотворно одиночными. Капитон такого положения внутренне не принимал. Он был уверен, что дети способны понять гораздо больше, чем это представляется взрослым, и имеют право на полноценное общение. Поэтому, стиснув зубы, он отважно шел на разговор с ребенком каждый раз, когда выпадал случай, и терпеливо выносил это страдание. Он по-своему любил детей.

В прихожей его поймал старший сын Амановых, заявил, что никуда его без обеда непустят, и предложил пока покурить в их с братом комнате. Капитон не курил, но предложение принял. Младшего уже не было дома, его послали в магазин.

— А вы почему скромничаете? — спросил Со-мочкин Потапа. — Вы же знаете нашу клинику и с Герцем знакомы. Я вас отлично помню.

— Не знаю, — отвечал Потап, — Он-то меня не признал? Ну, чего ж, думаю, напрашиваться са-мому, не велика шишка. А с вами мы разве тоже встре-чались?

— Ну, как же. То есть вы-то меня, конечно, не должны помнить, а я вас видел. Но не думаю, что и Герц вас так уж забыл.

— Да я и сам хотел ему напомнить, но как-то вроде ни к чему было. А вообще — скажите, какие совпадения бывают?

— Вы раньше, значит, незнакомы были?

— Нет, откуда? У нас общий приятель оказал-ся, Валя Козлов. С ним-то мы часто видимся. Ну, вот он раз и говорит: надо там в одном месте помочь. А потом уже я с этим вашим Герцем все дела вел. Я вот думаю, не к этой ли самой штуке мы тогда шланги подбирали? Ну, где дядя Саша-то покоем?

— А как же. Герц, кажется, доволен был вами. Не знаю, чего он нос воротит. У нас такой работы много, можете еще понадобится.

— Ну что ж, я — всегда пожалуйста. Тем более, теперь мы вроде в долгу перед вами.

— Да перестаньте. Какой тут долг. Такая же наша работа, как и всякая другая.

— Вы говорите: такой работы много. А что, еще кто-то там у вас в таком виде хранится?

Капитон нахмурился.

— Нет, нет, вы что! Просто всякой аппаратуры много в больнице, вы же сами знаете. А этот случай нам как снег на голову. Я вам скажу откровенно, мы просто вздохнули как люди. Все были уверены, что ничего не выйдет. Но он живучий оказался, дядя ваш. Теперь, я думаю, все позади.

— Да... чудно. Я-то ведь его и не знал, и не видел никогда. Может, этот доктор ваш деловой боялся, что я его попрошу по старой памяти дядю мне втихара показать? Ну, это он зря тогда. Я же понимаю, раз нельзя — значит нельзя. Хотя, конечно, повидать его хочется.

— Это вряд ли. Он бы все равно не смог вам это устроить. А вот приятель ваш — Козлов, вы сказали? — он ведь там бывает.

— Где?

— Да прямо у постели. Герц и его привлек. Вот вы и порасспросите у него.

— Ну, бросьте! Козел? Я не знал... Мы же вчера еще с ним говорили... Погодите, я сейчас ему позво-ню, может, он к нам обедать забежит, если не на ра-боте, — он тут живет неподалеку...

Пока Потап бегал звонить, Сомочкин, не сходя с места, изучал комнату. Внимание его особенно было привлечено большим количеством нотной бумаги, рас-сованной по всем подходящим и неподходящим ме-стам. На книжной полке стояли высокие сборники — тоже, видимо, ноты. А пианино он заметил еще в другой комнате, которая, наверно, служила столо-вой. Заодно у него было время прикинуть, как они собираются разместиться с учетом нового жильца. Примечательным в семье выглядело то, что взрослые сыновья жили вместе в одной комнате и как будто не испытывали неудобств. Ну, можно было считать, хотя и с большой натяжкой, что школьник — еще пацан. Но уж про старшего никак нельзя было такого сказать. А с другой стороны, ребенок помещался совершенно отдельно и самостоятельно, потому что старушка но-чевала, видимо, в столовой, где стоял небольшой ди-ванчик. Что у бабушки нет своего угла, это еще можно как-то уразуметь, но что за роскошь нежить лягушонка в отдельном холле три на четыре, если уже половина этой площади составляет шесть квадратных метров?

Ладно, насчет детей у всех в голове путаница, но здоровый лоб, который душит половые напряжения в постоянном присутствии воспаленного подростка, это чересчур. Тут кто-то виноват — или сам наследник, или его родители придурковатые.

Бабулю с ребенком теперь вместе поселят, тут без вариантов, и, значит, все будут ущемлены, кроме новосела, а обедать придется на кухне всемером. Вот и справка для Вадюши.

Но с Потапом этим стоило бы при случае разобраться, включая залежи нот.

Потап вернулся возбужденным.

— Нет его. Работает сегодня. Но я его к вечеру найду. Ну, Козел! Ну, темнила подземная!..

— Да вы не торопитесь. Он ведь может не знать, что Александр Сергеевич ваш родственник.

— Тоже верно. Ну, ты подумай! Все его уже повидали, кроме нас. Ты чего? — спросил он Вику, вставшую в дверях.

— Мама обедать зовет, — сказала девочка, — мы уже всё накрыли. А Маркушка пива принес.

— Ну, пошли. Вас Капитон Михалыч зовут?

— Можно — Капитон. Я думаю, мы еще не раз увидимся.

— Буду рад, — ответил Потап. — А меня Потап. Будем знакомы.

\* \* \*

Во вторник шестнадцатого апреля утром Саша сказал Суднису, когда они были вдвоем:

— Не бегайте от меня. И не зовите больше никого. Сами договоримся.

Павлик, застигнутый врасплох, облокотился на спинку железной кровати в ногах у Александра Сергеевича и подставил его взору свои глаза, полные ис-

пуга и печали. Они долго не говорили ни слова. Затем Саша спросил:

— Давно я здесь?

— Вы прежде бывали в больнице? — отозвался Павлик.

— Мама не приходит...

— Как же мы вам надоели! — покачал головой Павлик, не отводя глаз.

— Что это было?

— Сон.

И снова они глядели друг на друга. Слезы у Саши стекали вбок. Павлик хотел бы присоединить к ним свои, но не получалось. Когда Саша опять заговорил, голос его был таким же уверенным и спокойным.

— Ты не бойся за меня. А этих обоих хватит. Лучше придумай мне какой-нибудь велосипед. Гляди... — и он взглядом указал, куда смотреть. Его ступни, раскинутые в изнурительном оцепенелом покое, сделали очевидную попытку сомкнуться, как крылья бабочки, удерживающей равновесие на стебле травы.

Суднис всполошился. Он мигом присел на кровать и отвернул одеяло. Ноги были страшно худыми, все пальцы торчали отдельно, но Павлик видел это не впервые.

— Ну-ка еще!.. — потребовал он.

Не совсем сразу, но движение повторилось. Павлик обеими ладонями осторожно охватил холодные ступни и стал медленно и ритмично помогать Саше, то постепенно увеличивая размах, то возвращаясь к первоначальному, едва заметному покачиванию.

Он уже давно не вылезал из массажной, наблюдал за ребятами и вносил мысленные поправки в их лихую работу, примеряя поглаживания, оттягивания и похлопывания к отсутствующим мышцам Александра Сергеевича. Теперь он все мог сделать сам.

Не постучав, в палату вошла сестра со шприцем в руках. Мельком взглянув в ее сторону, Павлик сказал:

— Не надо. Все отменить. Раз в сутки прозерин. Я просил носить шприц в бигсе. И будьте любезны теперь стучать, прежде чем войти.

— Извините, Павел Владимирович... — пролепетала девушка и замешкалась, ожидая новых указаний.

— Таня, — услышала она вдруг голос мумии, которую после первого переполоха они уже успели похоронить снова и во всяком случае за человека давно не принимали, — Таня... — повторил Саша, словно прислушиваясь к звучанию первого женского имени. — Как погода?

— Нормально... — хотела по привычке ответить вконец оторопевшая нынчка, но слова не договорила и тут же поправилась, — хорошо сегодня, такое солнце... Давно уж такой весны не помню...

— Идите, пожалуйста, — выпроводил ее Павлик и накрыл одеялом Сашины ноги. — Я вас Сашей буду называть. Пять минут отдыхаем, потом руки, потом шея. Клубники хотите?

— Какая же весной клубника?

— Да уж не на каждом углу, конечно. Сегодня и не обещаю. А завтра будет. Тут есть один — чего только не жрет. Пару ягод выпрошу, а больше вы и не съедите.

— Спасибо вам... Павел... Владимирович... Я вас тоже по-другому буду звать. Только позже. Можно какие-нибудь шторы посветлее повесить? Попрозрачнее. Хоть чуть-чуть.

— Можно. Давайте руки. Начните с пальцев.

Через два дня Сашу стали вывозить на воздух в полулежачем положении, через неделю он начал стоять по минуте три-четыре раза в день. А еще через две недели он гулял неподолгу, опираясь с одной стороны на палку, а с другой — тяжело висая на Павлике, который двумя руками крепко поддерживал его за предплечье. Режим у Саши был особый. Они выбирали для прогулок время мертвого часа, когда боль-

ные должны были спать. Если же им и попадались редкие самовольцы, то эти сами не были заинтересованы в беседе с врачом и делали вид, что они и не здесь вовсе, а за десять тысяч верст и ведать не ведают, что их кто-то может видеть за счет атмосферного оптического обмана.

Алексей КОВАЛЕВ – родился в Москве в 1944 г. После окончания школы учился в радиотехническом техникуме, работал осветителем в театре. В 1966 г. окончил актерское отделение Школы-Студии МХАТ. Работал актером, а затем режиссером в московских театрах. Снимался в кино. Эмигрировал в США в 1981 г. Работал рассыльным, сантехником, шофёром. Одновременно ставил спектакли в американских театрах и концертные программы на русском языке. Живет в Нью-Йорке.

Рассказы начал писать 15 лет назад. Два из них были опубликованы в «Новом Русском Слове» и журнале «Стрелец». В России не печатался. «Случайное семейство» – вторая большая книга.

## КНИГА КАИНА

Отрывки из поэмы

*Перевод с французского Н. Горбаневской*

6

Отныне говорит Каин  
Отныне люди перестанут сверяться по солнцу  
Отныне они с приходом ночи не заползут под утробные  
шатры  
Они почуют не запах соломы и пота но один только  
однообразный запах кожаных ремней  
И стада что они перед собой погонят будут не стадами  
баранов но стадами рабов  
И я — я один поведу их выбирать уничтожать созидать  
Когда я намечу место строительства каждый положит  
камней тысячекрат к своему весу  
Иначе тело его замурованным останется в цементе

Чтобы чертить круги и квадраты я пойду терпеливо  
шаг за шагом  
И прикажу рыть под моими следами почву  
Земля быть может чувствительней чем человек и  
страдает от ран как и он  
Но я открою в ней рану которая станет фундаментом  
города и полисом шрам  
Исполинский фланец меряющий время в своей тени

Отныне дни больше не будут одним и тем же днем  
вечно подобным самому себе



Безудержно отдавая меня во власть логического бреда  
человека что создан мною и в ответ создает меня  
Под высокой орбитой вырванное Око которой оставляет  
небо чудовищно пустым

7

Некий язык что разлагает Слово  
Некий дух что как вирус заражает Дух  
Некий бог что изгоняет Бога до полного отсутствия  
Такова троица коей послушен  
С возраста некогда называвшегося нежным  
Каждый человек как его видишь слышишь  
предчувствуешь  
Он учится этому коду в школе, грамматике  
Некой лжи которая убеждает  
Ибо так надо. Малейшая проруха или меньше того  
Подозрение что малейшая черточка шевельнется  
На лице лжеца которого все они подстерегают  
С обостренностью их собственной лжи  
Погубит его а с ним и всех их если заранее  
Его друзья на него не донесут не выдадут его  
Палачу от которого они претерпели или претерпят.  
Там где царит террор нет иной мысли  
Кроме как избежать пытки — в уверенности  
Что однажды и тебя пометит этот железный закон.  
Лишенный души, человек становится лишь потрохами  
Его жизнь идет вдоль тюремной стены за которой  
Ему бесконечно предшествуют его собственные крики

Дети тех кого я прикажу уничтожить  
 Я создам для их перевоспитания образцовые лагеря  
 Они станут подлинными сынами и дочерьми Каина  
 Самыми тупыми самыми ярыми из моих приверженцев.  
 Они научатся от меня топтать ногами  
 Подкованными сапогами отцовское лицо  
 Они затравят деда и бабу, сестру и брата  
 Виновных — кричит им голос крови —  
 В этой высшей измене: носить их имя.  
 Эта изобретаемая мной педагогика единственная  
 Способна обратить человека в то что я хочу:  
 В палача что в свою очередь преподает мой метод  
 С помощью практических занятий для которых  
 У него не будет нехватки в подопытном материале  
 В этой неисчерпаемой материи мученичества  
 Где ученик выбирает свою жертву, изучает  
 Как меняются ее крики которые следует учено  
 Дозировать чтобы однажды стать ей соперником в  
 муках...

Пусть позабыто, навсегда задохнулось в горле  
 Ее страдание, он его все-таки слышит и оно без конца  
 Делает того кто пытается тем кого пытаются.

## 20

Вопреки Каину Бог возделывает людские сердца  
 Как землепашец в приближеньи зимы.  
 Или в уме их чертит знаки: так  
 Улетает и возвращается перелетная птица.  
 Даже те кого отучили грамоте обратили  
 В детей умеют произнести Его имя.  
 Даже те кому страх застилает зрачок  
 Иногда ощущают ласку Незримого на своих ресницах.

Разве эти взгляды не туманны и непроницаемы?  
Эти два каторжника несущие вместе бревно  
Разве они не видят что их тень на земле составляет  
один крест?

Ты иногда удивлен что у тебя есть душа, что ты  
Один, что в тебе поселился этой назойливый гость  
— Ты...

Чтобы выдать этого нелегальщика полиции  
Ты сначала попытался выдать его себе самому  
Но можешь ли ты долго скрывать себя от себя самого  
Когда этот Кто-то принимается вдруг говорить  
И раскрывает в самой глубине твоего молчания  
Вашу общую несказуемую Личность?

Тебе надо было закоснеть во тьме зла, познать  
Жестокость и трусость связанные одним узлом  
В То, чем ты казался себе, в того учителя  
Которого ты себе навязал чтоб завладеть собой  
Изобретая его в этой первобытной Ночи  
Где в тебе посеяны были Каин и Авель.  
Там, как приказывал Каин, ты выбрал стать  
Каином и зверски убить Авеля в себе.  
Ты знал что для всякого Каин это другой  
И что никто не бывает достаточно Каином чтоб  
избежать

Бунта который он сам который его уже стережет  
В тот момент когда он перерезает горло своему брату  
Ожидая что тот его в свою очередь зарежет.

И почти что рухнув под ударами твоей ненависти  
Покалеченный твоим к себе отвращением  
Растоптанный твоими бесчисленными сапогами  
Уничтоженный ужасом сплотившим твоих друзей  
Почти что став однажды тем неназываемым  
Что их бесит и устыжает в их единстве,

Гляди: из твоего небытия что у тебя почти отняло  
душу  
Вырастает такая любовь и дает тебе бесконечность  
Тебе зэку отныне достойному быть кем угодно  
Быть заржавленным Богом Которого человек прибавляет  
к человеку  
И Который плачет увидев распятого Каина

Некая любовь, существо твоего существа,  
Она это ты столь близкий и столь далекий  
Что тебе никогда не вычислить расстояния  
Которое тебя отделяет или абсолютно приближает:  
Этот ад твоей жизни — твоя хвала Ему  
Этот Каин которым ты был ты его прости  
А с ним и всех палачей вплоть до Каина самого...  
Твои глаза не отступаются глаз убийцы  
Чтобы он от тебя узнал с какою нежностью  
Умиравший Авель не перестает его созерцать.

Пьер ЭММАНИЮЭЛЬ – крупнейший французский современный поэт. Родился в 1916 г., был учителем, журналистом, во время немецкой оккупации активно участвовал в Сопротивлении. После войны, продолжая журналистскую деятельность, начал печатать стихи. В разные годы был президентом Французского и Международного ПЕН-Клуба. В 1968 г. избран во Французскую Академию, но в 1975 г. подал в отставку. Доктор honoris causa многих европейских университетов.

В 1947 г. совершил путешествие по восточноевропейским странам и стал убежденным противником коммунизма и защитником его жертв. В настоящее время участвует в работе ряда правозащитных и культурных ассоциаций, в частности, является президентом Фонда в поддержку общеевропейской культуры, членом комитета «Помощь и взаимодействие», Комитета поддержки Интернационала Сопротивления.

## КОРОТКИЕ ПОВЕСТИ

\*            \*

Второй день шел дождь. Мне б нужно остановиться, переждать у кого-нибудь, но я не мог этого сделать. Просто надоело придумывать что-то и врать. И потом нужно было спешить. Я плыл только вторые сутки, а уж плот был полностью в воде. Я не знал, что лиственница так быстро набухнет.

К вечеру, ниже поселка, я увидел сарай. Обрадовался ему. Решил заночевать. Издали он казался другим. Вблизи же — сломанная крыша, прелая солома, дверь, сорванная с петель, куча битого кирпича.

Еще там были котята. Вылезли они из соломы. Уставились на меня и громко заплакали. Я растерялся. Не знал, что делать. Накрошил им хлеб, размочил его в луже. А они не едят. Уткнулись носами. Всклипывают. Вздрагивают. Никак успокоиться не могут. Всё плачут и плачут.

\*            \*

Я Лидку сразу узнал. Красивая стала. Я просил Женьку остановить машину, а он говорит: «Мы и так опаздываем». Сволочь Женька. Пришлось объяснять ему, что это Лидка Федосова, что я учился с ней, а в седьмом классе за одной партой сидели.

Женьку аж передернуло. «Да не могло такого быть. Этой девчонке не больше восемнадцати, а ты в седьмом классе учился лет тридцать пять тому назад. Может, она дочь той Лидки, а может, просто

сходство такое. Двойники у многих есть. Вот и у Сталина был двойник, и у Гитлера. Они их вместо себя на фронт посылали».

Вот тля. Обязательно что-нибудь ляпнет и обязательно невпопад. Дерьмо у него в голове. К тому же он еще и холуй порядочный. Говорил, что партийным не станет, а как предложили должность мастера, так сразу заявление подал. На субботнике бегал с красным бантом, как котенок какой. Жена у него в Курчатовском засекречена. На озеро Балатон отдыхать поедет...

Я с ним спорить не собираюсь. Может, и правда у Сталина был двойник и у Гитлера...

Но только Лидка. Лидка Федосова тут причем?

\*       \*  
          \*

А ты не ори, что я без очереди! Думаешь, не знаю, за кем стою? Ты убогонькую спроси. Я как пришла, так за ней все стою. Ты любого спроси. Вот и убогонькая скажет.

Я свою очередь знаю. Я за убогонькой стою.

\*       \*  
          \*

Каждое утро ловлю их взгляд, а они в сторону смотрят. Они что, нарочно отворачиваются? Не знают, что на приветствие нужно отвечать?

Тысячу раз давал себе слово на них не глядеть и не здороваться. Хоть чуточку самолюбия нужно иметь, а то получается, что заискиваю, навязываюсь, нуждаюсь я в них.

О местных не говорю. С ними мало знаком. Другие они. Они не отворачиваются. Они просто не смотрят. Может, так принято у них. А вот наших-то знаю, помню хорошо. Они там здоровались. Хамство, горор свой прятали. Приличными казаться старались.

Сколько раз давал себе слово не глядеть на них и не здороваться. Хоть чуточку самолюбия нужно иметь...

Но только не просто это, никак не получается. Каждое утро собираюсь, а как выйду из дома, так боязно становится. Ведь может случиться и так, что вдруг кому-нибудь понадобится мой взгляд, а я что, в тот миг в другую сторону глядеть буду?

## О МОЕМ ВКЛАДЕ В КУЛЬТУРУ

Я получил письмо из Милана. Организационный Комитет совещания («Континент культуры») предлагает мне выступить в дискуссии на тему: «Разделенность и единство культуры». Тема эта мне не близка, но отказаться от приглашения не могу. Уж очень заманчиво. И в Милане я не был, и послушать хочется, о чем говорят на совещании.

К тому ж Организационный Комитет берется оплатить расходы, связанные с поездкой, а с деньгами всегда туго. Слаб человек, да и только. Отправил я письмо в Италию, написал, что готов выступить в дискуссии.

В лагере, когда требовался специалист, то нарядчик на разводе кричал:

— Портные, сапожники, жестянщики есть?

Заклученные всегда дружно отвечали: — «Есть!»

А если повар требовался или бухгалтер, то эки аж синими делались от крика «есть».

Помню, на разводе нарядчик спросил: «Нет ли переводчика с английского языка на русский?» Все крикнули: «Есть!» Вероятно, я кричал громче всех, потому что нарядчик обратил на меня внимание и повел к начальнику лагпункта капитану Шарапову. Капитан дал мне закурить и показал книгу на английском языке. Обложка яркая. Здоровенный мужчина

на ней красивую женщину несет в пещеру. Шарапов спросил, не могу ли я книгу перевести на русский язык. Я сказал: «Могу». Мне отвели место в бригадирской кабинке, и я в тот же день занялся переводом.

Это со стороны все кажется просто, а на самом деле не так. Тем более, что на английском языке я знал не больше двадцати слов. Хорошо, что книга оказалась иллюстрированной, а то не представляю, как бы выкручиваться стал. По картинкам я и сделал перевод. Книга мне эта, можно сказать, жизнь спасла. Самый холодный месяц я просидел в тепле и кормили досыта. Многие завидовали. До сих пор типа одного забыть не могу. Морда интеллигентная, а стучал на меня и врал, будто он профессиональный переводчик с английского, а еще говорил, что книга, которую мне Шарапов дал, хоть и издана в Лондоне, но напечатана на литовском языке. Счастье мое, что Шарапов оказался умным и на нытье этого кретина внимания не обращал. Даже изолятором ему пригрозил.

Сейчас трудно восстановить текст перевода, но помню, что книга называлась «Воскресшая для любви» и что начальнику она очень понравилась, особенно глава, в которой рассказывается о том, что произошло в пещере после того, как Леопольд затащил туда Луизу.

Иерусалимское издательство «Малер» публикует воспоминания Михаила Агурского *«Потерянное колено Чикаго»*. Заказы направлять по адресу:  
«Maler», P.O.B 6608, Jerusalem, 91066, Israel

## СТИХИ

ЗИМА 1983/1984

\* \* \*

Стапливается в комок  
и растаивает в воду,  
выбрав гибель, но свободу,  
загретаемый в скребок

грязный прошлогодний снег,  
в прошлом бывший белым снегом,  
разлученный с черным небом  
и с полозьями саней

Санта-Клауса в ту ночь  
над вселенною беззвездной  
и над стенкою промерзлой  
участковой КПЗ

Ленинградского района  
нашей родины Москва,  
где дыхание снежинками  
смерзалось по вискам.

\* \* \*

Поскучай обо мне, без меня  
или, как еще лучше, за мною.  
Там, за слышимо-зримой стеною,  
поищи-ка в два часа дня  
моего незакатного полдня,  
промороженным горлом припомня  
тех прощальных сумерек звездных  
царскосельский ворованный воздух.

\* \* \*

Вернуться бы к себе — до слёз знакомой,  
помазанной и дегтем, и желтком,  
но этот голос, тонкий, насекомый,  
прокисший и свернувшийся комком  
в гортани, — о ужели, неужели,  
ужели НЕ чужой магнитный стон...  
И тошнота, и головокружение,  
и рыбий жир речного ожерелья,  
но не над тем, но не под тем мостом.

\* \* \*

Воздушная громада  
на хрупкий позвонок.  
Чему же ты не рада?

Как на стерне прилег  
пряматый мотылек,  
так ты, моя услада,  
укрыта между строк.  
Летейская прохлада  
и полевой веноч.

\* \* \*

И только нерусское имя за зеленью  
саргассовых верст  
еще не до донышка ветром развеяно,  
и парусный холст,

платком носовым к побережью приложенный,  
как хворост, хрустит;  
и зарево-марево-морево — Боже мой! —  
на стертую стрит

ложится волной, пеленою, холстиною,  
снежком Покрова...  
А имя пылит над бетонной пустынею,  
на краешке рва.

\* \* \*

Как на расстреле — смерти в глаза,  
так на рассвете — жизни в лицо,  
перекрестившись на образа,  
кинуться в беличье колесо,  
и сквозь безжалостный день колесить,  
и колоситься, и голосить,  
в холод, в жару, на ветру, на юру,  
и оглашенной прослыть ввечеру.

### БАСНЯ

И дети,  
по берегу раскидывая сети,  
невежи,  
не знают, что иные мрежи

их ждут, чьи ячеи чуть реже  
решетки частой,  
но почаще редкой,  
люби начальство,  
за незримой решкой  
люби природу  
и не предсказывай погоду  
на взбороненном побережье.

\* \* \*

Ах, загудело, зазвякало  
в бедной моей голове,  
лопнуло мутное зеркало  
как бы в кабацкой гульбе.

Ах, заметало поземкою  
по индевелой стерне  
тонкую и незвонкую  
ноту на рваной струне.

Ах, мое воинство ахово,  
рифмы на первый-второй,  
ах, мое зернышко маково,  
горюшко ты мое...

\* \* \*

Не рыдать и ни  
доставать чернил.  
Всё длиннее дни,  
всё яснее мир.

И над морем слёз  
каботажных карт,  
косоглаз и тёпл,  
подступает март.

\* \* \*

Что случилось? Плотину прорвало  
и с водою дитя унесло  
в океан, до девятого вала,  
— маринисты, за ремесло!

Как прекрасна дрожащая люлька  
на вспенённой до неба волне!  
Как отделана каждая булька  
у маэстро на полотне!

Небеса так мерцают латунно,  
так смарагдов глубин пересвет,  
так удачно ложится натура  
в позолоченный легкий багет,

так взволнованно милые толпы  
посещают собой вернисаж  
и сдают телогрейки и польты  
в раздевалку, в прожарку, в багаж,

так мы самозабвенны, когда мы...  
А с чего ж это все началось?  
Что случилось? — и в поисках драмы  
снова к морю бредем на авось.

## ПРАЙС

### *Главы из книги*

#### ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД

*Возьму ли крылья зари и переселюсь  
на край моря...*

(Псалтирь)

— Ну, Прайс у нас большой оригинал, — сказала Нэлли Наумовна, когда добралась до его тетрадки. «Большой» и «у нас» тянули на высший балл, но «оригинал» все портил. «Оригиналы» получали четверки и тройки, пять получает «молодец» — если девочка — и «умница» — если мальчик. Двоечник, тот сразу узнавал о себе правду. Колюче произносилось его имя и следом оценка: Файн — два. Коломойская Марина. Молодец, Марина... Передайте.

Пока тетрадка Прайса поверх голов плыла в его направлении, на мгновение оказавшись в пальцах Жанны, белокурой, вопреки уже сработавшему в нас рефлексу, Прайс все еще хранил какую-то надежду. Боясь ее обнаружить и этим себя уронить, он стал разглядывать, как ходят лучевидные косточки на учительской стопе, несмотря на увечие, обутой в открытую коричневую лодочку. Для него, так и не поладившего с идеей человеческого организма, любая — копеечная — патология была особенно тяжким зрелищем. Казалось, простреленные Нэллкины косточки нет-нет да и заскочат одна за другую. Оттого в его собственных костях уже начиналось неприятнейшее сопереживание. Он нарочно продолжал смотреть, отчасти наказывая себя за малодушие, отчасти — желая его скрыть.

Сложный мальчик. Со спутавшимися нервами, с ядом в крови, высокомерный до наивности и в ней доходящий до юродства.

А вот сценка: «звездный час». Вызванный к доске на предмет невидимой линии горизонта, Прайс во всеуслышанье заявляет:

— Нет, я не требую смерти для Александры Арьевны.

— Ты чего, ты чего — ни с того, ни с сего! — всполошилась толстая старая астрологиня.

— Я-то чего, — отвечает Прайс. — И с того, и с сего (дескать, это вы все ничего, пустой ноль).

Дурак? Распущенный? Прайс не всегда контролировал момент затвердения мысли. То есть переход из состояния мысли в состояние слова для него не сопровождался включением красной лампочки. Что-то было с контактом, чем он даже бравировал, благо непосредственность высоко ценится — задним числом — в светочах рода человеческого. Стыдился он другого, того, что держал за малодушие: например, показать, что выставленная оценка ему небезразлична — чего большинству и в голову бы не пришло стыдиться. Причуд же он своих не скрывал. Все знали: раз в год Прайс зарывает клад. Случалось, он приносил в школу очень толстый осколок стекла, в глубине которого застрял пузырек. Он называл это «моделью» — очень многозначительно, без дополнения. По его мысли, это была уже Модель, как бывает Книга, Человек или Любовь (первая — исключительно в виде контрабанды, второй — в ореоле трех перекрещивающихся эллипсов с ядерной заклепкой посередине, а третья — как продукт воздействия первой на второго). За счет Прайса сонм высочайших понятий обогатился еще одним: Модель. Значение Модели Прайс никому прямо не объяснял, а лишь пояснял, как будто играл во «что мы видели, не скажем, а что делали, покажем». На большой перемене он шел в

хозчасть и там погружал свой магический кристалл в ведро с краской. Жалкий компромисс: все равно он выигрывал в эту игру за отсутствием партнеров, почему аллегорический смысл его действия оставался при нем.

А должно оно было показать, что пузырек с воздухом внутри, чье бытие под слоем краски продолжалось отныне только для видевших его до большой перемены, в сознании прочих вообще не существовал. Ну, а если б никто, включая самого Прайса, не видел его прежде — не следует ли отсюда, что его никогда и не было? Этот вопрос бесконечно волновал Прайса, которому весь мир представлялся россыпью таких пузырьков, действительных лишь в пределах его знаний и больше ничьих — кто же потом, после б о л ь - ш о й п е р е м е н ы, засвидетельствует факт их существования? Были они всем, чем угодно: событиями его жизни, целиком уместившимися в полный облет землею солнца — эту внушительную временную емкость он отмечал, когда зарывал клад, получался еще один пузырек под непрозрачным покровом, — или это был частный фильм, проецируемый на изнанку века, где главную женскую роль исполняла Жанна. Но драгоценнейшим из того, чему недолгое время спустя предстояло засветиться — ибо эти фильмы не поддавались проявке, — был мир детства его отца.

Все это не мешало Прайсу обладать полнокровным темпераментом, жаждать и товарищества, и общения. Другое дело, мы видели, на какой «компромисс» он ради этого шел. Попробовал бы кто-нибудь предложить ему последить за собой и как-то согласовывать свое поведение с требованиями момента (упомянутая нами выходка на уроке астрономии вот-вот получит свое разъяснение). Парадокс состоял в том, что Прайс постоянно и чистосердечно предлагал себя окружающим, но — по давней-давней формуле,

«со всем, что у него есть», или, выражаясь языком современности, «с нагрузкой» — волшебными осколками, грезами наяву и прочим шаманством, которого в близлежащей тайге и без того было хоть отбавляй. Не последнее место в этом перечислении заняли бы и его годовые сочинения на свободную тему. Тема Прайса отличалась незавидным постоянством (тут ведь не над чем иронизировать). Уже несколько лет он писал сочинение под названием «Предыдущий год». Ниже, две строки отступя, следовал п л а н:

1. Вступление.

- 1) Закопан клад в ознаменование начала года.
- 2) Скоро вновь распахнутся окна школы.

2. Основная часть.

1) Образы сверстников.

- а) Павел Островский — настоящий сын нашего класса.
- б) Ю. Горовец и М. Коломойская — носители идеи высокой успеваемости.
- в) Григорий Файн — носитель идеи невысокой успеваемости.
- г) Лишние люди: братья Зайчики.

2) Образы учительниц.

- а) Лучшие черты нашей современницы в Дариме Линхобоевне Прайс.
- б) Характеристика учительницы русского языка и литературы Нэлли Наумовны Рубинзон.
- в) Учительница химии Софья Исаковна Комиссар — выразительница взглядов прогрессивной интеллигенции.
- г) Коллектив учительниц ижменской средней школы в борьбе за повышение успеваемости у учеников.

3) Образы природы.

- а) Дуб как типичный представитель таежной флоры.

б) Встреча с лесным охотником фижменской национальности.

в) Ижма приветствует весну — мосты повисли над водами.

### 3. Заключение.

1) Вырос новый клад.

2) Мы стали на целый год старше.

От соблазна воспроизвести дальнейшее воздержимся. Мы и без того вдоволь «нацитировались», чем сильно облегчили себе жизнь. Но если в таком же духе продолжать, то решат, что у нас узкая грудь и куриное дыхание. Никогда, читатель, никогда мы не дадим тебе этого почувствовать. В этом ты еще убедишься — как и в том, что Леонтий Прайс, шестнадцатилетний уроженец поселка Ижма, даже в мыслях не имел выставлять на посмешище лексикон своих учительниц. Не веришь? Вот тебе наша рука. Феномен Прайса мы будем толковать на протяжении всей повести, вполне сюжетной, кстати, полной всяких событий, — в чем тебе тоже наша рука. Что касается конца, то конец ждет тебя торжественный, чуточку счастливый... А теперь отпусти наши руки, мы хотим писать.

Нэлли Наумовна выходила из положения с честью. Громко — и отвлеченно — рассуждала о роли семьи в формировании личности, чуть потише удивлялась, что Прайс вообще в состоянии читать, писать и... гм... разговаривать. Заслугу в этом она приписывала «коллективу учительниц» и в первую очередь учительнице русского языка и литературы Рубинзон. Года два назад с Нэлли Наумовной стряслось несчастье: охотник фижменской национальности с пьяных глаз «обознался», вследствие чего она какое-то время была замещаемая дамой из Края, Александрой Арьевой. Прочитав работу Прайса, независимая Александра Арьева возмутилась. В особенности одним пассажем: застрельщица Нэлли Наумовна слабеющей рукой пере-

дает знамя новой смене в лице Александры Арьевны, клянущейся это знамя не уронить. О «бывшем партизане», как отрекомендовал горе-охотника Прайс, там говорилось: «Нет, мы не можем предать его смерти». И верно, не могли — не поймали.

— Твою работу я оценивать не стала, — сказала Александра Арьевна.

Прайс задумался, такое случалось с ним впервые.

— Не смогли, да? — спросил он наконец укоризненно.

Учительница из Края была уверена в своих силах и решила дать бой. Сверкнув для остротки глазами, она сказала:

— Ты хочешь, чтобы я прочитала вслух, что ты написал — и чтобы твои товарищи высказались?

От удовольствия Прайс даже покраснел. Учительница, истолковавшая это в свою пользу, уже победоносно обвела глазами класс, когда Прайс тихо сказал:

— Очень.

Александра Арьевна допустила промашку — вообразила, как сама бы она со слезами на глазах вырывала из рук учителя тетрадку; по себе о других можно судить только в пределах своего поколения — и пола, подскажет кто-нибудь. В остальном, однако, она оказалась на высоте своего опыта: класс увлекается любой педагогической затеей, позволяющей во время урока ходить на головах, — от лабораторной работы по разделыванию лягушек до разучивания по ролям стихотворного номера к ближайшему празднику. Но в настоящий экстаз увлеченность перерастает, когда с благословения учительницы начинается индивидуальная проработка. Тогда активность учащихся подскакивает до потолка. Наперебой подсказывают они учительнице, как «помочь товарищу». Со своей стороны, учительница участливою старшей сестрой раздает встречные советы, консилиум, естественно, проводится в присутствии пациента. Главное

здесь — это учитывать, что всегда находится кто-то, чье безобразничанье, якобы в поддержку учительницы, грозит педагогическому мероприятию срывом — а потолку прободением.

— «Предыдущий год», — Александра Арьевна посмотрела на Прайса. Это был взгляд вседержителя: в нем читалась также и готовность простить при условии раскаяния.

Прайс сидел, склонив голову на картинно повисшую кисть руки, столь же картинно другая рука ниспадала со спинки парты. По лицу его, в старину бы сказали, замечательному своей красотой — которую сегодня ценят только в детях, а куда не знали, что сладкое вредно, ценили во всех, — по лицу его глазурию растекалась какая-то нездешняя ассиرو-вавилонская томность.

— Сядь прямо.

Прайс вздрогнул и послушно переменял позу. Но учительница, несмотря на его беспрекословное подчинение, не спешила с обещанным чтением.

— Ребята, — спросила она, — кто скажет, почему нельзя назвать сочинение «Предыдущий год?» — Потянулось несколько рук. — Саша.

— Потому что это неправильно. Надо говорить «прошлый год». Предыдущий бывает класс.

— А ты, Марина, как думаешь?

— Я думаю, что «предыдущий год» говорят только если сравнивают. Например, успеваемость учеников по сравнению с предыдущим годом возросла вдвое.

— То есть ты хочешь сказать, что это выражение не следует употреблять в названии?

— Да.

— А не кажется ли вам, ребята, что Прайс и сам все прекрасно знает? Что это он специально сделал, чтобы посмеяться над вами: что вот вы все дураки, кроме него.

Потянуло паленым — на что у детей был нюх совсем как у взрослых.

— Предыдущий — это который был и закончился, — возразил Прайс. — А прошлый — как прошедший, который до конца не прошел, а только на исходе. Еще будут подводить итоги, еще не произошло это вот... — Он достал из ранца «это вот» — заветный осколок, служивший ему универсальной Моделью, в частности того, как год переходит в клад. А то слово «прошедший» в конце учебного года подразумевает именно этот, прошедший год, календарно еще не заверченный и, следовательно, сосуд не-совершенный. — А вы обещали все читать, — вдруг припомнил он учительнице.

— И не подумаю забивать всем головы твоей галиматей.

— Честное слово врать готово, — проворчал Прайс, выходя из игры — опять победителем.

— Что ты сказал, повтори.

Но Прайс ушел в созерцание магического кристалла с незримым (но существующим!) пузырьком внутри.

Не в новинку было Александре Арьевне сшибаться с наглым подростком.

— Ну, хорош, ничего не скажешь... Он же над вами издевается. Такого морального уroda еще свет не видывал. — И, мешая просторечье с подлой казуистикой своего сословия, Александра Арьевна воскликнула: — Ну, вы, спасайте товарища, пока не поздно!

Это выглядело как удачное заклинание дождя: ласточки летают низко, вдруг стало душно и тихо...

— А что мы можем сделать... (упала капля).

— Мы ему сколько раз... (еще одна капля).

И — забарабанило, и уже двоечник Файн присоединился, сквозь шумовую завесу слышалось его, сопровождаемое какими-то утробными звуками, пение:

— Пред-дыду-ущий год, пред-дыду-ущий год...

На передней парте без умолку тараторили Галя Галинбек и Жанна Жук:

— Ой, Александра Арьна, а что он там — про нас, да? Почитайте, пожалуйста...

Понимая, что от Файна надо обезопаситься, Александра Арьевна сказала:

— Ну, хорошо, слушайте, — и прочитала первое предложение.

Хиросима хохота.

(Предложение гласило: «Дом у подножья сереющего вон там на горизонте склона, который я не вижу и о котором ничего не знаю, стоит ли он?» Неделю назад по поводу этого предложения Арон Прайс сказал сыну: — Ах ты мой мудрец — вот наша бедная мама писала так же. Ты, если захочешь, можешь стать не только великим художником, но и великим писателем.)

— Между прочим, мы говорим о тебе, Прай-с... — на «айс» конфискуется Модель. Поступок в сущности нормальный для учителя. Ненормальна, даже жутковата реакция ученика: он встал из-за парты и приставил себя к двери — всех арестовал.

— Александра Арьна, не надо, отдайте ему, он ведь — того, — жалобно попросил кто-то.

— А ты, дура, молчи. Забыла, что Дарима Линхобоевна запретила обо мне говорить, что я — того? — сказал Прайс.

Вот когда не одна холодная змейка шевельнулась под сердцем Александры Арьевны: ведь если парень не придуривается, а вправду больной, то недолго и в тюрьму угодить. Позабыв всякую гордость, она с такой стремительностью вернула Прайсу его сокровище, как будто в нем был скрыт от стороннего глаза не пузырек, а — тлеющий уголек.

— Тихо! — (хотя стояла тишина гробовая, только Прайс протопал на свое место) — К следующему разу

все пишут новое сочинение. Это недействительно. Тема общая: «Предыдущий год».

— А кто уже написал? — спросил Прайс.

— Значит, может не писать.

Этот случай был забыт и не забыт. Забыт, поскольку заместительнице Нэлли Наумовны внезапно потребовалось медицинское обследование, а с глаз долой — из сердца вон; обе преподавательницы теперь лежали вместе — в узком смысле этого слова: коек не хватало, и больных укладывали по двое — и обсуждали... уж и незнаемо, что там они обсуждали, вероятно, Нэлли Наумовна корила Александру Арьевну за то, что не сдержала та клятвы, выронила знамя, а подымать его в третий раз было точно некому, Край не желал больше переводить драгоценные учительские кадры на Ижму, где, судя по всему, поселилась нечистая сила, враждебная русской словесности. Попробовала было Дарима Линхобоевна сама вести эту дисциплину, но осрамилась. На первом же уроке она, всегда все помнившая так хорошо, вдруг забыла, кто кого застрелил, Пушкин Лермонтова или Лермонтов Пушкина. Возможно, это обстоятельство ускорило процесс сращивания надпяточного бугра Нэлли Наумовны. В великой тревоге за своих питомцев, опережая все сроки и изумляя врачей (врача — доктора Коломойского), Нэлли Наумовна смогла не только выписаться и приступить к занятиям, но даже продолжала посещать кружок бального танца при ДК.

А не забыт этот случай был, поскольку та почти идеальная субстанция мозга, которую в силу ее свойств и назвать хочется нежно: о б о л о н ь — а не общепринятым прозаизмом, — субстанция та, не названная, однако, по имени, вообще ничего не забывает. Чтобы не быть голословными: во-первых, «звездный час», когда из-за невидимой линии горизонта вдруг выпрыгнуло такое, что хоть стой, хоть падай. Во-вторых, не далее как вчера, то есть два года спустя,

Прайсу во сне явился Ярошенко. Он просил часового отпустить уже облаченную в санбенито (*sacco benito*) и карочу Александру Арьевну, суля в виде выкупа пятерку, а в виде крайнего довода (*ultima ratio*) объявляя, что она — его жена. На это Прайс резонно возразил, что он не требовал смерти Александры Арьевны, и прибавил, указывая на Жанну: — А вот моя жена.

Прайсово «нет, я не требую смерти имяреку», хотя внешне как бы и служило пустой отговоркой, всего лишь формулой при вынесении «вышака» и подобием инквизиционного «церковь не хочет крови» (*ecclesia non sitit sanguinem*), в действительности же не имело и грана лицемерия последнего. Сколько раз Прайс выступал перед воображаемым трибуналом — порой, как мы знаем, вслух, — столько раз искренне предостерегал он судей от пролития крови, его-то церковь действительно *non sitit sanguinem*.

Интересно, что у Прайса б ы л взгляд на «высшую меру». Неважно сейчас, какой, главное — он б ы л, что Прайс активно размышлял о наказании смертью, а самый факт какого бы то ни было, даже ошибочного отношения к предмету (существующему, увы, и вне нашего суждения, не в пример «дому у подножия сереющего вон там на горизонте склона») предпочтительней всякой индифферентности.

Но вернемся к «Ярошенко». Как бы круто ни обошелся с ним Прайс — будто бы тот снился ему каждую ночь, а не впервые, — ясно, что завтрашняя оценка была ему не до лампы. Через нее, с Нэллкиной помощью, Прайс легализовывал свою многолетнюю, перешедшую в потребность, привычку — описывать на исходе учебного года тот, предыдущий, защелкнутый со всех сторон и погребенный в братской могиле дедов морозов с деревянной биркой на ноге — номерком теоретически порядковым, на деле же количественным. Затылочна условность этих низло-

женных годов — они лежат ничком. И поэтому как нельзя лучше отвечал задаче мемориала в их честь язык методических штампов, образчики коих буквально носились в воздухе класса. Благодаря им Прайс блестяще справлялся со своей целью — достижением абсолютной условности, равнодушный к тому, что последовательное использование их представлялось издевательством даже самому адаптированному, такому, как у Александры Арьевны, мышлению.

Если искать смысл в человеческих действиях, то найти его можно всегда. Прайс вел войну против бесправия прошлого перед настоящим. Отдавал ли он себе сам в этом отчет? Как мы увидим, да. От Нэлли Наумовны он ждал справедливости, ждал вот уже сколько лет, в полном согласии с тремя своими сущностями: заносчивостью, наивностью и юродством. Но когда (наконец-то!) тетрадка достигла высокомерных берегов его парты — как Спарты, — напутствуемая противоречивым оракулом: «оригинал», но зато «у нас» — а «у нас» все прекрасно, — в целом же предвещавшим так четверочку с минусинском, Прайс, в душе не помнивший опыта прежних лет, а полагавшийся до последней секунды на неотразимость своей работы и умиравший узнать, «сколько?», даже не взглянув на отметку, спрятал по-спартански тетрадь в ранец. Собственно, Ижма не знала ранцев, в начальные классы дети ходили с маленькими гранитолевыми чемоданчиками — «банный дипломат», — а у старшеклассников были такие же, как у учительниц, портфели; на ранце Прайса с внутренней стороны крышки сохранилась надпись: «Арон Прайс, тридцать пятая школа, Невский пр. 14».

Урок литературы был вторым и последним. По мере приближения каникул занятий становилось все меньше, ничего нового не проходили, а подрубали текущий материал. В остальное время устраивались классные часы (а то и просто зияли окна пустых уро-

ков). Маленькие проводили у себя сборы и экскурсии, по поселку и за город. Экзаменов как таковых не было, по своему статусу школы Фижменского края не могли выдавать аттестатов зрелости — только справки. Но справки эти были очень красивые. Каждая изготовлялась отдельно, на уроках рисования в младших классах, и среди них встречались удивительные находки — вдруг какая-нибудь лесная школа и звери за партами. Свою работу юные художники начинали еще в сентябре. Позднее, в конце зимы, на выставке «грамот» — как их называли — отбирались самые удачные, для вручения первым ученикам. Остальным давались те, что попроще. За этим скрывалась попытка все же как-то отметить отличников. Сама церемония обставлялась очень празднично: первоклассники вручали справки, выпускники приносили «Клятву бывшего школьника» — так пошлый вкус изгонял казенный дух. Затем «открывались» танцы. Все это ожидало Прайса, и описание более подробное мы придержим для конкретного случая.

Покончив с сочинениями, Нэлли Наумовна отпустила класс и пошла в учительскую поточить ляды. Но было поздно, все уже разошлось, ей не оставалось ничего другого, как довольствоваться обществом химички Комиссар. Эта жила исключительно интересами учительской — и, кстати, жила в ней в прямом смысле слова. Выходя за порог школы, она превращалась в жалкую цивильную старуху, но, благо ни одна живая душа не ждала ее после уроков, такие превращения были крайне редки.

Софья Исаковна Комиссар сидела на диван-скамейке, рядом высилось два холмика — семечек и очистков.

— Угощайся.

Нэлли Наумовна молча последовала приглашению. Прошло какое-то время, прежде чем она сказала:

— Послушай, Софа, что-то я хотела тебе сказать...

Несмотря на различие возрастов — «дочки-матери» — и явственную лексическую принадлежность к разным поколениям — Нэлли Наумовна сказала бы на месте Софьи Исаковны не «угощайся», а «подключайся», — они были друг для дружки «Нэллкой» и «Софой».

— Хорошенькие, — оценила Комиссар свежеевыкрашенные лодочки Робинзон — так ничего и не сказавшей, вопреки собственному пожеланию быть выслушанной.

— Верно, славненькие? — оживилась та. — Были еще розовые, но, знаешь — у меня как раз зеленый портфельчик.

— Прелесть, прелесть, — повторила Комиссар, которая обувалась уже по-старушечьи — в детские сандалики, на юбку она тоже давно плюнула, зато с недавних пор хроническую белую вставку сменила на рябенький платочек, а к кофте пришила большие желтые пуговицы. Это была ее запоздавшая дань новым веяниям, вызванным тем обстоятельством, что жители Ижмы вступили в следующую фазу своего существования — у них появился б ы т. Прошли времена, когда летом без стыда хаживали в исподнем — и то, спасибо комарам, — а зимой замордовывались до самых глаз. К позору своему, коллектив учительниц повел себя в этом отношении косо. Уже Ижма всю щеголяла в красных и синих ситцах, весной и осенью поверх ватных подплатьев, а не кто иной, как та же Софья Исаковна, могла сказать физкультурнице Рубан: «Заузила юбку, а у самой попа, как у медведя». Но постепенно и учительниц захватила общая волна либерализации вкусов, тем более, что выяснилась тождественность либерального и передового — к последнему же, традиционно придающему лицу знакомое выражение перманентного мужества, учительницы хранили верность со школьной скамьи, как если б это был «их тип». Одним словом, мысленно набро-

сав портрет либерала и увидев, что это их тип, они все мигом понашили себе каких-то бантиков, вначале не без робости, но затем осмелели настолько, что стали пользоваться губной помадой. Появилась такая точка зрения, что женщина должна быть красивой — хоть и с оговоркой: не ради к о г о - т о , а чтоб самой было приятно. Высказывались и другие смелые мысли и велись разнообразные разговоры на эту тему. Участилось употребление слова, которое не только выражало запрет, но еще недавно и само как бы находилось под запретом: табу. Дарима Линхобоевна Прайс обычно ни во что не вмешивалась, но очень внимательно все слушала, стремясь запомнить побольше новых слов. Лично она по-прежнему ходила в шинели и кожаном шлеме — как когда-то, когда отделенной, ночью, в пургу, приняла под свое командование дюжину полоумных теток, — только теперь под шинелью у нее появилось приличествующее директорской должности комбинэ искусственного шелка.

— И что мне в них нравится, — продолжала Нэлли Наумовна, — что такие туфельки ничего не весят.

Она скинула левую лодочку, открыв свои раны.

— Не болит? — спросила Комиссар.

— Уже забыла, — засмеялась Нэлли Наумовна и поставила босую ногу прямо на диван-скамейку, заголившейся коленкой кверху. У нее были манеры женщины явно не отягощенной своим одиночеством — а разве что, тайно и в таком случае ошибочно, за счет живучести некоторых устаревших представлений о женском счастье. На деле же многолетняя привычка ни с кем не делить самое себя выработала в ней известную физическую беззастенчивость, которой она вряд ли согласилась бы поступиться, как, впрочем, ни одним из множества своих благоприобретенных качеств, которых девственно за собой не ведала, — не ведала же она, что вид ее злосчастной стопы — зрелище малоаппетитное. Эпоха нуждалась в женщинах

такого рода, одиноких заборных учительницах, и потому создала для них специальный фонд общественного одобрения или, по крайней мере, ободрения.

— Ты молодец, Нэллка, — вздохнула Софья Исаковна. — Я ведь тоже заводная была... Мы собирались всем выпуском у такой Галочки Пивак, ее отец был капитан дальнего плавания. Очень хорош. Я ему: «Валентин Федорович, сумеете, как Долохов, сидя на подоконнике, бутылку рома выпить?» А он мне: «Для вас, Сонечка, я этот ром не то что выпить, я его даже достать сумею». Да, знаешь, Нэлл, вчера сидим мы: я, Левит и Лошадь Пржевальского, и входит Горовец — отец. «Софья Исаковна, — значит, — а как мой сорванец?» Пронюхал, что его Юрочке только третья грамота досталась — помнишь, с паровозиками? Он, видишь, меньше чем на «Мересьева» не рассчитывал. Тогда Левит — а она их обоих, и сына, и папашу, сама знаешь как любит — говорит, значит: «А что вы так беспокоитесь? Все равно «Подвиг Мересьева» получает дочка доктора Коломойского, это уже решено и подписано. Вам даже «Паровозики» не очень-то светят. Еще Прайс есть, не забывайте». Он прямо за сердце схватился, мне даже его жалко стало. «Ну, не бойтесь, — говорю. — С «Паровозиками» Бронислава Гаевна просто так. Прайсу такие «Паровозики» будут, как мне орден Ленина».

— Да, ему уже другие паровозики нужны, — вернула Нэлли Наумовна. — Представляешь, парень по моим ногам так и стреляет — хоть валенки носи.

— Ну, по твоим ножкам, мамочка, и пострелять не грех...

— Атас, — шепнула Нэлли Наумовна.

— А я ей говорю, — сказала вдруг Софья Исаковна, — вода и соль, мамочка, будет суп, а у нас урок химии, а не курсы поваров... А, Дарима Линхобоевна... Мы все о школе. Год кончился, а забот не убывает. У вас тоже?

«Кто кого убивает, какие субботы?» Дарима Линхобоевна молчала. Опять непонятное спрашивают. Вот возьмет и не ответит им. Она тоже к Рубинзон с непростым вопросом. Но сперва она поздоровается.

— Здравствуй, Софа Кысаковна. Здравствуй, Нэла Умовна. Софа Кысаковна, ты проверил бараторные десятого класса?

— Да, Дарима Линхобоевна.

— Как учат учащие?

— Лучше намного, спасибо.

— Хорошо, Софа Кысаковна. Ты — Нэла Умовна, ты проверил сочения десятого класса?

— Да.

— Все сочения проверил?

— Все. Сегодня раздала.

— Учащий Прайс тоже?

— Я же сказала — все.

— Нэла Умовна, ты помнил, что я хочу, пожалуйста? Никогда не хотел, а последний год хочу. Он прилежно. Долго назад начал. Свой отец советовался.

— Прайс сделал успехи, Дарима Линхобоевна, — сказала Нэлли Наумовна. — За эти годы он многому научился. Хотите семечек?

Дарима Линхобоевна съела одно семечко. Она их не любила, потому что не умела чистить.

— Спасибо, Нэла Умовна. Ты хороший учительница. Ты тоже хороший, Софа Кысаковна. Только ты уже старый. Вот метла, а ты не мети. Я сам.

Когда она ушла, Софья Исаковна пророкотала губами, словно натягивала поводья.

— Да чего ты так боишься ее, а, Соф? Начихать тебе на нее с высокого дерева.

— Знаешь, мамочка, — помолчав, отвечала Софья Исаковна, — бывают вещи против твоей воли. Тебя здесь не было, а я с самого начала к ней попала. Какой это зверь, чего она не вытворяла со мной. С тех пор как увижу ее, так...

Нэлли Наумовна не любила эту тему. В Софье Исаковне ей нравилось лишь бойкое старушечье хамство — в чем-то благотворное для ее собственной накладной бодрости.

— Ну и глупо. Слушай самый последний анекдот. Знаешь, почему Даримка шлем не снимает? Уши боится потерять.

Довольная собой, Дарима Линхобоевна вернулась в директорский кабинет. Она сказала все, что хотела, и так, как хотела: вначале строго спросила с обеих, а заговорив о пасынке, приоткрыла душу и потому не ругалась на семечки, хотя это было некультурно с их стороны. Правильно, что не стала она отвечать Софе — Софа нехорошая, Софа бы в два счета ее запутала. Еще когда строили школу, Софа хитрила и под бревно, иначе как с тонюсенького конца, не становилась — сколько бы ее ни наказывали. А Нэла хорошая, Нэлу ранил Чейсында, только об этом никто не знает. А что же это за субботы, год их убивает? Этого Дарима Линхобоевна не поняла, а то бы потом у других про то же самое могла спрашивать. Труден русский язык. В прошлый раз на конференции в Крае своими ушами она слышала, как одна женщина, и не какая-нибудь там фижма неумытая, а еврейка, сказала другой, тоже еврейке, что это самый трудный язык в мире. Еще бы, когда в нем есть буквы, которые надо читать и писать!

Дарима Линхобоевна думала, что чтение и письмо присущи русскому языку изначально, в виде некой аномалии — пятой ноги или шестого пальца. Вообще взгляды Даримы Линхобоевны (и других оригиналов-фижм) заслуживают упоминания — не взгляды на явления природы, происхождение человека или свойства «дерева грыж», когда на него садится «железная птичка», — об этих взглядах можно как раз и самим догадаться. Нет, речь пойдет об отношении народа фижм к событиям своей недавней истории, появлению

на их земле мужчин и женщин, именуемых евреями. Что думали финны о евреях, как объясняли их приход? Когда-то, думали они, раньше все принадлежало евреям — заводы, фабрики, земли. Русские работали на евреев, евреи же только богатели и от скуки выдумали себе науки, ими они и сейчас тешатся в школах. Затем сделалась революция, евреев свергли, главного из них, царя, убили, а остальных затолкали в теплушки и увезли в Финляндский край. В том, что разные пушкины и лермонтовы были евреями, Дарима Линхобоевна ни минуты не сомневалась. Русских она видала: то были пропойцы из комендатуры — впоследствии замененные местными, то был второй секретарь крайкома Георгиев, однажды сломавший своей жене нос. Еще в Крае проживал некто Гуцулов, особист. Он-то спьяну и болтнул Дариме Линхобоевне: «Мы, русские, — суки, — сказал он. — Все на земле евреи надыбали, даже коммунизм, а никакие не русские». «Наши еврейчики», — любил говорить Гуцулов, ибо достиг таких командных высот, что утратил связь с истоками и презирал собственный корень, а к евреям, напротив — благоволил. Дариму Линхобоевну годы на директорском месте тоже растлили, несмотря на шинель и шлем, за которые она так упорно держалась — очевидно, и держалась в силу этой растленности, в остальном ставшею явной и даже зарегистрированной финским отделением ЗАГСа. Шлем, правда, не хранил, как шинель, следов ее бывшей сознательности — а иные: ребенком получила она его в приданное, с изнанки на нем отчетливо проступал след железной птички.

Ынг кысак, кысак. Того сы сусы.  
Мнынг сы хы, сы хы. Фухны ныхны.  
Вынг ух ты, ух ты. Пых нгы ной дынгы.  
Ты бы выны зу.

Ох, гоган, да гоган, да гоган.

Кысак, кысак!  
Похто ты сымак,  
Похто сыку пасыкыл?  
Ых-ых, стыны бы сымак  
Да кацон вынг.

Ох, гоган, да гоган, да гоган.

А мны хыть сы, а хыть ны сы,  
Мны кысак, адын кысак.  
Быслай, Чейбылсын да Ойгы  
Выдыт тойгы. Сыбай.  
Сам сыбай,

Ох, гоган, да гоган, да гоган.

Эту песню знали все фижмы — от матери, от бабки, от старшей сестры. Она распевалась во всех чумах, была очень поэтична и если не стала в один ряд с другими общепризнанными шедеврами народного творчества, то по чистой случайности. Вслушайтесь еще раз в ее запев:

Ох, гоган, да гоган, да гоган.

Дарима Линхобоевна любила ее до слез.

А теперь представим себе, что было бы, если б полчища дарим лихонбоевен, вторгнувшись на нашу родину, заставили н а с восхищаться этой песней, любить ее — так, словно н а м пели ее наши матери, бабки и старшие сестры, — в ней одной черпать утешение и, в конце концов, стать меломанами на ее музыкальном материале? Ответа не требуется. Однако для Даримы Линхобоевны такое положение было трагической реальностью. Побежденные диктуют свою волю победителям. Поставленная над учительницами-еврейками, она, тем не менее, оказалась вынуждена

плясать под их дудку, посильно следовать чужому «кысак, кысак» — а раз в году даже непосильно, когда надо было собственноручно подписаться на тридцати грамотах.

Да, как ни горько в этом сознаваться, в ижменской средней школе директор не умел писать. У Даримы Линхобоевны хранился специальный пластмассовый трафарет, вроде лекала, где была тонко прорезана ее фамилия прописью. Такой трафарет директорам школ давали в Крае. Писать по нему было мучкой: пластмасса скользила, буквы получались криво, чернила смазывались. Многократно происходили в крайоно бурные собрания, на которых один за другим вставали директора и требовали, чтобы им разрешили подписываться печатными буквами. Но все их требования разбивались о категорическое «нет» вышестоящих инстанций — к негодованию местной фижменской интеллигенции, негодованию, постепенно принимавшему формы антирусских и антисоветских настроений.

На столе Дариму Линхобоевну дожидалась кипа грамот. Зная, что придется попотеть, Дарима Линхобоевна предусмотрительно — закрыв только дверь кабинета на засов — сняла шинель. Грамоты лежали с уже вписанными в них именами ребят. Прайс получал какого-то третьестепенного зайца. На большее он по своим успехам претендовать не мог, а силой вырывать для него на педсовете «Подвиг Мересьева» ей, знавшей, какая каша заваривается каждую весну из-за этих грамот, не хотелось. Прайса она поощрит иначе, она уже придумала как: н е б ы в а л о. А красивая картинка — подумаешь. Год повисит и надоест. Дарима Линхобоевна была искренне убеждена, что все дело в красивой картинке. Она взяла со стола самую верхнюю, ею оказались паровозики, которые делали «ту-туу!» Нет, воля ваша, конечно, господа еврейские головы, но Горовец, ради этих «ту-туу!»

державший сыну репетиторов по математике, по физике (кто там еще к нему ходил, кажется, Лошадь Пржевальского), глупее чукчи и даже эвенка глупей. При мысли об эвенке Дарима Линхобоевна злобно рассмеялась. И вдруг в порыве национальной гордости несколько раз плюнула на ненавистное лекало и запела:

— Ынг кысак, кысак. Того сы сусы.  
Мнынг сы хы, сы хы. Фухны ныхны.

### ПРИВЕЗЛИ СЕЛЕДОЧКУ?

Веселитесь, пациенты,  
Доктор с вами лег в постель.  
*Ф. Кафка. Сельский врач*

Лучше всего Прайсу удавались лица. Совсем не получались животные и капители колонн. Пейзажная лирика играла в его творчестве вспомогательную роль, по большей части из-за листвы, которую он так и не научился рисовать. Нарисовать еще можно было каждый листок коринфского аканта, но не каждый листок на дереве, насчитывающем их, быть может, тысячу. Поэтому к мастерам пейзажа он относился так, как иной писатель, годами мусолящий повесть, но при этом глядящий в наполеоны, относится к «Войне и миру». Последние мысленно прибегают к заступничеству Дольд-Михайлика, Вагинова, Мейринка — сообразно своим вкусам. Наоборот, фигуры людей, даже в «позах», у него выходили художественно — лишь при одном неперменном условии: наличии натурщика. По памяти или отвлеченно он рисовал только лица. Если требовалось изобразить руку, он клал перед собой собственную. Обнаженные тела встречались у него изредка, женские — никогда. Но лица —

они были его коньком. Он владел, как пятью своими пальцами, линиями десятков человеческих типов — «пород», как говорит Мейринк, — которым отвечали такие нюансы человеческой психики, какие невозможны даже в самой искусной передаче словами. Стихийно, физиологически, ему известно было немало секретов в этой области, например, двойная бухгалтерия сходства — черт и типов; родственное сходство и сходство по типу (породе) почти никогда не совпадают, двойники близнецов между собой отнюдь не близнецы. В этом направлении способности Прайса простирались так далеко и были так развиты, что если обыкновенно он страдал от недостатка натуры, то для портрета ему не надо было позировать ни минуты. С первого взгляда Прайс классифицировал лицо, а дальнейшее представляло собой уже чисто механический подбор готовых деталей и сборку их — по готовому опять-таки чертежу. И что странно: ни крупности условности не было в таких «сыскных» портретах, а только какое-то обостренное сущностное сходство. Вместо того, чтобы совершенствовать эту сильную сторону своего дарования, Прайс насиловал себя, упорно рисуя все подряд. С листовой он, правда, давал себе некоторую поблажку, все равно деревьев в Ленинграде было мало, а зеленели они и вовсе летом, когда отец уезжал на дачу. Зато над лошадьми и лепными украшениями бился до седьмого пота. Только на мосту у дворца пионеров стояло четыре коня, без которых невозможно было нарисовать, скажем, как мальчиком отец ходит на занятия в изостудию. Конские головы смотрели и со стен цирка, смущая умы до третьего класса гипотезой о возможном их существовании во всей телесной полноте — внутри здания. У Прайса была картина: «Групповой портрет третьеклассников тридцать пятой школы перед входом в госцирк», в первой паре отличники Конечный и Шаров (Шарик) в ушанках, завязанных «конвертами», во вто-

рой паре хорошист отец со своим другом Валериком Рудником — у обоих уши подняты, за ними Сеня Трочных, умерший школьником, со спущенными ушами, и девочка; классрук Анна Васильевна Май-Кольцова вынимает из муфты билеты. Камнем преткновения здесь были конские головы — «конем преткновения», говорил Прайс. После трех месяцев безрезультатного труда он решился рисовать вместо них учительницу немецкого Белкину — «Лошадь Пржевальского», слегка растянув ей круговую мышцу рта. И сразу все стало на свои места, отец даже ничего не заметил.

Если лошадей Прайс учился рисовать по ветеринарному атласу Мордвина, то лепные украшения он изучал по Витрувию, который в отрывках печатался во втором томе ученых записок кафедры сравнительного языкознания хантымансийского пединститута. Отсюда прекрасное знание обломов, полок и полочек, того, что между собой они образуют слезник, а если с валиком — тогда торгал, что в противоположность полкам валики ни в коем случае не украшаются меандром, а шнуром из бисера или перлами, гуськи же — листьями, как и каблучок. Познания Прайса в архитектуре могли быть сравнимы с трафаретом Даримы Линхобоевны, и, соответственно, практическое их применение — едва ли не с ее автографом. Во что только не превращалась у него его любимая валюта, каким кренделем не заворачивалась. Отец ходил вокруг и радовался — он ионический орден не выносил, дескать, напоминает колеса вагонов. Прайс бесился:

— Это самый красивый, самый мой любимый и самый мой дорогой орден. Он похож на развернутый свиток. Я буду его рисовать теперь только крупным планом, понял? Крупнее, чем тебя. — Правда, после таких слов он себе покою не находил.

Мы приближаемся к главной особенности творчества Прайса — отсутствию перспективы. Подобно тому, как предмет географии был строжайше запре-

щен во всех фижменских школах, а географические карты изъяты из употребления, вплоть до того, что молодые люди поколения Прайса их в глаза не видели, а землю представляли себе беспорядочным нагромождением мест, ничего общего не имеющих с популярным перечнем городов и стран, легко уместящихся на пространстве книжного листа, — подобно этому и Прайс изгнал из своих работ всякую перспективу, то есть переселился в мир, где после Учелло до последнего времени обитали лишь совы — да блаженные таможенники. И раз уж мы помянули блаженных таможенников, то выскажемся о них хотя бы конспектно.

*Примитивизм творческий. Метод. Упрямо не желать ничего знать. Фанатическая преданность первому прочтению (изначальному прочувствованию: п р а-чувствованию), согреваемая с а м о у м и л е - н и е м. Брать вещи изолированно, вне их соотношений.*

А теперь серьезно: нельзя творить на пустом месте — по аналогии со «строить на пустом месте». Если бы Прайсу суждено было стать писателем, личность его обречена была бы длительному эволюционному процессу, в результате которого он бы превратился в Леонтия Прайса, героя первой нашей повести\* — обскуранта, затравленного собственными комплексами до состояния сноба. Но ремесло художника оставляет лазейку: нельзя строить на пустом месте, однако можно выражать душу этих невозведенных построек, можно «брать вещи изолированно, вне их соотношений». Когда целое разбито, то всегда приходит некий уроженец Ижмы, который в каждом осколке видит абсолют, запечатанный сосудец — с воздухом ли, с городом ли, с человечком ли, равный ли единице уже отработанного времени, но полного

---

\* См. «Прайс», «Эхо» № 3, 1980.

еще волнующих перестуков: и я тоже, и я тоже был!.. И этот, кто приходит, чувствует, что призван восстановить справедливость, уравнивать в правах каждый осколочек. Всеобщая равноценность влечет за собой столь же всеобщую условность изображения. Перспектива объявляется бессовестной: предметы не должно уменьшать по мере их удаленности от глаз художника, каковая может быть следствием случайной превратности судьбы. «Ижма приветствует весну, — пишет Прайс. — Мосты повисли над водами».

Но как на самом деле выглядели картины Прайса, так сказать, объективно? На что они были похожи и что подумало бы, глядя на них, лицо незаинтересованное? Нас ждут сплошные разочарования. Рисовальщиком, в правоверном смысле слова, Прайс был никудышным — когда-то перерисовал, и то неуклюже, несколько гипсовых моделей из самоучителя. А ведь это — так важно. Его возможности колориста ограничивались ассортиментом красок, отпускаемых школе для различных малярных работ. В Крае не понимали, почему у Даримы Линхобоевны на покраску и побелку школы идет не пятнадцать кило известки и столько же вохры, а немножко ультрамарина, немножко малахита, немножко бакана, немножко тердусена, немножко цинковых белил, немножко жженой кости, немножко сурика, немножко умбры. Что за пестрая школа такая? Самыми дефицитными были ярь-медянка и желтый крон (хромовокислый свинец), которым красились только правительственные учреждения: Главный штаб, Эрмитаж и тому подобное — для других домов Прайс не жалел окисей железа, придававших городу красновато-бурый оттенок. Краски он разводил не олифой — после того как узнал, что избыток олифы вредит прочности, — а селечным рас-соллом, таким клейким и маслянистым, что на нем одном можно было растереть любую краску; олифой же, с легкой примесью белил, грунтовал. Злейшими

его врагами были смолевые сучки, выпускавшие потом смолу через краску. Он выковыривал их, пока еще не просох грунт, и дыры шпаклевал замазкой — из мела и клея; за счет последнего шпаклевка твердела мгновенно, к тому же хорошо «пемзовалась» — шкуркою ската, на местном наречии «канай-сумба», «рыба-кремень». Благодаря «канай-сумба» он также добивался почти зеркальной поверхности неба, шлифуя каждый слой краски, наносимый в таких случаях широкой щетинной кистью, «флицею», а самый верхний слой покрывал скипидаром. Карандашные контуры он еще для большей надежности процарапывал ножичком, так что получалось вроде древнерусской графьи. Нередко на выдыхаемом его героями парке воспроизводились их речи или мысли. Так, упоминавшийся уже «Культипоход третьего класса в цирк» изобилует надписями. Говорили все, и читалось это как диалог в стиле «обэриу». «Ваши билеты, пожалуйста», — говорит из-за двери невидимый билетер. Анна Васильевна Май-Кольцова: Вот все тридцать пять билетов, не извольте беспокоиться. К о н е ч н ы й: Я учусь только на круглые пять. Ш а р и к: По географии у меня пять с крестом. Видно, я земной шарик. О т е ц и Р у д н и к (поют): Вставай, проклятьем заклеимленный. Д е в о ч к а (Сене Торчнову): Мальчик, давай дружить. С е н я Т р о ч н о в: По горам, по долам скачет смерть моя.

А на одной из двух или трех реплик\* этой картины, которые Прайс делал впоследствии цветными карандашами, даже голова лошади обретает дар речи. Она говорит: «Шпрехен зи дайч?»

Скорей всего, что лицо незаинтересованное сочло бы художества Прайса абсолютной ерундой. «Где Крым и где Нарым, — сказало бы оно. — Наивный

---

\* *Реплика.* Здесь: авторская копия, обычно меньших размеров, допускающая также и другие отклонения от оригинала.

экспрессионизм сочетается с органически чуждыми ему урбанистическими тенденциями двадцатых годов. На этом фоне еще более неуместны попытки, сами по себе, быть может, и не лишённые забавности, стилизовать голландский портрет семнадцатого века. Но зато как прикажете понимать эти дикие надписи — безвкусная пародия на кич? Такое тоже бывает. Отсюда некоторая случайная острота, вряд ли предусмотренная самим автором. Или... стойте... Вестибюли современных домов скорби увешаны произведениями их постояльцев. Угадал?»

\*       \*       \*

В то время, когда Нэлли Наумовна рассказывала Софье Исаковне анекдот про Дариму Линхобоевну, а Дарима Линхобоевна, раздетая, пела за стеной народный гимн, Леонтий Прайс стоял на углу Поскребышева и Ярошенко в ожидании, пока проедет тачка. Тачка была нагружена стопами бумаги, и толкали ее по направлению к типографии имени Ник. Островского — беллетриста — два метранпажа. Нормально: пивозавод имени Разина, фабрика конфет имени Крупской, типография имени Островского. В ней печатались книги для слепых на эвенкском языке. Поселок Ижма, лучше говорить «Ижменский район», составлял обычный аггломерат служебно-типовых терминов: «пунктов», «станций», «отделений», «участков». Вне этого перечня, кроме типографии для слепых эвенков, оставались лишь б а н я, к а ф е (в прошлом «столовая», а в баснословные времена, когда на дверь вешалось лапидарнейшее «Есть нет» — «чайная»), Д К, м у з е й Ярошенко, ш к о л а.

Баню топили шесть раз в неделю, пять раз для женщин и раз для мужчин. Прайс, сколько помнил себя, ходил только по мужским дням. При соотноше-

нии полов 1:5 такое воспоминание было редкостью. И до десяти, и до одиннадцати лет в Ижме считалось приличным мальчику мыться вместе со своей матерью. Но Дарима Линхобоевна умывалась снегом, следовательно... В жизни Прайса, бедной личными впечатлениями — не то слово, нищей, обмененной на чужой ностальгический миф, баня играла роль исключительную. Еще от седой древности младенчества память сохранила обряд омовения тела, когда отец не просто мылся, но — с л у ж и л баню. Вечер. Снаружи трескучий мороз. На длинной скамье перед фригидариумом размещается меланхолическая очередь. Через приблизительно равные промежутки времени приходят в движение спрятанные под полом шестеренки: открывается дверь, сотрясая колокольчик; выходит распаренный человек; встает и входит благословенный «следующий»; закрывается дверь, сотрясая колокольчик; общее скольжение по скамье на одно место вперед. Звук колокольчика настолько механический, что вполне заменяет этой большой старинной игрушке отсутствующее музыкальное сопровождение. Но — сверх запланированного заводом: почти каждому, после бани, встречался в очереди знакомый. Приветствия растягивались в непродолжительную, но непринужденную беседу, пока новый ход шестеренок не разлучал приятелей — двигаться вспять, ради продолжения разговора, не согласен был никто. «Ну, здореньки булы, Арон Луитпольдович». — «Всех благ», — говорит отец, приподнимаясь и опускаясь на новом месте.

На каждом, с кем у отца возникал дружеский контакт, самый мимолетный, Прайс ставил светлый знак отличия — «унзрэлайт», как некогда говорили немецкие евреи. Он всегда чувствовал какую-то нехорошую атмосферу вокруг отца: его предпочитали не заметить, не ответить ему, как бы при этом вежлив он ни был, — кто не знает эту душераздирающую вежливость

отвергаемых, чуть старомодную, слепую и бескорыстную. В детстве Прайс объяснял это тем, что отец не был на фронте — как другие. Велико значение этих двух слов: «как другие». Восставая против мнений света, Фижма подчеркнуто гордилась героизмом своих сынов, лжи об обороне Ташкента с негодованием противопоставляла процент евреев — героев Советского Союза; так получалось, что Фижме принадлежало почетное второе место — после татар, а с татарами кто может сравниться? Естественно, что личностей, отсидевшихся в тылу, общество не жаловало: «Из-за таких вот...» Тем не менее, Прайсу сей позорный факт биографии отца был глубоко отраден — всегда, и даже в пору младенческого состояния ума. Причина?

Перед страхом смерти человеческое достоинство сохранить невозможно. В противоположность большинству — знавшему, да позабывшему это к шестнадцати годам, — Прайс никогда не забывал, что умрет. На одр всех известных ему литературных смертей он неизменно укладывался сам и лежал под каким-нибудь балдахином в жарко натопленных покоях, от которых уже рукой подать до других, еще более жарких. Есть категория смельчаков, свое бесстрашие выводящих логически: ничего не боюсь, потому что не боюсь худшего; доказательство: в любой момент могу сам себя шлепнуть и точка. Наоборот, все страхи Прайса сводились к одному огромному страху смерти, прочее оставляло его безразличным — да и чего ему было бояться? Невыученного урока? Когда есть Даримка. Тех, кто сильнее? Когда есть Даримка. Пускай они боятся его. (И боялись — разве что исподтишка кричали: «Эй ты, привезли селедочку?») Только смерть, которая навещает его во сне в образе отца, лежащего в гробу, или скачет по горам, по долам с лицом С. Трочнова, наказание которой недопустимо, потому что это очень страшно (нет-нет, он ни за что не по-

требует смерти имяреку), — только она одна могла бы его испугать. Прайс принадлежал к той категории смельчаков, которые в таком ужасе от предстоящей ямины, что, кроме ямины — как окромя Бога одного, — тоже ничего не боятся. Вот и вся причина. Сама мысль об унижительной сортирной панике отца в окопе была чудовищна. Довольно тех унижений, которым подвергает его повседневность.

Зато всякая доброжелательность или простая учтивость в отношении отца запоминалась. Проявивший ее на многие годы становился объектом тайной признательности — или ненадолго, пока не выяснялось, что, говоря с отцом, он украдкой кому-то подмигнул, или вдруг отворачивался, когда в спину Прайсу несло: «Привезли селедочку?» Рано или поздно в двурушники попадали все. Даже такого симпатягу, как банщик Ефим, после стольких лет доверия Прайс уличил однажды в вероломстве. Ефим — а женщины иначе как «наш Ефим» его и не звали — был развеселый еврейский кулачок, с папахой седых волос, нескромно иллюстрированным бицепсом и ограниченным набором прибауток, ни для кого не обидных. Отцу он неизменно отвечивал низкий поклон. Принимая вещи под номерок, говорил что-нибудь вроде: «Вечерок добрый и парок добрый, вон то местечко хорошо будет?» Сына же по-свойски задирали: «Сам сможешь папке спину натереть, или дядю Фиму на помощь звать будешь, а?» — «а?» взмывало вверх октавы на две.

Ижменская баня, как и ее античная предшественница, состояла из ф р и г и д а р и у м а, в котором нечистые не задерживались, но зато уже чистые сибаритствовали от души, подостлав под ноги грязное белье и смакуя свежее белое пиво, изготовлением которого занималось семейство «нашего Ефима», иных эпикурейцев Ефим вежливо поторапливал: «Ну, давай, давай, Абраша, попил же, народ за дверями ждет»

— иных не трогал; затем из л а в а р и у м а — мыльного цеха, где грохот тазов стоял как на производстве; и ф л а г е л а н т о р и я — стегальни, в ней Прайс ребенком собирал впрок опадавшие листки, которые затем превращались во флотилии. Отец всегда покупал себе веник. Входя в парилку, он говорил тоном заправского парильщика: «Кваском бы залить, кваском — вон в тот уголок, — и продолжал: — Ах какие бани когда-то были на Пушкинской, с ума сойти можно». Прайс знал про эти бани все: и что они с бассейном, и что детей там поили лимонадом, а взрослых настоящими «жигулями», и что в вестибюле был буфет, и что очередь сидела среди фикусов и пальм. Поэтому отец только наполовину обращался к нему, наполовину же — к утопавшим во мгле полкам. «Пар был сухой», — говорил он. На полках велся свой разговор. «А не поддать ли ковшик-другой? — спрашивал отец. — Слабовато». Но бывало и так: кто-нибудь сразу с готовностью откликнулся: «Да кидали уж, кидали, оно сейчас пойдет... веничек, извиняюсь, когда попаритесь, не одолжите?» — «Разве это веник, — говорил отец, неумело и недолго нанося себе удары по икрам, — помните, на Пушкинской какие были?» Каниючи́вший веник отработывал его тем, что во всем поддакивал: ему ли не помнить.

Из парилки они шли в мыльную. Арон Прайс сам мылся и мыл сына по системе, все мылись по какой-нибудь системе, но то были чужие системы, неистинные и кровно чуждые. Много обнаженных тел сновало вокруг, их связывала порука понимания: мое — такое же, как твое, у нас объективные чувства и желания. Буквально в первых же строках мы предупредили: с ранних лет герой не ладил с идеей человеческого организма, как не ладили с ней неоплатоники, манихейцы и — штабс-капитан Лебядкин. Какой ужас творится там, в утробе, под кожными покровами... Есть там почки — свиные он видел на при-

лавке: внешне глянцевые, а царапни их... («царапни их» вызывало икоту). Есть там такие вещества, как у рыбы, изжелта-зеленые. Это одинаково у всех и обеспечивает объективность чувств и желаний. Поэтому-то в бане царит всеобщее понимание — грубовато-веселое — и ставит знак унижительного равенства между ним и ними. Прайс смотрит на свой живот: если сделать здесь надрез, то из надреза ползет наружу — и у них тоже — какая-нибудь печень цвета гнилой вишни. Она шлепнется на мокрые доски, как на весы. Мыльные воды омоют ее, пена окружит прибоем, и таинственный остров медленно повлечет к стоку. Но проскользнуть в него не удастся, его забудет. Позовут Ефима, Ефим придет одетый и обутый и железным прутом станет ковыряться.

Прайсу было лет девять-десять, когда в сознании его рождались такие картинки; Нэлли Наумовна, чья пята была еще цела, в то время как раз задавала на память стихи Исаковского.

Но наши тела — это не только мерзкая плоть, сотворенность из коей позорна для человека (Плотин), а если плоть не своя, то во сто крат она мерзче; некоторые нагие тела — это также совокупность линий, как на картинках из обожаемой книги мифов и сказаний древней Греции. В этом случае они утрачивают свою материальную сущность, становясь идеальной пищей для глаз — из пищи для ума (и червей). Так же точно для кинозрителя всех возрастов, включая Прайса, свою человеческую — и вообще материальную — сущность утрачивают тела немецких солдат, когда вылетают вверх тормашками из подорвавшегося грузовика, и — но это уже совершенно интимно — так же точно обстояло с предметом воздыханий Прайса, в подтверждение той великой истины, что любовь бывает только платоническая, остальное — вавилонская блудница. Его влюбленность в белокурую Жанну Жук была чис-

тейшей воды аллегория. С малолетства открытая для него бытовая физиология Даримки делала его безразличным к тайне противоположного пола. Больше того, тайна эта отвращала. Поэтому его плотские позы носили совершенно бесцельный характер. Читатель-фантазер может возразить: о каких же тогда закрытых просмотрах на подкладке век упоминалось недавно — с Жанною в главной роли? Ибо фантазер, читая фантазии, делается сразу очень внимательным. Изволь: эти фильмы-мечты были кристальны с точки зрения нравственности. В бане, например, действие их разворачивалось в тазу.

*У побережья Финского залива, в Терминской гавани сосредоточился наш галерный флот. Внезапно с моря из-за мочалки ветер доносит пальбу. Что бы это могло значить? Мнения разделились. Апраксин и капитан-командор Змаевич считают, что шведы решились атаковать наши галеры. Но появляется бригадир Лефорт с депешей от лейтенанта Прайса, высланного во главе десяти матросов в дозор. В депеше говорится: «Государь, Лель отделился от основного флота и в четырнадцати парусах двинулся к Ревелю. При нем три бомбардирных галиота». Апраксин в ужасе, Змаевич в ужасе. Петр рвет и мечет: «Пушкарями определяю, воры!» И его можно понять. Накануне из Ревеля прибыл ген. Вейд с известием, что двор и царица уже там, пожаловали в гости к его величеству. Между тем Петр лично пожелал видеть зоркого лейтенанта. Прайс предстает перед светлыми очами государевы. Петр ходит вокруг него: «Умница, умница. Только почему такой молодой и уже такой печальный?» За него отвечает Лефорт: «Сир, тому уж год, как у него невеста пропала, подозревают шведов». — «Это хорошо, — говорит Петр, — злее будет, зорче будет, драться лучше будет. Назначаю теперь тебя, Прайс... как дальше?» — «Леонтий, сын Аронов», — подсказывает Лефорт. «Нехристь?*

— спрашивает Петр, но ненабожный, сам же усме-  
хается: — Ничего, жизнь окрестит самотеком...  
Назначаю теперь тебя капитаном-командором. А ко-  
мандовать тебе эскадрой под флагом самого шаут-  
бенахта Петра Михайлова. Что скажешь на сие, ка-  
питан-командор?» — «А то скажу, государь, что  
вели скорей нашему галерному флоту выходить из  
гавани и проехать мимо шведского флота». — «Доб-  
ро, а коли погонятся?» — «Безветрие, государь».  
Несколько банных листьев выплыло из-за мочалки.  
Шведы открыли по ним ураганный огонь, но только  
слегка надорвали корму одному — и то сказать: суд-  
но продолжало плыть, не сбавляя хода. Шведский  
адмирал Вотранг дал сигнал Лелю, чтобы он пово-  
рачивал к Терминскому устью, но было поздно. Весь  
русский флот уже вышел в открытое море и окружил  
корабли шведского шаутбенахта Эреншильда. К нему  
послали парламентаря с предложением сдаться, кото-  
рое он отверг. После этого ген. Вейд и капитан-ко-  
мандор Прайс напали на шведов. Сражение было не из  
легких, от разрывов мин брызги летели из таза во  
все стороны, немало уже плавало скомканных листьев...

Система, по которой отец мылся, не была обре-  
менительна и оставляла достаточно досуга для вос-  
произведения Гангутского сражения или другой исто-  
рической победы на море — лучше, если Балтийском,  
— во всех деталях, кончая упоительной сценой пле-  
нения вражеского военачальника и вызволения е.е.  
Согласно этой системе первое условие личной гиги-  
ены — чистые уши. Оно же и последнее, поскольку  
в целом отец полагался на действие теплового фак-  
тора. «Здесь же совершенно никто не моет уши, — го-  
ворил он своим чуть капризным голосом, — а науч-  
но доказано, что это главное, в ушах нет ни одной  
потовой железы». В свете этого Прайс и оценивал  
окружающих — как впустую изводящих мыло. Их  
обделенность истинным знанием была неудивительна:

она была органична их природе, чужой и чуждой (понимай: противной и богопротивной). Только иногда сомнение закрадывалось в душу и вот в какой неожиданной связи: почему все-таки у них, у многих из них, на теле имеется тот же благородный оттиск, что и на телах Гектора, Ахилла, Патрокла, — у них имеется, а у отца нет. Не может ли стать, что и в остальном правда на их стороне?

При всей необременительности такой помывки, оставлявшей пропасть досужего времени, Прайсу случалось не уложиться и кончать сеанс на скорую руку в предбаннике. Тогда за лодку, в которой безуспешно пытался удрать шведский шаутбенахт, сходил носок; возня со шнуровкой подразумевала возню с путами, опутывавшими пленницу, — слезы раскаяния, бедняжка дотоле не была безупречна со своим избавителем. Именно раскаянием Жанны достигалось высшее блаженство, а попутно и сожалениями Нэллки, по достоинству не оценившей ни одно его сочинение.

В предбаннике отец и сын не засиживались, пива отец не брал («Ах, какие «жигули» были на Пушкинской, с ума сойти...»).

— А детям давали лимонад, — говорил Прайс — и оказывался единственным, кто откликнулся на «подброшенную» отцом тему; разве только еще Ефим, ероша крутую седину, ронял словечко — неважно, что своим замечанием отец чинил ему прямую обиду. Ефим вообще был с ними на редкость обходителен и напоследок неизменно подавал обоим пальто. Отец, порывшись в кармане, барственно протягивал ему одну копеечку. Дверь со звоном открывается, из темноты появляется «следующий» — но когда выходишь, то очередь снаружи уже не воспринимаешь частью старинной заводной игрушки. Теперь она переползает на одно место вперед сокращением воображаемой мышцы.

Некогда на суверенитет ижменской бани посягала санэпидстанция. Это было в эру хозяйственных пре-

образований. Шла волна укрупнений, когда различные учреждения объединялись по отраслевому признаку. Бывало, такой признак загадывал загадки: каким целям служит труд ижменских парикмахеров, санитарным или культурным? Всегда числившийся за баней мозольный оператор вдруг заработал в сапожной мастерской; при станции скорой помощи открылась артель инвалидов. И так далее. Что касается парикмахеров, то по этому вопросу было санкционировано общественное обсуждение. Народ чутко разделился на два лагеря. Одни, назовем их «физиками», стояли за утилитарный подход, вероятно, через это втайне ощущая себя сверхчеловеками, хотя и вели полемику в терминах истмата. Другие, «клирики», принимая из тактического расчета естественно-историческую часть в построениях своих противников, отвергали их выводы. «Клирики» ратовали за «радующую глаз прическу». В их аргументах отсутствовало четкое научное представление «физиков», зато с ними, по словам Нэллы Наумовны, хотелось дружить. «Клирики» никогда не действовали сообща. Кто-то говорил, что да, действительно, красивая и модная прическа прежде была доступна лишь власть имущим, и славил Бога, что с этим покончено; кто-то, наоборот, указывал на значение прически и в народном быту: коса — девичья краса. Пожалуй, едины они были лишь в приверженности к слову «прическа», и то в пику «физикам»: те намеренно пользовались компрометирующе-мещанским укладом. Это дало толчок к следующей дискуссии — о правильности речи. Тогда-то и началась знаменитая кампания против лакейского «кушать» в защиту благородного «есть». Все возмущались желудочным низкопоклонством говоривших «кушать». Дискуссия порождала дискуссию, и в конце концов директор столовой Берлович «по неопределенно-личной инициативе сбоку» (его собственная шуточка) открыл в помещении отныне «Мо-

лодежного кафе» дискуссионный клуб «Схоласт». Это наименование, еще несколько лет назад допустимое лишь на скачках, теперь никого не удивило: кафе — молодежное, молодежь несерьезна — пляшет, скачет, песенки поет. И, конечно же, шутит, много шутит. Тон вывесок и общественных объявлений стал меняться повсеместно. Кому-то — ясно, что не в Фижменском крае, — воспоминание о профессиональном сюсюканье немецких приказчиц в захоластных гешефтах не давало покоя. В соответствии с этим тайным идеалом был декларирован «принципиально новый стиль обслуживания», да так, прямо с ливонским акцентом, и пополз вправо, если стоять к карте лицом. Ижма, торговавшая по преимуществу меново, у ливонцев могла перенять только деликатность обращения. «Спасибо за то, что вы не курите» большими буквами стояло на цистерне, отпускаявшей керосин. На дверях музея Ярошенко — от чего все таяли — появилось изображение двух умильных песиков — и текст: «Мы можем подождать». Общественный нужник буквы «М» и «Ж» сменил на петушка и курочку, после этого народ, уже позапаятовавший миллион лет не виденное, стал ошибаться дверьми. Между тем, в «Схоласте» продолжали наперебой осмеивать злосчастный глагол «кушать» или до умозрительных петухов спорили, как правильно спросить у гражданина, стоящего в очереди: «вы последний?» или «вы крайний?» — так, чтобы этого гражданина не обидеть. Конец «Схоласту» пришел случайно. Проблема парикмахерской все еще ждала своего решения, когда на очередном диспуте очередной примелькавшийся «клирик» («В человеке все должно быть прекрасно...») осадил «физика»:

— А сам-то ты все-таки под машинку не стрижешься.

— Чтобы все думали, что я после отсидки? —

буркнул «физик». На этом свободная дискуссия закончилась.

Мы назвали 5 (пять) государственных учреждений, не подпадающих ни под одно из служебно-типовых определений. То есть это не были пункты, отделения, участки, станции. В некоторых языческих религиях число пять почиталось священным (поэтому типографию им. Ник. Островского к черту). О бане и столовой — в перспективе «Молодежном кафе», в ретроспективе чайной — мы уже несколько слов сказали. Осталось три. На очереди ДК, ижменский районный дом культуры.

До наступления лучших времен это был барак, разделенный на две неравные части. В большей по выходным дням стрекотал проектор, одичавшей публике показывали еще до войны отснятые фильмы. В меньшей хранились избирательные урны и кой-какой агитпроповский реквизит. Дважды в году содержимое меньшего помещения выставлялось в большое. Все. Похерим раз и навсегда эту черно-белую картинку. Уже давно бурлила вокруг новая жизнь, цветная и широкоформатная. Выросли из-под земли магазины, чтобы из-под прилавка торговать продукцией артели инвалидов, потому что левыми руками трудились в артели инвалидов. Уже работало кафе, и в Крае мечтали о домах будущего — из стекла и фанеры. Уже на собаках летали в космос. В эту пору благоденствия самым ходовым товаром были легкие яркие платица пятидесятого размера. Непредусмотренные артикулом ватные исподы к ним шил на дому дядя Боря, санитар. Из кинозала доносились арабские и индийские песнопения. О фильмах судили: «тяжелый» или «хорошо поставлено». Для ДК настали золотые деньки: хоровая самодеятельность, кружок бального танца, семинар по культуре быта. Хор пел на уроках бального танца — он был единственным музыкальным орудием, если так можно выразиться, на всю

Ижму. Еще давно, по разговорам, на представление Края прислать хотя бы несколько баянов пришел ответ: «Разок обойдемся без консерваторий». Хор исполнял вальсы, танго, фокстроты. Летом пел на танцплощадках и, само собой разумеется, пел на ежегодном выпускном балу в школе. Руководил им некий Петр Ильич, невероятный трус. Другой на его месте давно бы нажил себе состояние — с танцульки-то, а этот боялся даже переименовать свой хор в вокальный ансамбль.

— Вы не современный человек, — говорили ему. — Подумайте, бальные танцы под хор — это смешно.

— Смешно — значит, так надо, — отвечал Петр Ильич и без всякой видимой связи вспоминал: — Когда я оперировался, вместе со мной на одной койке лежал сам доктор Коломойский... Так что мы — танцевальный хор. И никаких вокальных ансамблей, никаких э т и х штучек.

Полной противоположностью хормейстеру была его подруга, преподавательница бального танца Инберова. Из-за крошечного роста она играла сорванца: кашляла, курила, своим подопечным кричала: «Это что еще за танец маленьких медведей? Порхайте, бабоньки, порхайте!» Впрочем, не новость, что несхожие натуры превосходно дополняют друг друга.

«Культуру быта» читала сама заведующая ДК Руфина Хабное — беспартийная большевичка. Мы не знаем, откуда такие берутся, — факт, что имя им — легион. Она как будто жила на луне, на землю сваливалась специально прочитать лекцию и незамедлительно уносилась к себе назад. А ведь Руфина Исаевна прибыла в Ижму «первым эшелонам», чем страшно гордилась. Всю чашу страданий первых лет она испила — опять-таки к превеликой своей гордости. Пустил кто-то теплые ветры над Ижмой, и легкие Руфины Исаевны уже не в состоянии вместить пере-

полняющих ее восторгов: глаза ее сияют, ей кажется, что она молодеет час от часу, она вся — как 9-я Бетховена. Нечего говорить, что Хабное была горячей патриоткой Ижмы и вообще — той святой идиоткой, которые если не превращаются сразу в фарш, то потом до конца жизни славят мясорубку. Не так давно врожденная склонность Руфины Исаевны ко всему позитивному обрела себя на новом поприще — культурно-бытовом. Это был пласт, никем прежде не исследованный. Руфина Исаевна с энтузиазмом принялась за его разработку: выезжала с лекциями, вела семинар, где касалась даже такой скользкой темы, как половое воспитание («Мужчина первый перепрыгивает канаву и подает женщине руку»). Выступала она и в печати — с брошюрой «Как вырастить лимоны в домашних условиях».

Наше знакомство с Ижмой продолжается.

*«Я не лью себя мечтою снискать громкую славу в потомстве, да и совершенно к этому не стремлюсь. Но как нередко это бывает — когда произведения небольшой силы таланта рождают участие столь живое, какого и самые великие творения не удостоиваются».*

*Н. Ярошенко*

Сразу уточним: Ярошенко, почтённый музеем, чье имя носила главная улица поселка, был никакой не сподвижник Лазо, никакой не местный герой революции, а всего лишь полузабытый передвижник. Почему такое вопиющее нарушение субординации? Мы поймем это, войдя в так называемый музей. В небольшой комнате висело несколько неважных репродукций, одна из них под стеклом. То была репродукция популярной некогда картины «Всюду жизнь», может быть, кое-кто из читателей старшего поколения еще помнит ее: перрон, на переднем плане голуби что-то клюют, а сквозь решетку столыпинского ва-

гона на них смотрят мужчина и женщина с ребенком на руках. Вся Ижма поклонялась Ярошенко благодаря этой картине. В представлении людей не Репин, а он был подлинным гением живописи. Что ж, с точки зрения идеологии совершенно безразлично, кому из них «рождать участие столь живое». Интересно другое — сочувственное отношение к нему нескольких случайно уцелевших поклонников, ну, скажем, Родченко. Невольно возникает параллель: а в 42 году сваны (не семейство водоплавающих) тоже больше сопереживали бы мелодиям Курта Вайля, чем «Лозн-гину»? Никакой вкус не выдержит испытания гражданственностью, когда с гардю-нор отправляются поезда в Равенсбрюк. И не потому, что всегда один из внутренних голосов скажет: «Теперь э т о самое главное», — а просто скажет он это потому, что своя мера пошлости отпущена каждому, дай только повод сказаться. Одним словом, в симпатиях бывших любителей Родченко к Ярошенко нет ничего невозможного.

Культу Ярошенко никто не препятствовал, хотя, казалось бы, мог: если не цензор от идеологии, то цензор от политики. Это не совсем точно, что советская власть бьет и плакать не дает, все гораздо тоньше: насколько одни не показывают вида, что бьют, настолько другие не показывают вида, что плачут. Какой-то элемент наказания в переселении в Фижменский край все же официально присутствовал — не в такой степени, как если б это делалось по суду, но — присутствовал. Поэтому немножко да умеючи плакать было можно, то есть положение евреев в Ижме давало им право на любовь к Ярошенко без объяснения ее истинной причины. Но стоило однажды какому-то посетителю мелко карандашиком написать под репродукцией «Бог да хранит безоружных», как сразу прискакал Гуцулов, музей закрыли на ремонт и не открывали, пока не нашли виновного. Им оказался

старик, от старости выживший из ума. Хотелось бы знать, когда все пойдет с молотка — все-все, — сколько же дадут за ижменскую репродукцию?

Под номером пятым у нас школа. Школа уже появлялась в нашем рассказе, она будет появляться вновь и вновь, о ней можно говорить веками: школа и церковь, школа и семья, школа и вуз. Она всегда идет в паре с чем-то, и, когда надо прыгнуть через канаву, не она протягивает руку, а — ей. Она — дама. Потому учителя — монахи или русобородые учителя в вице-мундирах — своего рода извращение. Советская власть покончила со многими пороками — также и в системе общего образования, укомплектовав педагогические коллективы дамами. Ижма прибавила к этому новшеству только одну черточку: нерастраченное материнство большинства учительниц. Часть их вследствие этого становилась задорною, посещала кружок Инберовой. Другие «пускали шерстинку» — ходили как лешие, тускло глядя перед собой. Из всех лишь одна — «астрологиня» — мало того, что вынянчила своих детей, теперь нянчила и своих внуков. Во время педсоветов она тихонько вязала, с концом учебного дня ее жиры первыми колыхались по направлению к выходу, козни учительской ее не интересовали, коллегиальное «ты» на нее не распространилось. Софья Исаковна Комиссар, «Софа», старуха-босычка, спавшая на лавке в учительской, — когда надо учительница, когда надо уборщица, а когда надо, то и сексотка Даримы Линхобоевны, — какой жалкой выглядела она со своей бойкой трескотней в соседстве этой, в общем-то глупой бабушки с державным мотком да парой вязальных скипетров. Четырех поколений не держит земля — скажет поэт; в Ижме она и с двумя еле управлялась — а тут извольте смотреть, как обвязывается целая династия. До чего же хотелось одной старушке пнуть ногой другую, сорвать на этой туше свое раздражение — не потому что завидно было, нет

— иначе. «Софа» видела зависть окружающих, а этого она не могла снести.

Всего в школе работало десять учительниц — средних лет и постарше: Рубинзон (русский, литература), Левит (математика, физика), Комиссар (химия), Белая (естествознание), Белкина (немецкий), Гершельман (латынь), Броверман (история), Штейнбок (рисование, черчение), Хаевская (астрономия), Рубан (физическое воспитание). Нелегко даются нам еврейские фамилии в такой консистенции: сколько ни бьешься — все цирковая афиша.

Учительниц одолевала скука. Они сорились, мирились, боролись за лидерство (Левит и Броверман). Но и помаленьку умирали (Гершельман). И в этом состояла главная проблема всех фижменских школ. У нынешних учительниц не было смены. С каждой новой смертью сокращалось число изучаемых предметов. Все в Ижме понимали, что не сегодня-завтра прекратится преподавание химии и астрономии. Латынь уже полгода как не проходила.

Латынь... Этой дисциплины школьные программы не знали с семнадцатого года, и вот она возродилась — в Ижме! Отделение Даримы Линхобоевны пополнилось новой теткой, по виду чуть ненормальной остальных. Тем не менее, новенькая работала хорошо, даже сломала себе ногу, когда крыли крышу. После постройки школы ее ждал перевод на очередной объект — тогда еще учительницами швырялись; но Дариме Линхобоевне она понравилась: работающая. Так тетка осталась, хотя по ее специальности уже оформили одну, с лицом коняги. Дариму Линхобоевну осенило: существуют же разные иностранные языки, пускай учит себе еще какому-нибудь. Тетка, снискавшая самоотверженным трудом верхолаза расположение начальства, была Марья Эрнестовна Гершельман, в прошлом евразийка, в прошлом профессор классической филологии киевского и пражского универси-

тетов. В 38-м году, спасаясь от немцев, она вернулась в Россию. Как антифашистка и компатриотка получила кафедру в Казани. Затем впала в немилость и в итоге попала в Ижму с северо-востока. На предложение обучать еще какому-нибудь языку она сказала, что не прочь преподавать латынь. Дарима Линхобоевна, ничего не имевшая против латыни, на всякий случай уточнила, не японский ли это. Тогда Гершельман заверила ее, что на этом языке больше не говорят нигде. «Учай», — сказала Дарима Линхобоевна. В край- оно при утверждении учебных планов слово «латин- ский» мутировало в «латышский» и тоже не вызвало ничьих нареканий, только в тайной канцелярии Гуцу- лова на некотором числе бумаг прибавилась помет- ка: «Преобладают выходцы из Прибалтики».

Гершельман понимала обязанности учителя латы- ни чересчур уж прямолинейно — в том смысле, что он должен этой латыни научить. От своих коллег она отличалась одним досадным недостатком — отсут- ствием естественных человеческих п о т р е б н о с т е й, которые и ее самое бы вынуж- дали к определенной снисходительности — к обоюд- ному удобству. Нэлли Наумовна, привлеченная ее биографией, пыталась было сойтись с ней короче, пока не пришла к выводу, что это «дура» и всего-на- всего «ученая крыса» — и «если не старая дева, то по милости примкнутого штыка» (кон- воира). Мозговое устройство Гершельман было на удивление не как у всех: в ней не ощущалось тяги к задушевному общению, она не понимала шуток, од- нажды прошлась по адресу хохотушки Рубан, назвав ее смех «животным». На уроках бывала очень актив- на и выступала чаще в роли репетитора, чем учителя. Зато результаты такой работы были великолепны. Даже Прайс, не блиставший усердием и обычно возле- жавший на парте, смешно сказать, овладел латынью настолько, что мог, как мы помним, самостоятельно

осилить Витрувия. Успехи других оказались еще разительней. Доктор Коломойский говорил, что его дочь, когда хочет, изъясняется изысканнейшей цicerоновской латынью. Как-то Броверман (общественно-исторический цикл) спросила: «Марья Эрнестова, все к вам в претензии, что у вас не бывает естественных человеческих потребностей — а?» — «Это не ко мне нужно, Мэра Аркадьевна, — отвечала своими подобранными губами Гершельман, — не ко мне. Знаете — таков стол». Иногда на Гершельман находил стих и среди урока из учительницы-репетиторши она превращалась в профессора классической филологии, вещая через головы школьников в нивесть какие аудитории. Она сознавала неуместность своих спичей, боялась их, но ничего не могла с собой поделать — и после недолгой борьбы отдавалась на волю волн. Класс постепенно переставал ее слушать и, как всякий класс, оставленный учительским вниманием, начинал развлекаться. На этом фоне она была подобна даже не святому Франциску Ассизскому или св. Антонию Падуанскому, адресовавшимся все же к живым тварям, а — слепцу Бэде, наставлявшему камни.

*«...Какие пятьсот лет — что ты там несешь? Пять веков Овидия не охватывали пятьсот лет или вообще какой-либо определенный отрезок времени. Сейчас я вам объясню, почему так. Древние любое понятие целого подразделяли на пять составных частей. Это было для них привычно, как для вас — представлять звезду пятиконечной. Словом, так устроен был их взгляд на мир. Историю людей они также делили на пять эпох, или, как они говорили, веков. (Можешь сесть.) Но важно не это, важна последовательность, которая при этом устанавливалась — от хорошего к дурному, от золотого к железному. Такая последовательность основана на эстетическом отношении настоящего к предыдущему, как сложнее и тоньше организованному. Это, если*

угодно, культурный пассивизм, отличный от тоски буржуа по старым добрым временам лишь благородством окраски и еще большим обожествлением прошлого... Только Бог вас сохрани перепутать пять веков с пятью экономическими формациями! Коммунизм — светлое будущее всего человечества. Хором за мной. Три раза. Коммунизм — светлое будущее всего человечества. Коммунизм — светлое будущее всего человечества. Коммунизм — светлое будущее всего человечества. И еще — зарубите себе на носу: в мифе о золотом веке отразилось позднейшее обнищание мелких землевладельцев. Так... — Марья Эрнестовна перевела дыхание. — Но — на мгновение забудемся... и представим себе, что общество свободно от бремени экономических отношений — что, конечно, неверно, но, повторяю: в забвении, в бреду, представим, что произошло чудо, и оно — свободно; что мировой дух развивается не по Гегелю, а по Гесиоду, почему история культуры — это всегда история ее упадка. Тогда классическая филология становится пассивистским институтом, ибо она есть учение о языке, на котором все, что могло быть сказано, — сказано; о языке, к величию которого никому ничего прибавить не дано — равно как и опозлать его больше, чем это было уже сделано. Все пять его веков — позади. Прошу внимания, все те же пять веков — несмотря на то, что золотому веку латинского слова предшествовало немало: тут и создание драматической поэзии Теренцием и Плавтом; тут и родоначальник римской литературной прозы Катон; тут и первые шаги в области теории грамматики, принятые Акцием. Но это нас как бы не касается, отсчет мы ведем от Цицерона, от вершины. И — еще одна причина, почему всякое поступательное движение нам видится как движение от абсолютного блага по нисходящей: кульминация заставляет позабыть о предшествовавшем восхождении, своим блес-

ком затмевает память о нем; само же восхождение никогда себя таковым не осознаёт — осознать себя таковым значило бы познать свое несовершенство, что возможно только в сравнении — здесь с временами, которые еще не настали.

Итак, золотой век изначален — ослепительный, невероятный, величайшее литературное чудо света, век Цицерона, век Вергилия, Горация, Тибулла, Проперция — наконец, Овидия. В этот период язык приобрел ту стилистическую законченность, которая, заключаясь в полноте, ясности и изяществе выражения, поставила его на высоту языка в подлинном смысле слова классического. Одновременно ведется обширная теоретическая его разработка, окончательно складываются все стихотворные размеры, к которым только латинский язык способен. Лексикограф Веррий Флакк трудится над составлением латинского глоссария и затем публикует его в четырех томах, дав подробное объяснение двадцати двум тысячам слов. Золотой век римской литературы продолжался без малого восемьдесят лет, до середины двадцатых годов первого столетия новой эры. При всем богатстве имен и разнообразии направлений, он в целом может быть охарактеризован как время, когда речью обусловлено мышление, когда не сам поэт заводит речь, а наоборот. Эта весьма однозначная характеристика служит правилом без исключения для всех культурных языков, переживающих свой апогей. И тут замечателен один парадокс: ситуация, при которой слово расцветает мыслью, в итоге своем дает эффект, прямо противоположный ожидаемому; продиктованная изысканиями формального свойства, литература совершенно неожиданно воплощается в реальность как нравственная сила, способная противостоять надвигающемуся политическому безвременью.

Это становится очевидным, когда обращаешься

к творчеству поэтов и прозаиков следующего, серебряного века. Общество, терзаемое безумцами-императорами, как никогда нуждалось в литературе нравственного направления, в такой литературе, где бы мысль управляла словом, что на первый взгляд предполагало ее бесспорное этическое превосходство над своей предшественницей — к чистоте духовной пришедшей через чистоту стиля. И снова — парадокс: налицо блеск формы, риторический колорит — и в лучшем случае нравственные трюизмы, как у Сенеки, или обличение политических злодейств — задним числом. Поэзия этого периода, унаследовавшая безупречный стиль золотой латыни, становится родом стихотворной журналистики. Она — откровенный официоз под пером Стация. Но и сатира Ювенала не знает пощады лишь к порокам минувшего; столь же бесстрашно размахивает кулаками вслед и тацитовская история. Зато как блистательна эпитафия — и как чудовищно грязна! Писатели ничего не сделали именно в том направлении, действовать в котором были призваны. Даже лично они оказались не на высоте своей миссии. Иначе и быть не могло, когда ими постоянно двигал инстинкт самосохранения, питая в каждом самые низменные стороны его натуры: заносчивость и властолюбие в Сенеке, ханжество в Таците, страсть к деньгам в Квинтилиане; в Плинии — непомерное тщеславие, в Стации — непревзойденное холуйство, и все эти качества — в Марциале; что отнюдь не помешало двум крупнейшим писателям, Сенеке и его племяннику, эпическому поэту Лукану, пасть жертвою непрекращавшегося политического террора в стране. Напрашивается общий вывод: все попреки безыдейностью, выпадающие на долю сторонников чистого искусства, несостоятельны, если посмотреть на практические результаты их творчества. Совершенство формы оборачивается воистину нерушимым залогом нрав-

ственного совершенства. В то же время искусство идей, искусство нравственное в первооснове своей, не выдерживает испытания жизнью. Оно с легкостью служит орудием в руках зла, и заслуги лучших его представителей ограничены областью чисто формальных достижений — на что они меньше всего претендуют.

Между тем, в ходе римских завоеваний латинская речь распространилась далеко за пределы Апеннинского полуострова, и не только как язык официальных бумаг, но и как язык культуры и литературы. По всей Галлии — в Марселе, Лионе, Бордо, Тулузе — насаждаются риторские школы. В самом Риме в литературных кругах господствующее положение начинают занимать африканцы во главе с Фронтоном. Наступил медный век римской литературы. Приток в нее варваров, как и во все области общественной жизни, способствует стилистическому падению языка, который не только меняет свой строй, но и утрачивает чистоту состава. Внешне это выражается в увлечении африканизмами и плеоназмами, в пристрастии ко всему напыщенному. Ярчайшим представителем *tutor Africus* был, как известно, Апулей. Наряду с африканцами и галлами распаду культурной речи способствуют также получившие провинциальное образование христианские писатели, которые вместе с новыми идеями вносят и новое словоупотребление. Третьим фактором, губительно сказавшимся на латинской литературе, а с нею и на языке, была ее популяризация. Получив широкое хождение в среде городских низов, она не столько влияла на своего читателя, сколько испытывала на себе его влияние. Возникает особый жанр, воспевающий пьяниц, бродяг, попрошайек и других подонков римского общества — вплоть до воров. Произведения этого жанра писались языком их героев и по преимуществу от первого лица, что не могло не отразиться на нра-

вах и языке их подлинных создателей. Под воздействием этих трех факторов: варваризации, набиравшей силу христианской фразеологии и примитивного говора улицы — язык неотвратимо двигался навстречу своей гибели.

Следующий этап в его разрушении был «бронзовый» век, по крайней мере, такое название ему присвоили современники, сами писатели и поэты — надо полагать, в целях самоутверждения. Бронза ценнее меди — представлявшие данный сплав литераторы всеми силами стремились к восхождению в с п я т ь. Собственно говоря, начертанная Гесиодом схема как такового «бронзового века» не знала, но между двумя последними веками существовала вставка о благородных героях, равных богам; у Овидия этот период попросту опущен. Литература «бронзового» века провозгласила возрождение былых ценностей путем возврата к традициям чуть ли не племенным, времен царя Латина. Она создала тип идеального латинянина, мирно возделывающего свое поле, почитавшего прежних итальянских богов, чуждого пороков, занесенных на итальянскую почву азиатом Энеем и его троянцами. Язык этих сочинений изобиловал искусственными архаизмами и отличался нарочитой корявостью, за которой скрывалось не что иное, как отсутствие у авторов простейших, по нормам предшествовавших эпох, навыков письма. Как правило, весь архаизм их сводился к злоупотреблению дифтонгами, к замене гласных «i» на «е» и «и» и «и» на «о» — *Menerva, Venos, Optumo* — и к использованию полной формы в глагольной флексии: *siem* вместо *sim*, *potisit* вместо *possit*. На таком языке, разумеется, не могло быть написано ничего мало-мальски значительного. Он только содействовал скорейшему наступлению железного века.

...Это было время полного торжества христианской догмы. Латинский язык, лишившийся своей эти-

*монологической и просодической правильности, приспособлен к нуждам культа — стал набором бессмысленных фраз, недоступных для понимания. Распад уже привел к образованию новых языков, известных под именем романских. И тогда, в шестом веке, на Западе замолкает всякая литературная жизнь. Только с амвонов церковей произносятся речи, которые прихожане тут же хором, коверкая слова, повторяют.*

\*

\*

Прайс, подбросив плечом съехавший ранец, пересек проезжую часть улицы Ярошенко — тачка с бумагою, приводимая в движение силою мышц двух метранпажей, проехала. (Скажем в скобках, что ей не суждено было без приключений добраться до типографии имени Островского, метранпажи на горе слепым звенкам ее перевернули — и как нам хочется прибавить: с возгласом «ио-хо-хо!» разбежались, — но только куда было им бежать; кряхтя и бранясь, они стали ее нагружать снова; к чести нашего героя, признаём, что, если б это произошло на его глазах, он бы полез им помогать.) На противоположной стороне стояло одноэтажное здание в форме куба, иначе говоря, будка. Вывеска над дверью в нерабочие часы превращалась в запор от воров и тогда прочтена могла быть лишь пупком. В описываемое время суток она пребывала на надлежащей высоте, извещая, что здесь расположился пункт по приему стеклотары у населения. Вряд ли приемщик, старый человек, у которого даже не было сил застегнуть пуговицы на брюках, каждое утро и каждый вечер манипулировал бы этой доской в целях уберечь пару сот склянок, скапливавшихся за день. Посудный оборот в Ижме был невелик, и на долю бутылок из-под местного сорокаградусного напитка «Северное сияние» — то ли в силу

«преобладания выходцев из Прибалтики», то ли в силу малочисленности и чахлости лиц мужского пола — в нем почти ничего не приходилось. Кто не верит, тот поверит, когда не обнаружит в отчетной ведомости по «второпосуде» заветной статьи «бой». Однако старый человек имел все основания опасаться возможных грабителей. Под прикрытием «второпосуды» притаился средней руки продовольственный гешефт, один из тех, без которых ижменские жители давным-давно околели бы с голоду. За тысячи километров от Ижмы роль таких гешефтов выполняет колхозный рынок, в Ижме эта проблема была решена, как говорится, с учетом местных климатических и национальных особенностей. Всякая подпольная коммерция являлась своеобразным переосмыслением законной профессии коммерсанта — чтобы не сказать ее гримасой. По примеру государственных объединений здесь тоже царил отраслевой признак. Банщик Ефим варил пиво, дядя Боря, санитар, шил ватные исподы, а в соседнем поселке Усть-Пижное некто Черномордик под классическим изображением четырех профилей: валенка, сапога, ботинка и галоши — на весь край тачал престижные и элегантные портфели, это был богатейший человек. По тому же признаку в будке, принимавшей стеклотару, развернулось небольшое квасильно-засолочное производство. Моченые, соленые, маринованные, продавались в ней дары окрестной природы. Здесь можно было купить неповторимую ижменскую специальность, рецепт которой не дает ни одна поваренная книга мира, — квашеную картошку, хрустевшую как настоящий огурчик. Всегда в продаже!.. но скрытность — удел частника, потому сбавим голос — всегда в продаже была канай-сумба — рыба-кремень, а случалось бывать рыбке и почище. Ее-то Прайс и караулил обычно. Он постучал в приемный пункт и на правах постоянного клиента, не дожидаясь приглашения, вошел. Старик, как обычно,

упорядочивал строй бутылок. Когда бы Прайс ни приходил, он всегда заставлял его за этим безобидным занятием — «...фирчик — цвай, фир, зекс, ахт — фуфчик...» Никаких следов частного предпринимательства глаз не улавливал — только в нос ударял его дух, с этим уж ничего нельзя было поделаться.

— Здравствуйте, дядя Элик, — сказал Прайс.

Старик кивнул, не переставая считать. — ...Найник, — закончил он и тогда спросил: — Как зизень молодая?

— Спасибо, хороша. Завезли селедочку?

— «Завезли селедотьку, завезли селедотьку»... — передразнил старик, впрочем, ему было позволено. — Скурок дать? Я тебе их оставил.

— Спасибо, дядя Элик, — ответил Прайс, у которого шкурок уже собралось достаточно. — Я, конечно, возьму, но в них нет острой необходимости. Мне сейчас пемзовать нечего. А как с селедочкой?

Почему-то старик рассердился:

— Нет у меня селедотьки, где я тебе возьму селедотьку? Розу?

— Вы меня обманываете, дядя Элик. Даримка сказала, что Овлур вам в среду двадцать рыбок поставил. И еще я по запаху узнаю, когда есть, а когда нет. Вы нарочно меня дразните.

Старик засмеялся:

— Зюлик.

Прайс тоже засмеялся:

— Сами вы жулик.

— Много я тебе не налью, — сказал старик. — Где твоя банотька?

Прайс достал из своего многострадального ранца поллитровую латунную фляжку. Случайно, сама собой, под руку подвернулась тетрадь с сочинением. Старик на три четверти наполнил фляжку селедочным рассолом.

— А где же твое спасибо?

— Сейчас, дядя Элик. Я хочу лишь убедиться в одной вещи, — сказал Прайс, быстро перелистывая тетрадку. Затем он сказал «ой»! и странно замолчал.

— Того ты? — спросил старик.

— Ничего, — Прайс смутился, но овладел собой и торжественно проговорил: — Дядя Элик! Знайте: разжижители, которые вы мне поставляете, я храню в своем сердце. — Он потянул носом, потянул еще раз и — что бы вы думали — расплакался.

ГИРШОВИЧ Леонид – родился в Ленинграде в 1948 г. Учился в Московской консерватории, затем в Ленинградской, которую окончил по классу скрипки. Будучи студентом, работал в симфоническом оркестре Ленинградской филармонии. Эмигрировал в 1973 году. В 1974–77 гг. проходил действительную службу в израильской армии. После демобилизации – заместитель концертмейстера симфонического оркестра израильского радио. С 1979 г. живет в ФРГ. Публиковался в журналах «22», «Время и мы», «Эхо» и др.

# СТИХИ

Александр Верник

## С НОВЫМ ГОДОМ

### I

Ни лица не видать,  
ни слова  
не слышать,  
только тень бывшего,  
пыль в углу  
и кровать  
не застелена,  
на полу  
под окном неприкрытым лужа —  
в доме грипп, и разлад, и стужа.

### II

Надо было стихи  
сочинить,  
чтобы не пустяками  
успокоились дня пустяки —  
но стихами.

Надо было слова записать  
так,  
чтоб пыль и огонь небосвода  
очертили: вечером в пять  
умирает природа.

Не позднее — но точно в пять —  
такова Востока природа.

Надо было — да нету сил,  
то есть слов:  
становая жила  
порвалась.

Дождь моросил,  
так что пальцы сводило.

Точно в пять и случилась тьма,  
вдруг —  
без суда и смысла.  
И погребла под собой дома.  
И в провалах дворов повисла.

28 декабря 83  
Иерусалим

Дорогой Владимир Емельянович!  
Поздравляю с десятилетием журнала!  
Я радовался в Москве первому номеру.  
Переживал потерю на обыске восьми последующих.  
Уже на Западе видел нелегкую жизнь остальных тридцати.  
Но главное — журнал жив.  
Полдела сделано.

*Александр Гинзбург*

## ВОСЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

\* \* \*

Я с тобой не поеду  
В голубую Тоскану.  
По остывшему следу  
Возвращаться не стану.

Помню двух флорентинок —  
И сестёр их в Уффици.  
Где кончается рынок,  
Там хотел я родиться.

Как ярка Санта Кроче!  
Как покойна Капелла!  
(Микельанжело: тело,  
Утомленное, Ночи.)

Мощь и строй синьории,  
Пестрота кампаниле.  
Мы о чем говорили?  
О тебе, о России.

Вход в прохладную казу,  
Купол, свет, черепица.  
Мне хотелось там сразу  
Умереть и родиться.

\* \* \*

Слышно, как Лермонтов песню заводит на Тереке.  
Слышно — доносится выстрел из Южной Америки.

Видно, как нищий замерз на холодном пристанище.  
Слышно — тоскует солдат по убитом товарище.

Видно, как вишни цветут, умирают в Японии.  
Слышно, как физик жене говорит о плутонии.

Видно, как бронзовый Царь поскакал за Евгением.  
Видно, как месяц встает над последним сражением.

Слышно, как Данте бормочет стихи о чистилище.  
Слышно — в пещере взрывается бомбохранилище.

Видно — казнимый глядит на летучее облако.  
Видно — на кнопки нажали два розовых робота.

Слышно — шумит Карфаген, победителя чествуя.  
Видно — под Петей Ростовым лошадушка резвая.

Впрочем, не стоит так долго о смерти, о гибели?  
Скажем: на Остров Блаженных блаженные прибыли?

\* \* \*

Мы давно отдыхаем  
На чужих берегах.  
Здесь над пальмовым раем  
Мой развеется прах.

Нет, какое там горе?  
(Ельник, холмик, снега?)

Увезут в крематорий,  
Да и вся недолга.

Ни тоски, ни обиды.  
Не вернемся домой.  
Падай с неба Флориды,  
Пепел серенький мой!

Нет, какие могилы?  
(Галки, осень, дожди...)  
На Ваганьковом, милый,  
Не позволят, не жди.

Что ж, ничуть не обидно:  
Ведь в могиле темно  
И березок не видно,  
И не все ли равно?

\* \* \*

Когда Адам брюхатил Еву,  
Нас даже не было. Но Бог  
Нас наказал, поддавшись гневу,  
Адам, распутник, чтоб ты сдох!

И вот — с полвека, на работу!  
На холоду и в темноте...  
Как будто бы в штрафную роту.  
Свободы ради? Те-те-те!

Да, Богу будто бы угодно  
(Что знают книжники о Нем?),  
Чтоб мы пришли к Нему свободно  
(Хоть и сгибаясь под ярмом).

Бог — всеблагод и всемогуший,  
Всеведущий? Зачем Ему  
Испытывать меня? (Я в гуще  
Смолы кипящей все пойму?)

Мне говорят, что я агностик  
(Я этим прозвищем не горд),  
И мне показывает хвостик  
Худой зелено-черный чёрт.

Ах, к чёрту чёрта! Я три года  
Готовлюсь к райскому лучу.  
Зачем, о Господи, свобода?  
Блаженства светлого хочу!

\* \* \*

Мир наступит не скоро  
На Земле этой глупой.  
На полях Сальвадора  
Ищут матери трупы.

На родном пепелище,  
У сожженного крова,  
Ночью каждая ищет  
Своего дорогого.

Где библейские скалы,  
Где ливанские кедры,  
Пролилось там немало  
Крови теплой и щедрой.

Кровью темной и алой  
Матерей и младенцев  
Залита Гватемала:  
Разве жалко индейцев?

В ночь блаженную мая,  
В ночь осенне-сырую  
Помолчим, вспоминая  
Мировую Вторую.

\* \* \*

Просите, просите защиты!  
Глухой, неприветливый мир!  
Вернулся ограбленный, битый  
Из бара сердитый банкир.

И видит: любовник в постели  
Предался беспечному сну.  
И руки его захотели  
Убить молодую жену.

Убил. Но ведь будет же сниться...  
И — липкая краска ножа...  
И бросился женоубийца  
С тринадцатого этажа.

Летел проклиная, сердито,  
Но ждало его торжество:  
Он прямо упал на бандита,  
Который ограбил его!

Заутра на шумном вокзале  
(Ведь ясен преступный мотив!)  
Любовника арестовали,  
В убийстве его обвинив.

А день был сухой и весенний  
И Ангел Расплаты затих,  
Усталый от всех преступлений  
И всех наказаний земных.

\* \* \*

Здесь есть дольмены. Но друидов нет,  
А я бы повидал друидов.  
Солнцепоклонник пел, встречая свет;  
Теперь не празднуют восходов.

Друидов нет. Есть миллионы жертв,  
Но нет ни жертвоприношений,  
Ни пения магических торжеств,  
Ни погребальных заклинаний.

Мы бардов слушали в таверне на реке.  
Какие скучные баллады!  
Сказали нам на гэльском языке,  
Что были магами друиды.

А в замках сумрачных, где гулок звук,  
Мы не встречали привидений.  
Им так наскучило пугать зевак,  
Любителей старинных зданий.

Готические лилии у луж —  
Аббатство, дождь и путь к руинам  
И солнце, озарившее витраж,  
Уже не видное друидам.

\* \* \*

Я не вернусь в Египет, в Абу Симбел,  
Где храмина Рамзеса, дивный символ  
Империи, которой больше нет.

Но в Англии, в шекспировском театре  
Я поклонюсь бессмертной Клеопатре:  
На сердце от нее легчайший след.

Я помню луч на синем скарабее  
В Каире, в примелькавшемся музее.  
(Да, пирамиды. Помню, да. Закат.)

Египет. Без жрецов, без фараонов.  
Песок холмов, песок пустынных склонов.  
(Верблюды, Сфинкс. Я помню двух ягнят).

Я не вернусь в святилище Карнака  
И тайного магического знака  
Не разгляжу в сиянии луны.

Но я храню на сердце — посмотрите! —  
Тот милый облик нежной Нефертити,  
Бессмертной фараоновой жены.

### УМЕР ОЛЕКСА ТИХИЙ

6 мая 1984 г. в лагерной больнице в поселке Кучино Пермской области скончался от рака учитель Алексей (Олекса) Иванович ТИХИЙ. Ему было 57 лет.

Первый раз Олекса Тихий был арестован в 1957 г. по обвинению в «антисоветской агитации и пропаганде» и приговорен к 7 годам лагерей. Второй раз его арестовали в 1977 г. за участие в работе Украинской Хельсинкской группы (он был одним из ее основателей) и за авторство некоторых самиздатских статей. Как «политический рецидивист» Олекса Тихий был приговорен к максимальному сроку по 2-й части статьи 70 УК РСФСР — он получил 10 лет лагерей особого режима и 5 лет ссылки. Он был тяжело болен и смог выдержать только 7 лет страшных условий особого лагеря. За несколько дней до смерти жена Олексы Тихого видела его на общем свидании — полчаса через стекло. Он выглядел больным и истощенным (весил 40 кг), но был спокоен и светел духом. Ольга Алексеевна Тихая рассказывает, что ее муж сказал ей, что всех прощает, даже своих гонителей. «Помните Нагорную проповедь», — сказал он ей на прощание.

Память о нем будет вечно жить в сердцах его друзей.

«Континент»

## МАЛИНОВОЕ ВАРЕНЬЕ

1

Он позвонил нам как-то в конце августа.

Кто — «он»?

Тут (прошу у читателя прощения) возникает для меня головоломка: то, что собираюсь рассказать, будет, как пишут теперь рецензенты, почти фактография, то есть до противности подлинно, а вот «его», главного актёра моей истории, нужно мне непременно закамуфлировать. Так, чтобы никто не мог опознать, а сам он себя — в особенности. Иначе ведь, при наших бурях в стакане воды, прощай и дружба, пожалуй...

С чертами зримыми легче, конечно, справиться. Написать, скажем, так: пискляв, серые кудлы, за которые он в возбуждении часто хватается, отчего они у него постоянно торчком; дылдаст, как рыцарь Печального образа, хоть сейчас напяливай на него кольчугу, прихрамывает, как Риголетто. Я решил назвать его Бим (аббревиатура: «Без ИМени»), и эта кличка удивительно как прижилась к нему в моем рассказе.

Хуже — с «нутром», то есть личными особенностями — словами, суждениями, поведением, — всё это тоже ведь требуется зашифровать. Хотел было объявить его уже покойником, с памятником, воздвигнутым по подписке, но выходило как-то неловко. Всё-таки знали мы с женой его четверть века, и очень стал он нам свойским: земляк, беженец, как и мы, с одной разве только биографической разницей: мы провели полжизни на родных берегах, а он матушку Русь изучал в зарубежной от нее отрешенности, то есть больше по книжкам. Лезут под руку разные анкетные при-

меты, но они у него, как и у многих из нас, всё больше «полу-»: полулитератор, полуфилософ, написал даже книгу, в которой один ядовитый критик не нашел «ни единой незаимствованной идеи», полупенсионер... И никаких черт ведущих, нужных бы для внутреннего портрета. Я поплакался насчет этого Инне, моей жене, — под впечатлением здешнего прагматизма и женской эмансипации она много меня находчивей.

— Ведущая его черта? — переспросила она, наморщив переносицу. — Ясно как палец! Он самая большая и неисправимая зануда из всех, которые встречались мне на пути.

Без преувеличений эмансипантки обходятся только в рецептах борщей и салатов. Занудой Бим не был, но Инна ставила ему всякое лыко в строку; обрывала речевые его потоки, когда начинало его «нести» — ничего уже больше не слышал и вставить словечка никому не давал; цукала, когда впадал вдруг в оцепенение, задумавшись, даже и за едой, — и какая же, скажите, хозяйка стерпит, если ее вдохновенное ёдово гость жует в полудрёме, как сомнамбула. Помню раз, за одним рыбным блюдом:

— Ну как? — спрашивает Инна, не вытерпев.

— Дибная рыва... — бормочет он, встрепенувшись.

— Что? Что?

— Дивная рыба, хочу я сказать...

В таком роде...

Из «поточных» тем, если обобщить, было у него только две: одна, глобальнее, об апокалипсическом зле разных видов, ведущих мир к гибели; другая, провинциальнее, — о распаде западного, главным образом, общежития, тоже в различных проявлениях: преступность, коррупция, секс и тому подобное. Думаю, что в своем одиночестве (жил в захламленной мансарде, которую сыскал в одном тоже захламленном углу нашего острова) он ворошил и обновлял эти

свои темы, приходя, как казалось ему, к новым решениям, но слушатели его новизны не ухватывали и несмущенно скучали. Так как раз было у него с Инной, совсем недавно:

— Будущее мира тоталитарно! — говорил он полуфальцетом, который, когда он разгорался, в местах особых смысловых завихрений, становился визгливым. — Спор идет не о том, победит ли так называемая «народная» или капиталистическая демократия, а о том, какая именно тоталитарная сила укрепится на ее развалинах. Да, потому что демократия обречена. Ее агония начнется с отрицания ее первейшего и порочнейшего принципа: равенства! Равенства не будет, потому что всё двигать предоставится только ведущим. Как именно станут отбираться ведущие? Ведь эра компьютеров, которая обещает поставить роботов вместо ненадежно сбалансированных двуногих, даже найти пути выведения немыслящих человеческих пород, — смертельная угроза миру! У кого в руках окажется кнут? Ведь и массы в теперешнем смысле не будет — той, из которой с помощью демагогии можно делать выборщиков и крикунов...

— Пожалуйста, Бим, перемените пластинку! — взмаливается Инна.

— Вам так неинтересны мои размышления?

— Нет, просто я их уже слышала несколько раз. Вы повторяетесь.

— Простите тогда...

Он останавливается растерянno, будто решая, куда девать теперь несостоявшиеся жесты, недоговоренные самые главные слова. С обиженным, округло полуоткрытым ртом, длинный, в серых лохмах над узким высоким лбом, он похож сейчас на забытый людьми и пернатыми старый скворешник.

Итак, он позвонил нам в конце августа. Не помню зачем, мы как раз приехали в Нью-Йорк с дачи.

— Когда вы обратно? Можно мне — с вами? На пару дней. Вернусь автобусом.

Наша дача (слово-экзотика для американцев, как и «коттедж» отчасти для нас самих) — в одном из северных штатов, на озере, от Нью-Йорка ехать часов шесть. Бима приглашали мы туда не раз, но он всегда отговаривался, теперь вот собрался вдруг по собственному почину.

— Ведь не закроет рта всю дорогу, — сокрушалась Инна. — Как хочешь, я сяду сзади. Слушателем будешь ты.

Но он только к ней и выкручивал шею, рассказывая о развале в американской школе — утренний радиобудильник, оказывается, подбросил ему этот материал. — Знаете ли вы? — вопрошал он где-то у Нью-Хейвена, то есть часа через полтора пути, — что десять процентов здешних выпускников не могут заполнить простой анкеты, потому что вчистую неграмотны? Что четверть из них употребляют наркотики? Где, откуда возьмет страна нужную ей смену, здоровую и подготовленную? Кажется, на нашей несчастной родине обстоят дела лучше. А? Вы всё молчите? Нечего вам сказать?

— Скажу, что сравнение с родиной вздорное и не ваше. А еще — что вы мне обо всем этом уже рассказывали две недели назад.

— Я рассказывал?.. А о нравственном маразме? Вчера передавали, что в одной из школ из десяти старших учениц восемь оказались беременны. Да, да! Таков блестящий итог обучения малолетних. О том, как я однажды побывал на таком уроке, тоже вам говорил?

— Нет, по-моему...

— Как же, просидел все сорок пять минут, и до смертного часа не позабуду. И учительку в том числе. Представьте себе этакую чеховскую дочь Альбиона, но патлатую, с лошадиными зубами, которые она когда скалила, выходило не просто гадко, но и похабно, как если б в ночном каком-нибудь баре задирала подол. А она скалилась весь урок и погогатывала. Ну-с, начато было с рыбы, то есть с помощью детишек — лет восьми-девяти, второй, по-нашему, класс, и она постоянно обращалась к их помощи — было установлено, что у мамы-рыбы есть икра, а у рыбы-папы — молоки, которыми надо эту икру зарядить. От икры перешли к петуху. «Видели, как вскакивает он на курицу? — ему нужно забросить «зерно» в яйцо, которое еще без скорлупы сидит у курочки-мамы. Видели? Видели?» Наконец: «И у вашей мамы есть яйцо, которое можно достать через щель — щель есть у нее тоже. «Зерно» забрасывается в маму через трубку, которая есть у папы и у ваших братьев. Видели? Видели?.. Трубка входит в щель, яйцо заряжается, и у мамы начинает расти живот».. Тяжко было смотреть на этих славных ребят, невыносимо было смотреть! Одна девчушка с глазами Магдалины, я видел, просто страдала от того, что слышала. У многих щеки горели огнем. Было им мучительно стыдно, да, подсознательно стыдно от такого грубого обнажения тайны, и не каких-нибудь отвлеченных, но и х, и х папы и мамы. Было для них потрясением! Как справятся они с ним? Придут домой и попросят папу с мамой показать, как именно входит трубочка в щелку? Или, может, уединившись парочкой, проведут опыт сами? В этом учителька им пособит — практика входит в ее программу. Против школьной молитвы, уверен, голосует обеими руками, но тут — энтузиастка! Что выигрывается от этого варварского растления целины? Какие достижения? Восемь из десятка брюхаты!.. О разрушении романтики я, понятно, не говорю, но —

о детских абортах, детской наркомании, обилии малолетних самоубийц...

Не знаю, как долго вынесла бы слушать его Инна и что мне запомнилось бы из его говоренья, но вскоре свернули мы на 91-ю, северную, дорогу, прямую, как наша Москва—Ленинград, и он стал замечать пейзаж.

Выехали мы затемно, но теперь выплыло уже червонное солнце и бежало с нами вместе в правом зеркальце; да нет, уже и пролилось на лесные зеленые перекаты по обе стороны пути. Они то вскипали к небу, то ухали вниз, в каньоны еще тускловатых речек, то срезала их вдруг, как секирой, неожиданная небоскреб-скала. Чуть посевнее, уже в Вермонте, эти переливы зелени — малахитов, нефрита, яшмы, — только кое-где сбрызнутые августовской пунцовой кляксой, были так полновластно величественны, что примолкали все наши гости-попутчики, захлебнувшись простором, а Бим просто оцепенел. «Чёрт возьми! опять «кодак» свой забыл!» — схватился он за голову и больше не промолвил словечка. Не разговаривали и мы с Инной, чтобы не встряхнуть его молчания.

Вермонтский пейзаж, пожалуй, был первым его изумлением в ряду — крещендо — других, на которых, как увидит читатель, я строю эту историю. Пропуская разную мелочь, перескакиваю сейчас к рассказу о том, как поразил Бима наш дачный ностальгический пляж.

Озеро у нас лесное. На берегу, в соснах, и дача. А вдоль по берегу, шага три в ширину, насыпали мы тонны местной гальки — в память крымских пляжных ювелирных россыпей. Серая эта галька, чуть обточенная водой, на крымскую похожа не больше, чем баклажанная икра на севрюжью, зернистую; разве что взблеснет слюдою на солнце, а так — безрадостна. На крымских же пляжах — чистые самоцветы, порыться подольше — сыщешь и сердолик, и агат, и светлый хризопрас, расцветок не перечесть. И под

вашей ступней они журчат и струятся, не огрызаются, как здешние. В Крыму, помню, видел одного москвича-земляка, который подбирал их по форме и цвету для игры в покер, в качестве фишек...

Всё это я рассказывал Биму, и он слушал на удивление молча, приоткрыв, по привычке своей, рот. Я вспомнил еще и как однажды читал в доме отдыха, недалеко от местечка Кучук-Кой, лекцию о Горьком и Чехове (там была чеховская дача, где оба встречались). Читал я поздно, уже под звездами, в фанерной раковине для музыкантов, а скамейки расставлены были прямо на камешках, впритык к прибою, и воздух был душист, пах если не «лимоном и лавром», то лавром и морем, и ласково, в пол-уха, слушали меня в полупотемках парочки. Красоту эту испортил дурень-культурник, объявив во вступлении, что лектор из Москвы «расскажет нам, как Горький помог Чехову стать на литературные ноги». Эти «ноги» весь час мешали мне сосредоточиться.

Потом я катал Бима на своей плоскодонке с электромотором, то есть бесшумно, и это вызвало новые залпы его восторгов. День был будний, озеро пусто, редкие на нашем берегу коттеджи оживали только в «викенды»; моторки у причалов дремали в чехлах. Не было ветра, даже и ряби на воде, и с противоположной стороны акварельно падал в нее обрывистый лесной берег. Мы так и заплыли в этот пейзаж, взыбив его зеркальность.

— Ну — как? — спросил я.

— Божественно! Дома мы во власти электричества и радиации, они треплют наши нервы, как кудель. А тут... — он повел округло рукой:

Тишина — ты лучшее из того, что слышал!

Я знал точно, что он сию минуту непременно вспомнит эту пастернаковскую строку. Он был начи-

нен цитатами, как воздушный шар гелием. Иной раз, когда встречал с ними в чужой разговор, выходило у него невольно. Как-то недавно в Нью-Йорке Инна со слезой в голосе рассказывала (он сидел в кресле, закрывшись газетинкой) о нашей старой знакомой, лежавшей в госпитале с метастазами рака — легких, желудка, груди...

И в распухнувшее тело  
Раки черные впились —

высунулся вдруг из-за газеты Бим. Выволочка была ему безжалостная.

Как многие городские обожатели природы, Бим не умел плавать и, думаю, немного робел воды. С берега махал нам с Инной руками и, сложив рупором длинные ладони, кричал, чтобы не заплывали далеко.

Потом они разлеглись на пляжных матрацах-дутиках, а я стал полоть водоросли, которыми угрожал зарости наш причал. Я то удалялся от лежаков, то подходил совсем близко, и тогда слышал разговор. К удивлению моему, это не были сплошные монологи Бима, но скорей реплики, и Инна — может быть, обезоруживало ее как хозяйку его восхищение нашим пяточком — слушала его терпеливо и даже задавала вопросы. Вроде:

— Вы ходите в церковь, Бим?

— Редко. Не дружу с клириками. Священник, православный или какой другой, для меня существо оксюморонное.

— Не понимаю!

— Оксюморон — сочетание противоположностей. В данном случае, у клириков — божественной мистики, которой у них, как правило, следа нет, и чиновничества, какое у них в избытке.

— Вы, значит, какой-то не русский. Да вы и родились где-то в чухляндии. Вас в Россию не тянет?

— Представьте, иногда прямо-таки заболеваю ностальгией. Потом встречу оттуда приехавших и расскажут такое, что страшно станет. «Nec possum tecum vivere, nec sine te».

— По-латыни я не понимаю тоже.

— Приблизительно переводится русской пословицей: «Не вижу — душа мрет, увижу — с души прет».

— Уверена, что приблизительно и отсебятина. А вы становитесь желчным. Сколько вам лет?

— Седьмой десяток в начале. Почему вы спрашиваете? Ну да, старик. Прошлым летом в русском пансионе пристал один мальчонка: «Дедушка, кто теперь носит подтяжки! Дедушка, брось!» И очень ведь выразил психику своих постарше дружков. Песни, танцы их — корчи, под поп-музыку раздевают девчонок своих на ходу, и это — норма, а я для них только «дедушка, брось!», нечто почти уж и не существующее в реальности, как зуб мамонта.

— Оплакиваете собственную молодость?

— Как вам сказать... «Уплыли белые павлины, мои томительные сны!» Вздыхать о них, уплывших, смешно. Молодиться совестно, завидовать желторотым — нелепо, тяготиться старостью — грех, бояться смерти — бессмысленно. Всё вместе взятое значит любить жизнь. Я и люблю, кажется, сколько бы ее ни осталось...

В другое мое приближение Бим разносил кого-то. Злословия я в нем не замечал, но в своих привязанностях и отрицаниях он был нетерпим.

— Я зову его «полтора прохвоста».

— Бранью что же докажете?

— Сказать о нем «прохвост» — не брань, а обозначение факта.

— Ну а тот, другой, чем он вам досадил? Бездарен?

— Бездарность не позор, а несчастье, но когда графоман ударяется в критику, это уж невтерпёж.

— Может, еще и напишет что-нибудь дельное.

— Нет, потому что дуб. Глупость пожизненна и неизлечима. И охота учить... Как-то в Нью-Йорке встретился я с Хачатуряном, советским композитором, были у нас общие знакомые. Хотел узнать у него, кто сейчас в Москве музыкальный критик. — «Есть, говорит, даже несколько, но не из тех, кто светит, а только отсвечивают. Учились когда-то вместе со мною. В музыке ничего у них не выходило, пошли в теоретики. Теперь наставляют меня, как мне надо писать...»

Я так и не узнал потом, кого именно они обсуживали. А думал — о том, что был Бим довольно-таки острословен и если б жил в средневековье, то напрасно, пожалуй, я где-то сравнил его с Дон Кихотом, — быть бы, может, ему там и не рыцарем, а шутом, ядовитым и доброжелательным по велению души, при каком-нибудь трагическом короле Лире.

Тут меня позвали на берег, и так начался главный узел этой истории, для которой рассказанное выше было только присказкой, разбежкой, трамплином, чтобы совершить перескок.

\*            \*

Оба были уже одеты, как на выезд, Бим и Инна.

— Мне нужно купить малины. Говорят, скоро уж и отойдет, опоздаю с вареньем. Хочешь с нами?

И вот мы катим к Катье, как она произносит сама русский вариант своего имени (Кэтрин, Китти, Кэт и т. п.), нашей местной приятельнице, огороднице, цветочнице, ягоднице. У нее акров сто лесистых холмов, откуда сладчайший кленовый сироп, которым она торгует, и — скатом к озеру — солнечное луговое раздолье, на котором ее огороды, и чего только там ни растет! Она разводка; «Сорок два года — баба-ягода» у нее уже позади, но набор загорелой в искор-

ку кожи и упругостей свеж и задорен. Она чуть-чуть даже битница, Катя, не любит лишних одежек, но героически тянет свой бизнес одна, нанимая поденщиков в сезонные только авралы, а с клиентами-покупателями обходится споро и улыбочато, как на грядках — со спаржей и помидорами. Белозубый рот ее смеется всегда. «Смех есть радость, а посему сам по себе благо», — этого Спинозу я вспомнил именно по ее поводу.

Домишко ее с почти русской завалинкой глядел на лукоморье — «лукозёрье», надо бы сказать: скалистую бухточку, которую выписывал перед четырьмя ее окнами озерный берег, да еще с островком посерединке. А на горизонте синели Белые горы, так что Бим снова — в который уж раз! — схватился за голову, казнясь, что забыл фотоаппарат.

Увы, сама Катя умотала, должно быть, в город — никто не откликнулся на наши гудки. В раскидистом киоске-сарайчике по полкам и на вынесенных наружу лотках — россыпи огородного добра, гладиолусы в ведрах, жестянки с кленовым сиропом; рядом с весами — картонка с кое-как написанным «что почем» и деревянный ящичек из-под сигар — касса. Я довольно прохладен к «посеял дед репку» и культу витаминной гастрономии, но на этот живописнейший Катин натюрморт стоило поглядеть. Возле киоска в дёрн натыканы были на тонких, как шомполы, стреженьках гуси-флюгера из фанеры; когда веяло с озера, они схватывались махать крыльями, выравниваясь, как в косяке при полете. Какой-то местный умелец, я думаю, привез Катю их на комиссию.

Инна распоряжалась в киоске, как дома. — Помогите мне, Бим! Беру шесть, нет, вот еще две — восемь коробок малины. По... где тут у нее цены? По доллар сорок коробка. Сколько будет всего, считите, пожалуйста!.. Что с вами? Чему вы снова удивляетесь?

— Чему! Она спрашивает!!! Всё открыто... у самой дороги, и ни души! Воры...

— Их здесь нет. Значит: восемь раз доллар сорок.

— Одиннадцать двадцать. Но — как...

Он оторопело смотрит на пальцы, открывающие кошелек, на сигарный ларчик, куда сует Инна деньги. Случаются же идиотские выражения на самых, казалось бы, думающих лицах. Вылупился он на этот ларчик с зеленой растопыркой бумажек и мелочью так, словно разглядел в нем сколопендру. С озера подул ветер, и гусиный косяк рядом всполошился и затрещал крыльями.

— Непостижимо! — твердил Бим, теребя свои кудлы. — Нужели никто не сопрет эту кассу, покуда ваша Катя не воротится?

— Я вам уже сказала: здесь не воруют. А ну-ка возьмите каждый по две коробки! Остальное я сама.

— Что ж здесь, заповедник какой? под специальной охраной?

— Ничуть. Так везде в нашем озерном краю. Малину — на заднее сиденье. Смотрите, чтобы не просыпалась!..

И на обратном пути:

— Откровение, совершенное откровение для меня! Вы говорите — так у вас повсюду?

— Конечно, не в самых больших городах и не на хайвеях. Впрочем, и эта наша дорога не проселочная, и дачники — со всех концов. В соседнем штате, между прочим, мы то же самое видели. Такая она, одноэтажная Америка! Гадко, что два наши сатирика самого главного о ней не сказали!

— Заказ. Кнут и пряник. Народная еще мудрость: «не привязан медведь — не пляшет»... Но я поражен! поражен!..

Этим своим «поражен» он так прожужжал нам уши, что сразу же после ужина Инна выгнала нас на террасу — не мешать ей варить варенье. Там Бим

вдруг раскис, стал жаловаться на усталость, и я отвел его в наш гостевой домик, шагах в десяти всего, в березах и ельнике. Домик был по назначению своему просто будка для склада разных вещей, но с двумя окнами; знакомый плотник обшил его изнутри фанерою под орех, сделал полати, стол, провел свет. Там я стучал на машинке и, случалось, укладывали мы спать одиночек-гостей.

Бим им умилялся немало, но вышла заминка: не было у дверей крючка изнутри.

— Здесь дверей многие не запирают — некому вламываться.

— Быть не может! — вскинулся он, но на этот раз полутревожно, и я принес ему купленную в Нью-Йорке хитроумную подвесную щеколду.

### 3

Во многих постановках «Евгения Онегина» на сцене после поднятия занавеса Ларины варят варенье (в Мюнхенской опере, помню, однажды режиссер заставил их чистить картошку — буря патриотического возмущения со стороны земляков-эмигрантов!). Но какое, спрашивается, варенье? С уверенностью отвечаю: малиновое, ссылаясь на Пушкина. У него служанки:

Сбирали ягоды в кустах  
И хором по наказу пели  
(Наказ, основанный на том,  
Чтоб барской ягоды тайком  
Уста лукавые не ели)

Земляника, клубника — главные конкуренты малины, как известно, на кустах не растут; собирают их на корточках и при этом петь неспособно: из других кустовых ягод — крыжовник, например, или смороди-

на для лукавых уст не так уж лакомы. Малина остается по исключению...

Пришло мне всё это на ум, когда, возвращаясь от Бима, проходил мимо вентилятора-вытяжки, устроенного над плитой, где Инна варила варенье, — он выдернул на меня такую густую и терпкую «малиновую» волну, что разом, в одно мгновение исчезла для меня дача, сосны, озеро, уже ночное, с дрожащими в нем звездами, и на смену пришла августовская солнечная усадьба моего детства; даже и не усадьба вся, а одна лишь деталь, как с картины какого-нибудь художника: медный, роскошно-разлтый, до блеска начищенный таз на четырех кирпичинах, под который я все время подкладываю лучинки и чурочки, чтобы держался огонь; в нем бурлит, расплываясь бровями пунцово-черная масса; и руки, не знаю, чьи, только до локтя, но бесконечно дорогие мне руки, ухватив фигурную длинную рукоятку, трясут этот таз над огнем спорыми полукружьями, отчего к центру собирается пузырчатая, цвета девичьих губ, нежная накипь — пенки! их снимают в особую мисочку, при взгляде на которую детский рот мой захлестывает слюна...

Надо сказать, что в наши дни малиновое варенье почти совершенный анахронизм. Исчезла не только сопутствующая ему романтика, но сама фактура. Так в результате разных отечественных катастроф не стало, например, когда-то распространеннейшего народного лакомства — «коврижки» (две с половиной копейки фунт), кто помнит ее теперь? Пропали знаменитые тверские пряники — белые, мятного, вязкого теста пряники, могшие сохраняться года; говорят, расстреляли вместе с мастерами-хозяевами и секрет их изготовления, так что прежнего качества восстановить не пришлось (да и как бы назывались они — неужто «калининские?»). А под псевдонимом «малинового варенья» продают вам (увы, и предлагают к чаю, бывает, и земляки) обыкновенное повидло, то

есть искаженный химией и экономией сахара малиновый полужмых. И само двухсловное сочетание это уже не вызывает ни в ком некоего ностальгического трепета.

Плита на нашей даче — за занавеской, в той же комнате, где едим и сидим с гостями. Стены и потолки — из соснового теса, и сосна, дерево чуткое, сама пропиталась вся малиновым духом — так, по крайней мере, мне показалось, когда вошел. Потом я разжег камин: августовские ночи у нас студены. Но только уселись мы с Инной перед огнем помолчать (мы привыкли сидеть у камина, каждый думая о своем), как стук в окно нас аж подкинул на месте.

Бим в ковбойке, без пиджака, и от этого еще более долговязый, влетел, размахивая фонариком и в одышке, будто гнались за ним когда-то жившие в этих местах ирокезы.

— Простите, простите мне вторжение, но — не могу спать! Это ЧП меня потрясло!

— Какое ЧП?

— Инна, не фарисействуйте! Вы сами не можете быть бесчувственной ко вчерашнему! Современная официальная статистика: каждые двадцать пять минут — убийство, каждые шесть минут — изнасилование, каждые пятьдесят — грабеж, каждые пять — запроколенная кража! А тут вчера — торговля без хозяина и открытая касса с деньгами у самой проезжей дороги...

— Но почему бы не спать?

— Почему? Почему?? Потому что, я думаю, мы искажаем, да! искажаем и облыгаем эту страну, в которой нашли приют! Потому что — масштабно сказать — путь ее высчитывают другие, не полицейские статистики и не словоблудная пресса. И не компьютерам дано предсказать ей и ее народу судьбу, но — голосу Высшего, Неисповедимого Существа!.. «И дам ему звезду утреннюю», — говорит, может быть, этот

голос. И даст! И она будет, будет, звезда у этого славного народа! И осветит ему путь из бездны...

Бурные эти тирады Бима знали мы хорошо. Иная, совсем немудрящая, мысль застревала в нем, как оса на липучке, и за ней тотчас же, обгоняя друг друга, налетали новые, и всё это начинало звенеть, попеременно и разом, тоже и в ваших ушах, обращаясь в длинную сплетку тем, откровений, гипербол и нетерпимости.

Так и сейчас. Инна колотила кочергой последнюю головешку, а он всё мелькал перед глазами у нас своим длинным шагом и говорил, говорил...

— Почему мы так привыкаем к подлости своего окружения? Почему не пытаемся удержать в нем здоровое и животворное начало? Почему в злобном растлении человеческого облика на картинах вознесенного художника, в этом месиве рваных симметрий и мышц, забываем о той гармонии тела, которую он так варварски растерзал? Рассказывали мне недавно: модернист один изобрел писать картины... червями. Да, да! Разводит их в ящике, сполоснет и разложит по баночкам с красками, как яйца на пасху. Потом пускает на полотно горстью, куда погуще, куда пожиже, чтоб расползались и творили ему композицию. И — салютуют подонки! Успех!.. Почему, скажите, мы трусим сказать мерзости «нет!»? Почему стали такими соглашателями? Соглашательство разве не то самое мещанство, которое привыкли все презирать? Говорят, будто «кесарю — кесарево» есть первая канонизация оппортунизма. Вздор! Гениссаретских рыбаков не мучил выбор. Заплатив кесарю налог на рыбу, они свободно распоряжались своим временем и душой, а современные кесари требуют от нас и своего, и Божьего... Не каноническое богословие и псалмы, а практическая духовная конституция «верую» нужна нам. Что? Отвлекаюсь, думаете?.. Короче скажу: мы почти что провозглашаем анафему нас приютившей стране, пришиваем ей десятки грехов, от которых будто бы

свободны сами, а она, может быть, как раз и сохранила все самые простые и важные, самые заповедные заветы. Она, может быть, и есть праведница! Можно собрать по крупичам целый ворох сохранившегося в ней добра. Поп-музыка, бродвейские вакханалии... — а на телевидении лет тридцать не сходит «Бонэнца»\* — серия из жизни фермеров и ковбоев прошлого века, почти евангельски добродетельная, и неслыханным пользуется успехом, хоть нет в ней ни кровавых монстров, ни сексуального обжорства, ни музыкального мракобесия. И всё-таки...

— И все-таки надо ложиться спать! — поднялась Инна. — Устали, думаю, все.

#### 4

Бим пробыл у нас еще день и ночь, и, как обычно при встречах с ним, много можно бы порассказать разных разностей, но приведу только самые идущие к делу.

— Я накладываю вето на эту тему о Катькином киоске и судьбах Америки. Скажи ему! — говорит утром Инна, готовя кофе.

Но он проспал до часу, Бим, и надо было видеть его голову в лохмах-протуберанцах, просунутую в мельчайшее окошко навстречу моим шагам.

— У вас тут зоопарк! заповедник! — говорит он нагибаясь, чтобы не задеть о притолоку, а потом за ветки, и прихрамывая. Ногу он повредил, карабкаясь на какую-то альпийскую кручу, и она у него, кажется, чуть короче другой. Долговязые, я наблюдал, хромают заметнее низкорослых и иной раз так, что нужно думать о чьих-либо похоронах, чтобы не улыбнуться.

---

\* Bonanza (англ.) — процветание.

— До полночи бился заснуть — ни в какую! Под полом — чисто гонки какие-то, визг!

— Бурундучки! — сказал я. — Забыл предупредить. Там есть один и ручной. Когда сижу за машинкой, приходит и клянит орехов. Дам — засунет их за щеку и становится вылитый Валерий Брюсов.

— А после полуночи начались чудеса. Кто-то ходил под окнами, возле самого моего уха, хрустел сучьями и вздыхал. Филин ухал... Над головой прыжки, топотанье...

— Белка.

— А потом вдруг — с разных сторон суетня, рычание, и некто солидный шарахнулся о самую мою стенку, зашуршал ветками, и — как полетит что-то сверху на крышу, не то шишки, не то обломки какие-то... Так до самого до рассвета. А с рассветом начался птичий джаз. Говорили мне наши злыдни: птицы в Америке каркают, не поют. Брехня! Как раз и начала всё одна певичка: такая, знаете, коротенькая рулада и очень нежный рефрен. Слушал, покуда солнце совсем взошло, и вдруг заснул, как убитый. Простите за опоздание, но восхищен! Так бок о бок с лесной жизнью еще никогда не случалось...

— Шишки сверху — это енот! — объясняет ему Инна за чаем. — Я их иногда подкармливаю, оставляю у крыльца еды. А шаги — это, наверное, лань. В наших местах и медведи есть. Однажды дорогу нам перешел.

— Сказочно! Такая близость к природе...

Чай — на террасе. С малиновым, сваренным вчера вареньем, по поводу которого суждений произносится через край, вопреки поговорке, что на один крюк всего не повесишь: и пища богов, и экзистенциальная гармония, и реликвия чего-то, и чудесная реальность, восходящая к символу.

Всё это покоряет Инну, и она заявляет вдруг, что собирается снова к Катье. «Вчера из-за Бима за-

была купить укропу. Едем все вместе. Сейчас позво-  
ню ей, чтобы уж наверно была дома».

И у телефона, вполголоса, разговор со мной:

— Чего это тебе пришло в голову?

— Понимаешь, очень хочется их познакомить.  
Оба такие... полярные. Интересно, что выйдет?

Я мало встречал женщин, которые закликатель-  
ное «познакомить» произносили бы без скрытого при-  
дыхания. Инна исключения не составляла. Но что  
могло «выйти» в данном случае?

— Вряд ли она поразит Бима. Он стойкий оди-  
ночка, а ей уж под пятьдесят.

— Все равно она для него нимфетка...

\*       \*

Понравились они, однако, друг другу с первого  
же кивка.

— Бим потрясен был вчера вашими честными  
клиентами, — сказал я. — Он из Нью-Йорка, ему это  
в диковинку.

— А мы здесь живем по старинке. Отстаем во  
всем — в обычаях, в моде. Ха-ха!.. я, конечно, не в  
счет! — она дернула себя за джинсовую, в бахrome  
штанину над круглой залубеневшей коленкой.

И — чего не случилось с ней раньше — бросила  
с нами у киоска еще двух подъехавших покупателей  
самообслуживаться, а сама унеслась с Бимом пока-  
зывать свои теплицы.

И воротясь:

— Хотим с ним — (и мне на ухо: «Очень занят-  
ный!») — осмотреть мое хозяйство — клёны, пчел,  
огород... Никогда не видел, как растет спаржа! Мо-  
жет, закинете покуда на баса — вчера сосед поймал  
у меня двух по фунту... И еще он хочет услышать лу-  
нов, скоро прилетят.

Говорила она торопливо, сверкая зубами и багрецом щек, но в легком прищуре глаз скакали у нее смешинки. «Очень книжно он говорит!» — шепнула она мне снова, и я подумал, что Бим для нее прежде всего — экзотика, нечто вроде нашего самовара или присядки, так что вряд ли примет его всерьез.

Они исчезли почти вприпрыжку, а мы с Инной, вытащив из багажника удочки, пошли вдоль бухты на скалистый наплыв над водой — присест, вероятно, многих рыбаков. Басы (род русского окуня, но намного крупней и не так костисты), рыба боевая и капризная, клевать не хотели, и мы больше смотрели, как вечерело вокруг, чем удили. Был желтый закат, один из удивительных здешних одноцветных закатов, когда апельсиновый, разных растворов, цвет струится сплошь на весь окаем, земной и небесный, так что кажется, будто сникшему уже солнцу подсвечивают еще сбоку десятки искусственных театральных софитов. Не прилетали и луны, которых, по словам Катьи, жаждал услышать Бим. Луны — это тоже надо объяснить — певчие, как я называю их, гуси, черные, с белыми отметинами; их перекличка (один клич высокий, призывной тоскливой параболой, другой — пониже, прерывистый и чуть истеричный) действительно замечательна, особенно если слушать в ночи.

Не стало уж видно поплавков и закосили в воздухе летучие мыши, которых Инна боялась, — когда мы смотались и пошли к дому. Еще подходя, услышали пенье и переборы струн: они сидели на завалинке, Бим и Катья с гитарой, и пели; точнее сказать, пела, думаю, Катья одна, а он только местами подхватывал в терцию фальцетом — никогда не случалось с ним раньше этого на моих глазах. Я запомнил не-уверенно:

A time to live, a time to die;  
A time to laugh, a time to cry...\*

— что-то в этом роде. Да они сразу же и оборвали пенье, увидя нас.

— Ждем, когда прилетят луны, а их нет и нет! — отложила Катя в сторону гитару. — Я говорю Биму: может ждать их здесь хоть до утра. У меня есть комната для гостей, и я его не съем — объясните ему!

— Благодарю, тронут... но я... но мне... — бормочет Бим, вороша свои кудлы. В потемках я не вижу уже выражения лиц, но кажется, живость на них поугасла. Заметнее всего — у нее. Может быть, он ей уже надоел.

Прощание, однако, было шумное, с поцелуями в щеку, как тут принято, и восклицаниями.

\* \* \*

— Удивительное существо! — восторгается Бим по дороге домой. — Какая самобытность! Прямота! Непосредственность!.. И оно не от хиппи у нее, это обручение с природой, но — от Руссо! Всё вместе — продолжение вчерашнего, одно к одному. То есть, иначе, — добро! То, чего мы не видим, не хотим замечать, душевной своей слепоты ради. И в чем единственное, быть может, спасение.

— А сами вы ведь урбанист, без китайского ресторана и газетной толкучки прожить дня не можете! (это Инна)

— Обо мне речи нет. Экзистенциалисты правы: существование предшествует назначению, когда это касается человека. Он должен сам разгадать это на-

---

\* Приблиз.: Время — плакать, время — петь.  
Время — жить и время — умереть...

значение, создать свой образ; извне, если не верить в Бога, не поможет никто. Я не атеист, но своего образа создать не мог...

И, немного погодя:

— Знаете: мне хочется написать повесть «Малиновое варенье».

— Спасибо, напомнили. Сейчас будем с ним пить чай. (это Инна)

— Нет, кроме шуток. Если не повесть, то хотя бы рассказ.

— Проза, по-моему, не ваш жанр. (это я)

— Всё равно, попытаюсь.

— И заглавие, помнится, я где-то уже встречал.

— Пускай, не важно!..

## 5

Утром мы отвезли Бима на автобус, но продолжение этой истории тянулось еще дней десять. По телефону! Стояла ясная осень и настоящее пиршество красок по берегам нашего озера, как это бывает в Новой Англии, благодаря, я думаю, обилию кленов. Мы задержались на даче, и Бим звонил нам ежедневно к умилению Инны, которая переживала за него стоимость этих — long distance — разговоров.

Вначале было много о Катье, оптимистично и даже мечтательно:

— Вы знаете: она предложила мне, если хочу, поставить где-нибудь в ее владениях такую же будку, как ваша, где ночевал. Это, в общем, мне вполне по карману, и я сперва воодушевился: какая природа! какой простор! часами бродить по лесам, по берегу озера и писать «*Les rêveries d'un promeneur solitaire*»\*. И свобода! «Хотите, — говорила она, — выберетесь

---

\* «Прогулки одинокого мечтателя», Жан Жак Руссо.

помогать мне на огороде, хотите — сидите безвылазно, как бурундук в норе». Очень меня захватило вначале. Потом понял: нет, не выдержу!.. Я ей написал, Катье, но когда увидите, передайте еще раз привет.

Обильнее всего, конечно, была тема об «озарении», случившемся с ним в нашем озерном краю:

«В эти два дня у вас вошло в меня разительно новое — отрицание нашего скепсиса, нашей готовности разрешить править бал сатане, нашему неверию в душу этого народа, которой имманентны честность и достоинство, доверчивость и уважение к ближнему. Да, да! не боюсь повторить!»

Постепенно, однако, в его излияниях ослабевал мажор. Осень или одинокость в мансарде, в которой у него после летней жары начинали отчаянно скрипеть паркетины, — но ожило его прежнее исповедническое томление и самоказнь, как это называла Инна. Не знаю, передам ли словами тот особый контрапункт наших дачных вечеров, уже осенних, с ранней за окнами чернотой и онемелостью, когда мы с Инной — у камина, как у телевизора, вбираем в себя тепло, пляску огня и, прежде всего, ту особую тишину, которую ощущаешь как что-то редкостное, хрупкое и вместе печальное, потому что вот-вот оборвется, — и вдруг вонзается в эту тишину треск звонка, и смятенный голос из холодного, всегда чуть враждебного ночного далека рушит на тебя свои жалобы:

«Я говорил вам: своего назначения в жизни я не нашел, человеческого образа своего не выполнил. Вычитываю иной раз прошлое, как какой-нибудь чуткий редактор вычитывает присланный на его суд бездарный роман. Какая жуть! Только подумать, что этот исчерканный вкривь и вкось, изрезанный ржавыми ножницами, залатанный вставками, пахнущий затхлостью и никотином манускрипт была твоя жизнь!»

— Скажи ему, что он пойдет по миру, оплатив телефонный счет! — говорит Инна.

«Когда-то какой-то касательной прислонился я к Кафке с его смутой безверия, безнадежности, бессмысленности, безначалия и других «без», «без», «без» нашего бытия, но Кафка — катастрофический талант, кафкианство — нечто вроде экземы души, а у меня всегда была неудержимая тяга к гармонии, в которой, по словам чудесного украинца Сковороды, и заключается счастье»...

— А что рассказ ваш задуманный, «Малиновое варенье», будет написан?

— Это вы, Инна? Здравствуйте! Не знаю, никак не могу начать...

.....

Звонки его кончились в начале уже сентября, когда вдруг пришло от него по почте известие, что улетает до зимы в Австрию — кого-то учить русскому языку. В конверт была вложена цветная фотография приальпийского городка на фоне горных, со снежными прошивами, круч. Внизу приписка: «Вы знаете: горы для меня — одна из гримас природы. Солнце садится за них на два часа раньше обычного, обворовывая ваш день».

— Австрия, — сказала Инна, — может, его отвлечет?..

А «Малиновое варенье» написал вместо него я.

Что-то будет?..

## ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

### ОКТЯБРЬ

Из всего, о чем томились, не набрать на  
    грошик.  
Что своим однажды звали, позабыли  
    помнить.  
А кого не долюбили — зряшная  
    забота.  
Стелит скатертью дорога — позабудь,  
    как звали.  
Ветер крючит частый дождик, ни костра, ни  
    крова,  
ни пригорка, ни колодца, ни с укором  
    взора.  
Лишь о том мы не спросили, что забыть  
    успели.  
Солнце сгнуло за морем, где не нас  
    заденет.

\*        \*  
      \*        \*

А к вам впадает ли за полночь  
на чай безбожная Рррасея, до не-

подобия пьяна, но все горда оплечьем  
из гофрированных рулонов туалетных,

скучая переменчивой погодой, без охоты  
дурача непросохшим анекдотом,

разбитая от скотских злоключений,  
разбившая по дому зеркала, —

чтоб, у дверей уж, сипло: «милай», — а  
вы тогда ей сдавленно: «родная» ?

\* \* \*

Завтра нас не за-  
лучило. Заживем  
теперь в обратно, дни  
назад перелистаем, —  
ближе к чудищам глазастым и  
цветам невероятным,  
к неразменному слову,  
к небосводу непустому,  
под которым всё, что сплыло,  
заговаривало с Богом,  
собеседуя с собою;  
по привычке умирая,  
воскресало без усилий  
и своими именами  
называлось по ранжиру —  
в тех галдящих  
легионах, что карга  
перекосила. Тем, что  
некуда деваться,  
кто же нас  
с тобой заманит?

Мне снились стены городов, морей  
накат и в небе — горы, пинии  
и башни, чужих могил  
неспешный шепоток, чужих  
церквей нестрашные громады,  
и мнились все голоса и волосы  
текли меж пальцев, а за спиной  
кralись дни — заведомые тати — и  
отставали за углом, чтоб чваниться  
сноровкой. И вот  
привиделась мне  
мама. Чуть свет она подходит  
к полке  
и мне глядит в бумажные  
глаза,  
и вот теперь почти не верит, что  
это я, когда по лестнице взбегают или  
шуршат половиком, когда  
без стука  
потянут ручку  
двери  
на себя.

#### УТРОМ РУХНУЛО СТАРОЕ ДЕРЕВО

Утром рухнуло старое дерево  
под окном. Я не мог не заметить.  
И смотря на его мельтешащие листья,  
вспомнил, как волосы трепал однажды ветер  
на темени покойного соседа, и понял,  
что неживое мотало ветвями  
дерево все эти летние луны  
и неживое — все солнца  
зимние.

\* \* \*

И всякий зимний день досадней мне: ведь  
я морочу вас, когда меня  
вы признаете по медленному голосу,  
повадке и ожидаете ответных слов на  
ваши (ваши ли?) — тогда  
как не узнать об эту пору себя  
мне самого: чужая  
кожа плечи обтянула, другие вложены  
глаза и вырезаны уши на отлете, и рот  
иной, который не расклеить мне,  
чтоб выдать враз про сей обман —  
невыносимый во всякий зимний день. Так  
будьте осторожны узнавая  
вы ради Бога, — хотя, постоит,  
да *вы* ли это?

\* \* \*

Давай же выспимся до звона  
в отлежанных ушах, до  
одури, до крайнего излишка и  
вящей немоты, до «газировки»  
в чуждых членах и инея на лбу, до  
простокваши в сердце, хронически  
подпухших грез и — знаешь  
как? — до благоопупенья, иль  
вот еще: до ручки. И пусть  
отметят нам пять зим прогулов,  
пять лет неявок,  
пускай осудят все и заклеят.  
Мы пробки выкрутим, чтоб нам  
спросонок никогда не дотянуться  
до лампочки... Прижмись теперь  
к плечу, мы выспимся до смерти.

Уступите мне мертвые души  
за двугривенный или полтину. Да на что  
вам такая обуза? Вы  
послушайте, если бездушны — так  
лишь хлеба, а водки не надо. Уступите  
усопшие души. Не полушку  
сулю — соглашайтесь. Позарез мне  
набрать бы хоть дюжину, хоть пятók  
или сколько прикажете.

Я поить  
земляничной росой, одевать  
в заграничное кружево буду их, а не то —  
в креп-жоржет, по утрам услаждать их  
веселостью речи  
и гулять уводить поштучно  
всякий вечер в сплошной и неблизкий,  
старомодный нешуточный лес. Так уж,  
право, никто не осудит. Мне не сбить  
капитала иного. Уступите  
мне ваши почившие души  
и недужные  
тоже.

ИЗ ТРИПТИХА «ИТАЛЬЯНСКОЕ ЛЕТО»

Мне нечего сказать тебе о Риме, о том,  
что кошки утаили, достойно пяля снизу  
вверх и янтари и хризолиты, не веря в наши  
скользкие личины, бродя по мрамору и  
травертину несатыми хозяевами были. Мне

нечего сказать тебе о Риме, о плоти  
сахарной колонн и полых взорах статуй,  
которые, верь, в оный день не преминут  
нам гаркнуть резкости в захлămленное ухо на  
гуттаперчевой латыни, притопнув

сокрушительной стопой. Мне нечего сказать  
тебе о Риме, пока не проросли на Авентине  
мои следы наивною травой, пока из Тибра  
швейцарский пес не выволоч брезгливо  
за шиворот самоубийцу кроткого, пока

замшелы выи ватиканских пальм. Мне нечего  
сказать тебе о Риме: там без меня уже  
снут в обнимку с мертвыми живые и тянут  
пенку каппучино, зеницу ока пряча от греха,  
чтоб Божий день насквозь не видеть.

Октябрь-ноябрь 1983.  
Нов. Гавань

Поздравляя «Континент» с десятилетием,  
надеемся, что наши устойчиво дружественные  
отношения в дальнейшем лишь еще окрепнут и  
что наше сотрудничество, не всегда безоблачное,  
но всегда одушевляемое общей тревогой о нашей  
несчастной родине и обо всем мире, по которому  
расползается раковая опухоль коммунизма, по-  
прежнему будет, сколько это в наших силах,  
служить спасению России и предостережению  
свободного мира.

«Русская мысль»

Париж, «Континент»,  
Владимиру Максимову

Дорогой Владимир Емельянович!  
Дорогой Володя!

Позволь от души поздравить тебя и твоих сотрудников с двойным юбилеем журнала – 40-м номером и 10-летием существования.

Мне выпало читать «Континент» тотчас по выходе первого номера – с тех пор я неизменный его читатель, независимо от того, всё ли мне нравится в нем. То же скажу и об его противниках, пускай самых ярых: можно ругать «Континент», нельзя – не читать его.

Всем ли в те первые годы верилось, что он – продолжится, не сгинет среди возникающих во множестве, но – увы – зачастую скоро смолкающих рупоров «третьей волны», и значит, что-то всё же удастся на журнальной ниве нашему «пропущенному» поколению? Но это – произошло, «Континент» живет и здравствует, и я в этом различаю твою собственную немалую заслугу.

Я знаю, редакторство – не столько почетная видная должность, сколько тяжкое, хлопотное и довольно склочное дело, которое не всякому по сердцу тянуть слишком долго, отрываясь от собственных книг, да с таким крохотным штатом, с каким не взялся бы управляться ни один советский номенклатурщик. Одно оправдание и утешение – что журнал нужен России, как свет в оконце; лишенная права говорить о самой себе, с ним она обретает мнение и вкус, философию, нравственность, религию, а в целом – ответ на самую большую и жгучую тайну, особо тщательно от нее охраняемую, – как и чем жив ее народ и чем ему жить далее.

Желаю тебе крепости духа и спокойствия, с которыми только и можно вести корабль журнала меж рифов и мелей нашего зыбкого успеха, среди горечей и обид, поверх неудач и ошибок, – при этом, что-то всё-таки откладывая в историю, как отложились уже несомненно эти сорок книжек «Континента».

Обнимаю,

*твой Г. Владимов,  
редактор «Граней»*

# Россия и действительность

Наум Коржавин

## А БЫЛ ЛИ СТАЛИН-ТО?

*(Очерки о психологическом развитии советского  
большевизма)*

Впрочем, при всей уникальности большевистской интеллигенции вовсе не следует рассматривать ее уж слишком отдельно от того, что вообще происходило в культуре и в сознании современного ей мира. Никто не спорит, они были представителями самого коллективистского, ультраколлективистского, даже уравнилельного, мировоззрения. Но в то же время они, не желая никак отставать от «всего передового в Европе» (культуртрегеры!), совсем не были чужды и весьма распространенного там воинственного индивидуализма, всяких форм авангардизма. С последним их сближало общее боевое неприятие основ бытия и то презрение к «мещанской морали», о котором уже шла речь. Это их настроение я однажды уже назвал «большевистским ницшеанством».

Ведь, если вдуматься, в индивидуализме они нуждались больше других, нуждались практически. Ибо нет в марксизме роли более незавидной, чем роль рядового представителя революционной массы. Оно, конечно, – кто спорит? – роль почетная, пролетарский поэт даже воспел состояние, когда «каплей льешься с массами».

---

Окончание. Начало см. в № 39.

Но одно дело «литься» с ними, другое – к ним принадлежать. Ибо массы – это не субъект, а объект творческого воздействия, массы надо формировать, организовывать, воспитывать и т. д., чтоб они правильно выполнили назначенную им историей роль, но, например, пускать их в «столовую на третьем (а то и на первом тоже) этаже» – не обязательно. Так же не обязательно разговаривать с ними как с людьми – их надо только агитировать, т. е. «правильно ориентировать», чтоб вызвать полезные делу (в конечном счете им самим) реакции и действия. Ибо они – строительный материал, объект сознательного творчества. Относиться к этому иначе – мещанство. Антимещанский «творческий» пафос декаданса пришелся «мыслителям» революции в самый раз.

Правда, эта близость к декадансу и индивидуализму несколько не гармонировала со многим, на чем они были воспитаны, но марксизм своей разветвленной диалектикой допускал здесь кое-какие тонкости толкования (как и в вопросах самоснабжения). Он вообще подходил к делу научно и не ставил грядущую победу справедливости в прямую зависимость от нравственности поведения тех, кто за нее борется, т. е. опять-таки оставлял много места для эстетического презрения к пошлой морали. Это освобождало их от чрезмерной прямолинейности в личном быту и духовном обиходе. Это позволяло, допустим, Ларисе Рейснер вести на всех фронтах гражданской войны жизнь революционной гранд-дамы. Так что некоторое сближение, а иногда и сращение богом – художественной и суперреволюционной (а чем еще были эмигрантские колонии в Женеве и Цюрихе, как не богемами?) – не случайно. И так это не только в России (например, Луи Арагон).

В этой связи очень интересен разговор Марии Михайловны с мужем о том, нравственен или не нравственен их друг Карл Радек.

«Радек как личность долгие годы оставался для меня загадкой. Один раз, это было уже в 20-е годы, я заговорила об этом с Адольфом Абрамовичем, спросила мужа: „Ты знаешь, я не могу в нем разобраться: нравственный он человек или безнравственный. Ум – бесспорен, талант – бесспорен, никого равного ему по журналистскому таланту я вообще не знаю, даже за границей...“\* Так вот, Адольф Абрамович тогда так ответил: „Видишь ли, в оценке его профессиональных способностей ты абсолютно права, а что касается, нравственен он или безнравственен, так он – не нравственен и не безнравственен, он – по ту сторону морали, она для него просто не существует, у него свои нормы поведения, свои мысли, свои поступки“.

Так и кажется, что это разговор не политических деятелей о политическом деятеле, а каких-то третьестепенных богемных художников о своем собрате. Это явно отголосок других разговоров, слышанных ими при других обстоятельствах, на всем этом общая печать культурного кризиса, охватившего мир. Впрочем, разве коммунизм и нацизм – не ипостаси этого кризиса?

Пикантно то, что сами по себе Адольф Абрамович и Мария Михайловна – люди отнюдь не столь гибкие в моральном отношении (пока их не сбивает с толку мировоззрение), но они, тем не менее, пасуют перед столь явно выраженным тотальным аморализмом, пасуют перед объединенным напором большевистской диалектики в нравственных вопросах и снобистской «изысканности «современных» людей без шор (и перед теми, кто

---

\*А то, что за границей вообще и априори все лучше, для культуртрегеров ее круга несомненно. Русская культура, к тому времени уже мировая, так и остается для них периферией заграничной. Все же круг М. М. – очень второсортный круг в масштабах русской культуры.

умеет использовать все это в личных интересах, что нетрудно). Даже при сегодняшнем своем опыте, наглядно и жестоко продемонстрировавшем перед ней ценность обычной «мещанской» порядочности, М. М. все же допускает следующий пассаж: «Это (т. е. характеристика Радека, приведенная выше) была абсолютно правильная характеристика. Вспомните хотя бы Радека на процессе 37-го года (ошибка – 1938-го. – Н. К.), ведь никто так «осмысленно», так «вдохновенно», на таком «философском уровне» не каялся и не предавал других, как Радек. Я определенно знаю ход его мыслей: главное выжить, а потом мы всё объясним! А то, что это безнравственно, его просто не занимало. Вот что, по-видимому, имел в виду Адольф Абрамович, когда говорил, что он, Радек, по ту сторону морали».

Вот такая, значит, сложная фигура был Радек. Представьте себе, что бы было, если бы такая сложная фигура появилась где-нибудь на процессе эсеров. Как бы потешалось над ним все окружение Марии Михайловны – и в печати для масс, и в своем кругу «старых борцов» – для самоуважения. А тут вот как все усложненно воспринимается. Даже место такое придумывается (верней, заимствуется у богемы): «по ту сторону морали», но в то же время и по ту сторону аморальности. Последнее, естественно, нелепость (по ту сторону морали – только аморальность), но нелепость вполне модная и «европейская». Во всяком случае, и сегодня Мария Михайловна не может отказаться от нее, хотя образ, нарисованный ею, весьма неприятен.

Я совсем не убежден, что М. М. сохранила бы такое «эстетическое» отношение к Радеку, встретить она его в лагере. Во всяком случае, к старому большевику Сафарову, угодничающему перед начальством, она относилась без всякого снисхождения. Хотя с битого-перебитого (в буквальном смысле) Сафарова спросу куда меньше, чем с сытого и вальяжного Радека. Трудно

себе представить, что такой человек бы в лагере не стучал. Ведь принцип: «Главное выжить!» – действовал и в лагерях. Собственно, что за ним было еще, кроме этого цинизма и безразличия ко всему, кроме, может быть, заостренной (в любую сторону) фразы («талант!»)? Такие люди тогда и потом встречались среди наиболее отвратительных, «утрированных» представителей богемы, но они и там воспринимались как подлецы. Правда, подлость им прощали – «за гениальность». Здесь еще и за мировоззрение и пользу, которую ему приносят.

Впрочем, убеждение, что мировоззрение и польза могут искупить любые пороки, вообще свойственно большевикам. Особенно Ленину, хотя он на индивидуалистическом искусстве не воспитывался и к своим «нормам» пришел без него. Не нуждаясь, в отличие от Сталина и Гитлера, в своих идеализированных портретах, он, подобно им, совсем не нуждался и в «самовыражении». Но для психологии интеллектуального большевизма друзья М. М. в чем-то более характерны, чем сам Ленин.

Впрочем, Марию Михайловну эти материи не интересуют. Она говорит о них только, чтоб подчеркнуть, что вообще все они (т. е. ее друзья) были очень разными, в отличие от тех «манекенов со стертыми лицами», какими они выступают в сталинской пропаганде.

Заботы Марии Михайловны понятны. Она всегда ценила в своих друзьях сложность и уникальность, а от сталинской пропаганды им досталось крепко, может быть, даже больше, чем когда-то от их собственной пропаганды каким-нибудь кадетам. И действительно, люди они были сложные и разные. Радек, как мы видели, был подлецом, ее муж Адольф Иоффе, – человеком принципиальным. В Троцком Джон Рид, к вящей гордости М. М., находил даже «нечто мефистофельское» (т. е. изысканно сложное), и, кроме того, Троцкий понимал поэзию: нашел стихи Ахматовой слишком женскими, «почти гинекологическими», хотя и оценил их высоко.

Так что сложность у всех налицо. Была она и у тех, кто в круг М. М. не входил. Например, П. С. Коган объяснял Цветаевой, что он хоть и марксист, но когда есть время, любит красоту – наслаждается Бальмонтом.

Впрочем, дело не в этом. Я никогда не верил сталинской пропаганде и на ее счет согласен с Марией Михайловной. Но все же заботы самой М. М. меня не трогают. Дело в том, что в своей индивидуальной неповторимости, в следовании «культурности», они совершенно всерьез требовали от всех остальных полного растворения в коллективе, в классе и исторической необходимости, требовали жертвенности – не только физической, но и духовной, и, кроме того, старались, как уже говорилось, кормить других жвачкой, которую сами, как наиболее сознательные и преданные делу, есть не хотели. Т. е. в этом смысле тоже ходили в свои «столовые на третьем этаже» – пользовались такими же привилегиями, которые только на этот раз касались не еды, даже не информации, а духовных удовольствий. С самого начала коммунисты присвоили себе в качестве привилегии право не придерживаться собственных принципов, во имя которых и совершали свои преступления. Много изменялось в их партии, но это осталось. Я знал одну женщину, партийку со стажем, и стажем не сталинским, которая когда-то долго не отдавала свою дочь в общую школу, а нанимала учителей, чтоб ребенок не общался с «быдлом». Говорят, что теперь есть специальные школы для детей привилегированных отцов, где, кстати, учеников вообще не пичкают никакой идеологией, обязательной для остальных. Не знаю, так ли это, но и такой слух симптоматичен. Так теперь мыслится привилегия. Но в зародыше это началось еще тогда – у самых высокоидейных, повторяю, и в скромных размерах: их, пусть противоестественная, идеяность оказывалась не под силу им самим.

Но сделать из этого естественные выводы они были не в состоянии: были не в состоянии преодолеть двой-

ственность своего положения. Да, они были одной из самых высокоидейных (т. е. верных фантастической цели) и высококультурных элит советского большевизма, но они не были элитой страны, во главе которой оказались. Смутно они сами чувствовали это, отсюда их непрерывная историческая борьба против традиционных ценностей и связей, на которых сами были воспитаны и которым так яростно изменили. Они не могли не чувствовать, что их игра на понижение опасна и для них, что успех ее создает положение, при котором позиции таких изменивших неизбежно оказываются слабей, чем позиции людей, изначально чуждых всяким ценностям. Но они уже не могли остановиться, ибо на фоне недискредитированных ценностей выглядели непрезентабельно, в истинном свете, с чем примириться было им невозможно. Отсюда их более, чем горячая преданность «принципу партийности», круговой поруке насильников. Правда, троцкисты, в отличие от всех остальных, в конце концов разорвали путы этого принципа (когда сочли, что партия изменила своей сути), но что это могло изменить? Во-первых, они опомнились поздно, во-вторых, что они могли сказать народу? Что они лучше знают, как его эффективней эксплуатировать во имя их великой цели?

Ведь они были не против принципа партийности, а только против его «опошления» Сталиным, может, стояли даже за большую его остроту и свирепость. Так что противопоставить аморализму Сталина им было нечего: моральней они были только внутри партийной (т. е. антиморальной и антинародной, групповой, отдельной) морали. Куда с этим сунешься? Дьявол легко не отпускает. Да и не собирались они вовсе вырываться из его когтей – настаивали только на своем варианте дьявольщины, на правильной партийности. Но о принципе партийности – в следующей главе.

Я об этом писал уже неоднократно, но приходится писать еще. Дело в том, что я не согласен с утверждением, что и сейчас в бедах нашей страны играет важную роль господство духа и буквы коммунистической (или просто марксистской, или какой-либо иной) идеологии. Идеология теперь не больше чем внешняя норма приличия, форма, в которой власть привыкла выражать свои (любые, любой направленности) веления и соображения. И когда А. И. Солженицын в своем замечательном обращении к Сахаровским слушаниям 1979 года по поводу участия Игоря Огурцова вдруг говорит: «Так коммунисты мстят своему идейному противнику», – то я просто не понимаю, о чем речь. Т. е. я понимаю, что Игорь Огурцов – идейный противник коммунизма, понимаю, что ему мстят, мстят жестоко и бессмысленно. Но только мстят ему отнюдь не потому, что Брежнев обиделся за коммунистические идеи, а за то, что Огурцов посягнул (хотя бы мысленно) на лично выгодный Брежневу и его окружению режим. Другими словами – если употребить самые «высокие» из возможных в данном случае слова, – Огурцову мстят за то, что он враждебен и вреден интересам и власти партии. Мстят, руководствуясь уже упомянутым выше пресловутым «принципом партийности». Принцип этот, действительно, связан с идеологическими основами большевизма, вырос из них, ими освящен, но существует независимо от них и от условий, его породивших. Или – что то же самое – сам по себе становится идеологической основой деятельности партии. Получается парадокс. Партия создает принцип партийности, а потом существует якобы только во имя его соблюдения. И даже власть партии над страной осуществляется якобы во имя этого «принципа партийности». Впрочем, в этом уже есть смысл. Но только такой, как в мафии, – безвыходно-уголовный, а не идеологический. Даже если сама

идеология располагает к уголовщине – это совсем другое...

Но все имеет свои корни. Вся история большевизма неотделима от принципа партийности. Именно этим, а не общей идеологией отличались большевики от других социалистических и марксистских партий. Именно этот принцип отделил их в 1903 году от меньшевиков – в спорах по пункту первому устава партии (о членстве в ней) на II съезде РСДРП. Принцип этот – организационная основа «партии нового типа». Он превращает всю партию в послушное орудие руководства и в то же время в дисциплинированный отряд. Согласно этому принципу человек сдает в партию, как в сейф, все: мысли, сомнения, восприятие, совесть. Во всех разговорах – во всяком случае с беспартийными – он обязан вести себя, как послушный рупор партийной политики, лужёная глотка партии. Искреннее согласие с партией требуется от него лишь в главном, в остальном – только абсолютное подчинение, независимо от согласия.

Принцип партийности – орудие обоюдоострое. Например, он помог большевикам захватить власть в 1917 году, что в каком-то смысле можно считать действием, совершенным из идеологических соображений. И он же обеспечил победу Сталина над партией и ее идеологией. Причем неоднократно получалось так, что во имя торжества этого принципа сами большевики азартно и против воли (одновременно) голосовали фактически за свое уничтожение. Конечно, тут, как и в утверждении этого принципа, сыграла свою роль и общая беспочвенность большевистского мировоззрения, которое иначе утверждать нельзя было. Но о том собственно и речь.

Тут мы опять возвращаемся к временам, с которых начинаются мемуары Марии Иоффе. Тогда еще ни это выражение, ни сам принцип не окостенели, не превратились в пустое «правило игры», все это было животрепещущим и важным. Ибо власть над громадной страной,

чуждой целям этой власти, – совсем не шутка. А власть была взята – рассматриваю самый идеальный и наивный случай – для целей, мягко говоря, более широких, чем благоденствие этой страны и даже власть над ней. Т. е. в значительной степени для того, чтоб использовать страну и народ как средство для воплощения своих идей. Разумеется, эти люди были убеждены, что плоды их деятельности будут, в конце концов, полезны и русскому народу (как и другим народам России), но именно – в конце концов. Сейчас же они были не тем озабочены. И сейчас, до наступления этих счастливых времен, они пока жертвовали во имя своих идей и самими собой (повторяю: беру идеальный случай), и – что гораздо хуже, потому что без спроса – другими, т. е. судьбами отдельных людей и интересами всего населения. А поскольку население не приходило от этого в восторг и хотело жить согласно своим собственным представлениям, морали, религии и здравому смыслу, а не по капризу чьих-то восторженных проектов – то такой проектировщик считал своим правом, долгом и обязанностью отечески воспитывать таких несмышленишек: словом, розгами, а иногда – поскольку теперь миндальничать не время, а скоро все равно все окупится всеобщим счастьем – то и пулеметами, трехлинейками и нагаками. Причем всё это я говорю об отношении проектировщика к «обывателю». Что же касается «врагов», т. е. людей, которые не «заблуждались», а вполне обоснованно были или могли быть (хотя бы в мыслях) против, то о таких и размышлять не надо было. Таких надо было сразу ставить к стенке, а потом облыгивать, ни с чем не считаясь, – насчет классового врага любая позорная ложь при диалектическом подходе оказывалась правдой. «Объективно» такие люди всё равно были шкурниками (даже если были заведомо благородными людьми), и жалеть тут не о ком.

Всё получалось довольно красиво. «Интересы партии» – ведь звучит вполне альтруистически – дес-

кать, не за себя, а за дело. В этом свете любой поступок выглядит благородно, в крайнем случае – трагически. Но вся беда в том, что выглядело это так только в собственных глазах. А остальные по отсталости и непониманию диалектики воспринимали всё иначе.

Допустим, приходится в каком-нибудь городе расстрелять хорошего и популярного человека. Собственно, он пока еще ничего не сделал, но и ежу ясно, что он к «нам» хорошо относиться не может и в любой момент может проявиться. А обстановка сложная, опасная. Вот и, скрепя сердце, кончаем с ним из диалектических соображений. А все остальные за это считают «нас» убийцами, не хотят входить в наше положение и в соображения. Приходится еще парочку человек для острастки хлопнуть. И – так далее. В конце концов, получается, что мы себя понимаем, а другие – нет, что у всех одна мораль, а у нас – другая. И оказываемся мы, как в осажденной крепости. И эта крепость – наша партия. И она для нас всё – жизнь, родина, истина и любовь. И ее интересы – для нас священны. И интересы её дела, и она сама, как таковая – ибо это единственное место, где нас понимают. Вот они и есть – основания принципа партийности, в самом романтическом истолковании.

Очень скрепляла принцип и тактическая ложь, совершенно, конечно, необходимая, потому что в отсталой стране вся прелесть идей не всем была доступна (на то, что «передовые» страны вовсе на эту прелесть не клюнули, никто внимания не обратил). А раз так, то каждый, который хотел заставить население действовать в нужном ему направлении, должен был (по их мнению) приспособливаться к отсталому уровню его представлений. И «приспособливались», как известно, вполне беззастенчиво. Например, крестьян приманивали взятым у эсеров временным для коммунистов (потому что не совсем социалистическим) лозунгом: «Земля крестьянам!», – а потом уверенно, будучи в

своем марксистском праве, грабили их продотрядами. Еще нелепей получилось с войной. Ведь пришли к власти на лозунге «Долой войну!», т. е. на немедленном и в любом случае прекращении войны. Каждый втыкавший «штык в землю» объявлялся чуть ли не героем. А после Октября это сразу стало позорным дезертирством. А наиболее принципиальные из коммунистов просто требовали продолжения войны, потому что теперь в их глазах она была революционной. Ленин не соглашался на это, ибо не хотел неминуемого тогда поражения, но не потому, что был связан предыдущими лозунгами. Но дезертиров теперь и сам не уважал... Теперь всё стало другим в его глазах. То защищали «их», а то – «нас»... Другое дело.

В связи с этим коммунистам приходилось тяжело. Все ругали их: «Обманщики!», «Убийцы!» – и только они одни знали, какие они хорошие. И только их партийность поддерживала их.

Кстати, я привожу только те факты, которых они сами не скрывали. Некоторые – об отношении к ним питерского пролетариата, о сущности Кронштадтского восстания – по-настоящему начинают выплывать только сейчас. Похоже, что большинство партийцев «скрыло» их даже от самих себя – забыло для ясности. А это, может быть, самые кардинальные факты.

Но окончательно оформилась (т. е. потеряла всякий смысл) «партийность» к 1921 году, когда стало ясно, что из «наших» идей, а, главное, расчетов, ничего не вышло, кроме пауперизации городов и общего недовольства деревни. Оказалось, что рабочие и крестьяне того и гляди турнут эту «свою» власть куда-нибудь подальше, чем безусловно остановят исторический прогресс. Оказалось, что место, куда «идеалисты» загоняли людей, мягко выражаясь, палками, – отнюдь не рай, а скорей, место прямо противоположное. Правда, все расчеты строились на близком приходе мировой революции (почему-то считалось, что с ее наступлением все

трудности разрешатся как-то сами собой – как и почему, мне уже давно непонятно), но и это научное предвидение оказалось липовым. Казалось бы, проиграно все, во имя чего и в расчете на что большевики брали и «любой ценой» удерживали власть, – и, значит, надо сдавать дела и каяться: «Дескать, ошибка вышла!» Но не тут-то было. Не такой был человек Владимир Ильич, чтобы власть кому-нибудь отдавать или каяться в прегрешениях. Так что о том, чтобы уходить, и вопрос не ставился, а просто решено было подождать мировой революции, находясь у власти. Тем самым способствуя быстрейшему наступлению этой «светлой эры» (т. е. мировой революции). а пока – чтоб несознательные массы грубо не прервали этого нашего напряженного ожидания (т. е. чтоб им легче было «нас» переносить) – решено было временно допустить для них капитализм под «нашим» контролем: пусть вывезет страну из разрухи – в городе и в деревне.

Меньшевиков, которые тут же воспрянули духом: «Мы всегда говорили, что иначе нельзя!», – Ленин сразу резонно одернул (привожу не цитату, а пересказ того, что он говорил): «А мы говорим, что за такие слова будем расстреливать! Ибо мы допускаем капитализм только временно, сохраняя за собой «командные высоты», именно для того, чтобы сохранить нашу пролетарскую власть». Конечно, при этом предполагалось, что эта власть (не пролетариата, конечно, а партии) будет способствовать быстрейшему достижению конечной цели, в т. ч. и мировой революции. Без мировой революции большевизм не мыслил себя тогда.

Но все заботы о нем, в сущности, могли сводиться только к отчислению части национального дохода на ее нужды и к засылке агитаторов-пропагандистов-организаторов в страны, не достигшие «нашего» уровня сознательности. То, что эти отчисляемые на идейно-партийные нужды средства принадлежат не партии, а народу, просто никем не замечалось. Народ об этом просто не

знал, но если б и знал, то особенно не возмущился бы – по сравнению с продразверсткой и продотрядами, это было мелким побором. И особенно мало это интересовало тех, особо идейных, кто никак не мог очнуться от революционного наркотика и выезжал на подпольную работу за кордон.

Но самый толщи жизни в стране эти заботы о мировой революции касались мало. В том числе в жизни большинства партийцев. Независимо от того, чему они бывали преданы, в ожидании мировой революции они на всех уровнях вели жизнь обычных начальников, чей авторитет далеко не всегда подкреплялся необходимым уровнем квалификации, т. е. держался на власти партии. Это тоже спланивало. И все у них все больше оказывалось свое, отдельное, «опричное»: отдельная духовная жизнь, отдельная мораль, отдельное объяснение своего положения. Духовные и корыстные интересы переплелись у них так, что не оторвешь и не отличишь. Эта их тотальная опричность и есть партийность – пусть сначала их принцип партийности был верностью своему знанию о себе, клубу тех, кто помнит (или думает, что помнит), зачем все это. Постепенно их клуб разводнялся людьми иного рода. Опираясь на этих последних, но с помощью людей этого клуба, Сталин и произвел свою революцию против «ленинской гвардии». Но сам этот клуб – пусть теперь наполненный другими людьми, пусть абсолютно формальный, служебный, бюрократический, – сама идея этого клуба и необходимости быть ему верным не только осталась, но и утвердилась. Более того, оказалось, что к «новому вину» эти «старые мехи» подходят больше, чем к «старому». Оказалось, что без идей принцип партийности действует еще четче.

Сталин уничтожил внутреннюю зависимость партии от ее идеологической сущности, он заставлял относиться, как к чему-то сущностному, к любому требованию момента, в этом духе не только велась пропа-

ганда, но и воспитывались дети. Остальное служило только камуфляжем, да и вспоминалось редко. Так что переворот, совершенный Сталиным, не был ни в коем случае ни освобождением страны, ни возвращением к истокам, как снится сегодня некоторым из романтиков нового типа (националистического направления), – это было насильственным насаждением пустоты как содержания жизни, это было дальнейшим погружением в бессмыслицу и протрацию.

У люмпена Сталина и богемного революционера Троцкого был общий враг – любая форма свободной жизнедеятельности других людей. Не знаю, как далеко зашел бы Троцкий. Я уже писал здесь, что его выгодно отличала от Сталина открытость его доктринерской бесчеловечной программы, что она должна была бы его лимитировать. Но лимиты эти предполагаются вне его, а не внутри. Не говоря уже о том, что в наше время объявленная открыто идиотская программа – слишком часто выполняется (Гитлер, Пол Пот, Хомейни и др.). Так что, может быть, я и не прав. Впрочем, Троцкий жил все-таки еще в другое время. В каком-то смысле – до Сталина.

Сталин, в отличие от Троцкого, никаких идиотских программ не объявлял, но, тем не менее, зашел дальше чем кто-либо. Он не только подмял троцкистов, выступавших против самой сути жизни, но и саму суть жизни, против которой выступали троцкисты. Именно он сломал и уничтожил саму структуру народной жизни. Уничтожил крестьянство, а также еще больше церковью, монастырями и священниками, чем даже было уничтожено до него. (А до него, в начале двадцатых, был учинен тотальный погром религии, особенно Православной Церкви.)

Короче, до прихода Сталина к власти можно было еще говорить о реставрации, после его ухода можно теперь только мечтать о возрождении: реставрировать почти нечего. При нем «принцип партийности» только

укрепился, утвердился и отвердел, хотя сама партия (ее первый «идейный» состав) была уничтожена им.

Конечно, троцкисты в дальнейшем утверждении этого принципа не участвовали, они вообще вырвались открыто из тенет этого принципа, когда решили, что партия изменила своему назначению, но в первоначальном его оформлении и внедрении в жизнь они принимали, как уже говорилось, активное участие. Поэтому тот факт, что окончательное утверждение этого принципа отняло жизнь у многих друзей М. М. Иоффе и стало виной многих ее мытарств, не отменяет ни их, ни ее вины.

Впрочем, она до сих пор не понимает, что того, что она тогда делала, исходя из этого и во имя этого, надо стыдиться.

Хотя стыдиться ей, как будет видно из следующей главы, было бы чего.

## ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК

В октябре 1917 года большевики захватили власть в Петрограде. А через короткое время проиграли выборы в Учредительное Собрание. Получалось, что, как только оно соберется, они свою власть потеряют. Встал вопрос: «Что делать?» Т. е. каким именно путем власть никому не отдавать. Собственно, и вопроса не было – ясно было, что это «ненаше» Собрание надо разогнать. Да ведь внове все было. Все-таки вековая мечта российской интеллигенции, все-таки сами клялись, что чуть ли не для того только и власть захватывают, чтоб провести выборы в это собрание, а тут взять и запросто так – разогнать. Но никуда не денешься – надо. Решили готовиться, т. е. подготавливать общественное мнение. Направление сразу было выбрано правильное – клевета. Первым ее объектом была выбрана партия кадетов. На них легче было толпу натравливать – всякие профессора и вообще буржуи.

Тем более, при принципе партийности клеветать не страшно, на партийном языке это называется вскрытие сущности врага. Короче – приступили к разворачиванию операции. Поначалу им подфартило. Член ЦК партии конституционалистов-демократов (к. д. – кадетов), товарищ министра просвещения Временного правительства графиня Панина отказывалась сдать числящиеся за ней суммы кому бы то ни было, кроме правительства, законно избранного Учредительным собранием. Что было вполне законно – ведь большевики пока еще тоже признавали Учредительное собрание. Кстати, и закона, обязывающего сдавать Совнаркому все средства, ранее принадлежавшие Временному правительству, – не было еще, чего стоящий во главе этой инсти-туции юрист Ульянов даже и не заметил. Но закон мало кого из большевиков интересовал. Я думаю, что и возвращение денег интересовало их не в первую очередь. В первую очередь они были заинтересованы в том, чтоб пресечь такое открытое непризнание их захвата власти. А кроме того, в компрометации кадетов, а здесь всё: «графиня...», «денег не отдает...» – казалось, что очень годилось для этой цели. Короче, графиню решили арестовать, на ее квартиру были посланы красногвардейцы.

И тут большевикам опять повезло. Накануне у Паниной осталось ночевать еще несколько членов кадетского ЦК, и явившиеся утром красногвардейцы их застали. Они, правда, никаких денег не задерживали, но тоже были кадетами. И их тоже доставили вместе с графиней Паниной в святая святых – Смольный. А там стали размышлять (на «верхах»), что с ними делать. Решили самым естественным для себя образом – объявить «врагами народа», препроводить в Петропавловскую крепость и то ли судить их, то ли просто так держать до полной победы мировой революции (впрочем, как мы знаем, она тогда ожидалась в самые ближайшие дни). Так что тот жупел, которым самих этих энтузиа-

стов так бессовестно клеймили лет через семнадцать-двадцать, выдумали они сами (не знали только, что для самих себя, – впрочем, он и подходил к ним больше, чем, допустим, к кадетам, только не Сталину кого бы то ни было так называть).

Да и клеветническая кампания в печати была почти такая же, как потом о них, – столь же фантастическая и столь же наглая. В чем только не обвиняли бедных кадетов. Например, в устройстве монархического заговора. Основание? Во время какого-то обыска (не у кадета) был найден чей-то проект организации Учредительного собрания, предусматривавший должность председателя собрания сроком на один год. Причем тут кадеты и причем монархия? Да и заговор где? Неважно. Зато это нагнетало обстановку в духе, полезном для «партии».

Но это еще не самое пикантное. Что там монархический заговор – кадетов обвиняли еще в организации погромов винных складов. «Мели, Емеля, твоя неделя»... Если б неделя...

Потом уже люди перестали удивляться такой логике, она даже была частично вбита в сознание. Помню случайную сборную экскурсию из Сухуми в Новый Афон и рассказ экскурсовода о монастыре, о его невероятной хозяйственной деятельности. Завершался он просто: «А потом монахов по постановлению правительства отсюда выселили». – «За что?» – спросил кто-то. «За контрреволюционную деятельность», – последовал исчерпывающий ответ. Публика, только что восхищавшаяся изобретательностью и трудолюбием монахов, была вполне удовлетворена. Только моя жена зачем-то спросила: «А в чем она состояла, эта контрреволюция?» Публика удивилась: «Вам же говорят: „контрреволюция“...» Понадобилось много свинца, типографской краски, радиооболванивания, чтоб добиться у людей такой понятливости. В 1917 году ее еще не было.

Вот как воспринимал все эти откровения один из арестованных на квартире графини – виднейший кадет Шингарев: «Кто пишет подобные глупости? Безграмотные дураки? Или прожженные негодяи для дураков? Но ведь читать будут эту чепуху, и будут верить, и ничего не поймут – тысячи и тысячи людей. В этом весь ужас современного положения». То, что для нас привычно и естественно, для него, проявившего здесь зоркость, но не обладающего нашей благоприобретенной понятливостью, – конец света. Это массивное нагнетание бессмысленной лжи и было дорогой к концу света, т. е. к началу того мира, в котором я, как и миллионы других людей, родился, вырос и прожил жизнь. Это была мина замедленного действия, заложенная под свой и общий дом, общую и собственную жизнь.

Но сами большевики были тогда вполне победительны, уверены и не подозревали даже, что за эту разрушительную ложь придется расплачиваться. М. М. и теперь не понимает, что поплатилась (и страшно) именно за это. А ведь так все сходило с рук: кадетов держали в крепости, сколько хотели, «учредилку» – разогнали, демонстрацию в ее защиту – расстреляли, да еще как-то так, что она как бы из истории выпала, пока недавно Солженицын не вытащил ее на свет Божий. А то вроде ничего не было: ни демонстрации, ни ее расстрела, только Матрос-партизан Железняк и его: «Караул устал!» Все вышло. Но осечки случались. Например, вышла осечка и с открытым пролетарским судом над графиней Паниной, в котором очень оскоромилась и Мария Михайловна. А вышла она потому, что устроители суда, находясь в плену собственной демагогии, всерьез поверили, что они – партия пролетариата. Т. е. в то, что все, что ударяло тогда в их разгоряченное сознание, инстинктивно присутствует в каждой рабочей груди, рождается из классового опыта и «чутья». Поэтому они не только в судьи назначили рабочих, но и весь зал, всю рабочую аудиторию объявили судьями. Из

зала могли выходить обвинители и защитники. Естественно, они были уверены, что рабочие будут наперебой клеймить классово чуждую графиню. Упустили они, что «настоящее классовое сознание» есть только у недочувствующих студентов (и то не всегда). Потом они уже никогда об этом не забывали, потом они такого никогда не допускали, потом они судили уже не силами пролетариата, а только от его имени (Троцкий ведь речь против Щасного произносил тоже не иначе, как от имени пролетариата). Надежней получалось. И не только при Сталине (тем более, тот все больше судил от имени не пролетариата, а народа), а уже и во всю эпоху гражданской. Как говорится, на ошибках учимся.

Короче, упустили большевики, что их всех петроградские рабочие то ли знают, то ли нет, а графиню Панину, наоборот, знали все. Ведь это была та самая графиня Панина, которая, как говорит сама М. М., больше чем кто-либо сделала для пролетарской бедноты Петрограда, организовав знаменитый в столице Народный дом. «Был там бесплатный рабочий университет, курсы для женщин, ставились пьесы, Панина приглашала сюда выступать театры. Она собрала специальный фонд помощи бедным...» То, что большевики понимали в данном случае как классовое сознание, было бы на самом деле черной неблагодарностью. Впрочем, большевики отрицали частную благотворительность. И не принимали ее в расчет. А зря...

Итак, судьи заняли свои места. Председатель – рабочий Жуков, слева – двое рабочих с завода Эриксона. В зале – пролетарии. В зале же – и Мария Михайловна Иоффе, присланная из Смольного, из отдела печати, чтоб записывать процесс. Ей суждено сыграть на этом процессе решающую роль, но она еще не знает об этом.

Ввели графиню. «И вот она входит, высокая, приятная женщина в черном платье, – вспоминает Мария Михайловна, и чувствуется, что эта графиня до сих пор симпатична нашей революционерке, – а навстречу подни-

маются два бородатых рабочих из публики, кланяются ей до пояса: „Спасибо, матушка-графиня!.. В черную годину царизма (не знают они еще черных годин, узнают! – Н. К.) только ты одна о нас заботилась... Да святится имя твое!..“» Да, «немарксистьсьское», как сказал бы Галич, получилось начало... «Ох, немарксистьсьское»... Дальше – больше. Дальше вступает в строй предшественник яшинских «рычагов». «Рабочий Жуков спрашивает: „Кто желает обвинять?“ Все молчат. „Кто желает защищать?“ Все поднимают руки».

Картина величественная, достойная быть предметом национальной гордости. Это то, что большевики извели потом под корень. Это те мужики из подгородных киевских сел, которые оправдали Бейлиса. Оправдали, потому что он был не виноват. А теперь бы? Теперь бы вызвали народных заседателей куда надо. Сказали бы: «Товарищи, дело очень сложное, деликатное, ответственное. Но вам мы можем его доверить». И сбитые с панталыку «товарищи» признают черное белым не задумываясь – и даже не из корысти, а единственно, чтоб оправдать доверие. Ведь в залах «открытых» процессов публика возмущается подсудимыми почти искренне. Подобранная? Но ведь и присяжные на процессе Бейлиса были тоже подобраны прокуратурой. А не вышло...

Марии Михайловне и самой сегодня нравится все это: и сама графиня, и осанка ее, и бородатые рабочие, и реакция зала. И мудрено, если б не нравилось после той низости, через которую ей пришлось пройти. Я подозреваю, что в каком-то смысле ей и тогда все это нравилось. Но просто она уже была приучена не считаться с естественными реакциями, она – «дело делала». Когда-то такое отношение к «делу» сильно облегчало позицию лично никому не приятного Евно Азефа, виднейшего провокатора и террориста. Но в тех высокоумных кругах, куда к тому времени попала М. М., этот факт так и не был осознан (вспомните разговор в семье

Иоффе о Радеке). Впрочем, больше всех нравится в этой истории нашей мемуаристке она сама – во всей полноте юных чувств и реакций. К сожалению, мы никак не можем разделить этого ее отношения к себе и к своим тогдашним горячим чувствам, а тем более – действиям. Вот что она сама, захлебываясь, рассказывает об этом:

«Я не могла усидеть, – вспоминает она. – Ведь рядом буржуазные журналисты из „Нового времени“, „Речи“, „Дня“... Я ведь все принимала близко к сердцу, за все отвечала...». Вот какие духовные страсти! Но, видимо, и ее учителя тоже не могли усидеть рядом с такими органами печати, тоже всё принимали близко к сердцу. Во всяком случае, лет через десять, когда вырвавшаяся из их рук власть принялась за них самих, некому было уже и голос подать в их защиту: все эти «буржуазные» органы были закрыты давно – самими этими людьми. Так что хорошо поработали товарищи себе и всем на погибель. К сожалению, как уже сказано выше, и Мария Михайловна тоже. Вот что она сделала, «за все болея, за все отвечая», когда стало ясно, что мероприятие проваливается: «Тогда я срочно шлю суду записку: „Жуков, делай перерыв“. Он послушно встает и говорит: „Объявляю перерыв“». ...Как говорится, диктатура пролетариата налицо: семнадцатилетняя сопля управляет взрослым квалифицированным человеком, и он безропотно выполняет ее распоряжения, «потому что она из Смольного» и, возможно, понимает, что здесь происходит и что ему делать. Ведь процесс-то тоже устроили «люди из Смольного». Жуков фактически выходит из игры, а юная энтузиастка начинает самозабвенно творить историю: «Я оббегаю кругом зал, влетаю в комнату судей и оттуда звоню в Смольный: „Ради Бога, найдите кого-нибудь, посадите в машину и пришлите какого-нибудь обвинителя, никто не хочет обвинять“».

Полубуйтесь, какая свобода и легкость творчества! Все комнаты судей перед ней распахиваются, все

Жуковы останавливают процессы, все конфискованные автомобили срываются с мест в такт ее вдохновению... И все это для того, чтоб уже фактически оправданную по условиям ими же выдуманного суда «высокую приятную женщину в черном платье», ждущую в зале решения собственной участи, женщину, которой эта семнадцатилетняя студенточка, судя по всему, и в подметки не годится, – все-таки не отпустить, засудить. И ее засудят. Суд будет подлый, демагогический, все будет шито белыми нитками. Но это будет бледной копией того суда, который она же в этот же момент – «все принимая к сердцу, за все отвечая» (и все подтасовывая) – устраивает самой себе – в будущем. Ей до сих пор непонятно, что все это ее упоение – не более чем преступное достижение радости и полноты жизни за чужой счет. Да и за счет судьбы всего общества – в чем ей дали полную возможность убедиться.

Она не только не раскаивается в совершённом, она и сегодня хвастает перед нами тем, как ловко и вдохновенно помогла совершить тогда этот грубейший подлог. Судя по всему, это звездный час ее жизни. Разное иногда принимают люди за звезды.

Дальше все пошло гладко. Из Смольного в ответ на ее призыв срочно прибыл другой рабочий, иного склада, чем Жуков, – будущий заместитель Троцкого по наркомвоенмору Наумов. В отличие от простоватого Жукова, этот «рабочий» сразу берет суд в свои руки. Он быстро меняет тактику. Натравить зал на Панину не удастся, надо спасать, что возможно. И тогда возникает: «Мы судим не ту графиню Панину, которая строила Народные дома, а ту, которая не отдает народу взятые у него деньги». Все это вранье. Графиня Панина была членом ЦК партии кадетов, а они были объявлены врагами народа. Так что судили, пытались скомпрометировать именно ту самую – просто силы свои переоценили и теперь эластично откатываются назад: не удалось за другое, будем хотя бы за деньги. Кстати, тут в мемуарах

впервые появляется тема возврата денег как цели суда, даже в воспоминаниях они занимают не первое место. Но приговор касался исключительно их: «Объявить графине Паниной общественное порицание и держать в заключении до тех пор, пока не сдаст деньги».

Все было проделано ловко. Неискушенные люди растерялись: «Деньги какие-то... Бог с ними, с деньгами, пусть отдаст и будет свободна». Да и приговор, оказывается, идет об условиях освобождения, а не о чем-либо другом, страшном, от чего пришли защищать...

Тем не менее, я убежден, что пусть смутно, неосознанно, но у каждого из присутствовавших рабочих осталось ощущение, что их каким-то образом обвели вокруг пальца.

Ведь они все, как один, пришли защищать Панину, а проголосовали за какой-то странный приговор, ее к чему-то обязывающий.

Вот оно, знаменитое большевистское мастерство демагогии, околпачивания, это их умение внушить людям недоверие к их собственному здравому смыслу, чем потом так мастерски пользовался Сталин... Приемы примитивны, но трудно так сразу поверить, что представители власти: толковый рабочий, свой брат, простецкий мужик и миловидная барышня, на вид явно бескорыстная, могут так бесстыдно на глазах у людей заниматься обманом и подлогом. К этому все-таки привыкнуть надо было...

Итак, представительница «пролетарской» партии при проведении «необходимой пролетариату» акции наткнулась на упругое сопротивление этого самого пролетариата. Тут было от чего смутиться. Но, видимо, принадлежность к самым умным, все знающим, овладевшим теорией действовала на нее сильнее, чем здравый смысл, и зрение, и слух. И она еще сегодня одаривает нас, вероятно, сохранившимся в памяти с юности объяснением события: «К первому заседанию народного суда готовились не столько большевики, сколько

меньшевики и эсеры. Они организовались и сделали так, что почти весь зал состоял из их сторонников». ...Вот так. Всё интриги. Просто диву даешься, до чего сильны были меньшевики и эсеры в Петрограде на исходе семнадцатого. Только странно, что они власть так легко упустили – да еще при такой способности «организовываться». Правда, за несколько недель большевики уже могли изрядно надоесть рабочим и, наверно, надоели, но так тогда и надо говорить. А если весь зал «организованный», так с чего он вдруг потом растерялся перед «рабочим» Наумовым? Да и вообще – когда это меньшевики и эсеры предпринимали акции в защиту кадетов? Если б они были способны понимать, что главный их враг может вполне стоять на общей с ними социалистической платформе и радостно праздновать Первое Мая, а, наоборот, у буржуазных кадетов есть с ними общие ценности – не видать бы большевикам власти, как своих ушей. Но они этого не понимали вплоть до того дня, когда были запрещены их партии, а многие и позже. Да и вообще не похожи эти бородачи из зала на людей, «организованных» какой бы то ни было партией. Меня вообще поражает уверенность Марии Михайловны, что люди, которых она вслед за ее учителями взялась облагодетельствовать, могут быть только инертной массой, которую кто-то «организовывает». То, что они сами способны на живое чувство благодарности или справедливости, ей просто не приходит в голову. Правда, она видит, что это так, помнит, что это так, описывает их такими, но примитивное объяснение, удовлетворявшее ее в дни молодости, по-прежнему имеет над ней власть. Имеет, несмотря на ее лагерный опыт, который она вынесла не благодаря марксистской «классовой солидарности», а потому что везде встречала людей, умевших оставаться людьми. Она знает это, но как только речь заходит о годах ее юности – забывает. Иначе это потребовало бы от нее пересмотра всей молодости и жизни, всего, чему она оставалась верна в

обстановке массовой клеветы и террора, всего, что все эти страшные годы поддерживало ее существование. На это у нее сил, по-видимому, нет, и, всё вспоминая честно, она, как мы видели, вспоминает это вместе с теми объяснениями, которые ее успокаивали тогда. Это по-человечески понятно, но никак не может никого устроить. Содеянное такими, как она, слишком страшно – и по последствиям, и просто как человеческое поведение – и требует недвусмысленного покаяния. Но это живой факт психологической истории советского коммунизма, живой осколок той психологии, которая теперь в нашей стране не встречается и часто непонятна. И поэтому я убежден, что к этому факту нам при любых взглядах нужно отнестись с максимальной внимательностью.

Интересен конец этой истории, которую, что ни говори, выдать за победу было невозможно. Но ведь Мария Михайловна была партийным журналистом и обязана была написать очерк об этом суде. Как же писать? С этим вопросом она и зашла после суда к Ю. М. Стеклову, старшему и многоопытному товарищу, впоследствии многолетнему редактору «Известий». И вот что ей ответил старший товарищ в те чистые, безоблачные, романтические дни: «„То есть как вы не знаете? Журналист не имеет права не знать, что писать. Есть общество, ассоциации, примеры истории, есть мысль. Мы узнаём этих молодчиков, это те самые, которые во время Парижской Коммуны – так называемая золотая молодежь (это бородачи-то! – Н. К.) – шли на собрания, не давали ораторам говорить, избивали рабочих...“ – вот, с чего нужно начать».

С этого и начали. Чем кончили – теперь хорошо известно... А чем вообще кончится то, что начали, – никто и теперь знать не может.

Кшиштоф Ежевский

## ПОЛЬША ПОСЛЕ ПАПЫ

ОТ РЕДАКЦИИ: Публикуя статью известного польского журналиста (выступающего в подпольной и эмигрантской прессе под псевдонимом), мы продолжаем начатое статьей А. Безансона обсуждение отношений Церкви и коммунизма в современном мире. Хотя помещаемая статья написана почти год назад, поднятые в ней проблемы положения и позиции Церкви (в частности, Польской Католической Церкви) при коммунизме не только не потеряли своей актуальности, но, наоборот, обострились. Поэтому статья, конкретно посвященная прошлогоднему паломничеству Иоанна-Павла Второго, на наш взгляд, отнюдь не устарела.

### 1. ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ

Мы ждали чуда, а чудо — прибежище бессильных. Польша после папского визита должна была стать чем-то совершенно иным, нежели страна, усмиренная войсками Ярузельского. Должны были загореться новые огни, открыться новые пути, по которым нас повел бы новый дух. А главное — плотью должно было стать столько раз преданное слово *соглашение*. Во имя этого визита, в заботе, чтобы он состоялся, — мы не раз отменяли демонстрации, погружались в смирное молчание, принимали аргументы церковных иерархов, без конца повторявших: «Успокойтесь, не то они сорвут визит!» С чем мы остались сегодня? Кто вышел победителем из этого полуторалетнего поединка за приезд Папы? Что оставил нам Папа? Какие огни, какие пути?

### *Господь даст силу Своему Народу*

— этот стих Псалмопевца в переводе Милоша, высеченный на гданьском памятнике погибшим рабочим верфей, может служить эпиграфом к папскому визиту. Там, где народ собирался на богослужения, мы сами могли лучше всего оценить силу миллионных масс, устремившихся, в конце-то концов, на церемонию литургическую, но безошибочно отвечающих овациями на все политические аллюзии и патриотические сравнения в религиозных проповедях единственного несомненного вождя поляков. Не имея возможности голосовать иначе, люди голосовали против режима, за Папу и за «Солидарность» украшенными окнами и всеобщим поднятием руки в жесте победы\*. Эту силу породили вера, воплощенная в личности Иоанна-Павла II надежда, религиозные и национальные ценности, о которых нам всем, а также нашим правителям Святой Отец твердо напоминал. Да, с этой точки зрения, Господь действительно дал силу Своему народу, и в этом разрезе написаны все комментарии, посвященные этому визиту. Эту тему можно развивать долго и ограничиться ею, что большинство комментаторов и делает, в некоторых случаях сравнивая нынешний визит с предыдущим, который уже через год принес урожай августовской победы. Таким образом, надежда на национальное чудо вновь вступила в действие на неопределенный срок.

Хорошо, что мы продолжаем надеяться, что мы ищем обоснований своей надежде. Дарованное нам Папой прекрасное восьмидневное путешествие в мир надежды, в мир фундаментальных человеческих и христианских ценностей было необходимо измученному народу. Но теперь — именно обладая надеждой —

---

\* Возродившийся во время «польско-ярузельской войны» жест времен Второй мировой войны — пальцы, расставленные буквой V. — Пер.

мы должны отважиться безжалостно честно взглянуть на сегодняшнюю польскую действительность и сделать рациональные выводы. Тем более, что, как учит история, чудеса случаются только тогда, когда этому помогают люди.

## 2. ЖЕСТКОЕ ПРИЗЕМЛЕНИЕ

На политические вопросы поляков Папа дал религиозный ответ. Другого дать он и не мог, и не должен был: не для того существует Церковь. Однако чем крепче утвердилась вера и чем шире стала убежденность, что нынешние властители Польши нарушают те фундаментальные человеческие ценности, о которых в религиозно-нравственной плоскости говорил Папа, — тем острее стоят оставшиеся без ответа политические вопросы. Поэтому наше коллективное возвращение из общего с Папой путешествия надежды — приземление жесткое и политически малоутешительное. Папа уехал — «Ворона»\* осталась. Еще на мгновение в краковском вечернем небе проплыл мыльный пузырь соглашения, когда прозвучало коммюнике о дополнительной встрече Иоанна-Павла II с Ярузельским, но если в чьей-то полной надежд голове и зародились грезы, то в тот же вечер этому мечтателю дубинкой вбили науку о том, что мы по-прежнему живем в границах Варшавского договора. Решения об основных очертаниях будущего внутри этих границ принимаются в Кремле, а не на Вавеле.

Несмотря на свой, признаваемый тем же ВРОНОм авторитет, Папа не добился ни освобождения осужденных, ни профсоюзного плюрализма (а ведь Папа

---

\*Военный совет национального спасения, правящий орган во время военного положения, по-польски сокращенно называется WRON, а *wrona* — ворона. Поэтому с первых дней военного положения партийно-генеральскую хунту все стали называть «вороной». — Пер.

выступал за него ясно и официально как в энциклике «*Laborem exercens*», так и в своей прошлогодней речи на ассамблее МОТ), ни даже официального соболезнования по поводу смерти Гжегожа Пшемыка\* и налета гебистов на монастырь и помещающийся в монастыре центр благотворительной помощи. Как нарочно, прямо во время пребывания Папы в Ченстохове был распущен тамошний Клуб католической интеллигенции, а двумя днями позже — Союз польских художников.

В папских проповедях нет ни слова в защиту делегализованной и преследуемой «Солидарности», нет ни слова прямой критики по адресу властей. Всё, что так возбудило нашу надежду и добела раскалило наши настроения, совершалось в сфере разговора о ценностях, нравственности, истинах веры или, в крайнем случае, о национальной традиции. Папа воздал Богу Божье, молчаливо оставляя генералу все остальное. С этой точки зрения, никто не остался в проигрыше, и все могут быть довольны, включая главу ВРОН.

Наивно, впрочем, было и ожидать чего-то другого — так же, как наивно было бы сердиться на Папу, что он, мол, не сказал побольше да посильнее. О том, каким головокружительным хождением по проволоке было это труднейшее паломничество нынешнего понтификата, каким тяжким было это одинокое единоборство человека в белой сутане с режимом, — говорит хотя бы показанная по телевидению картина его завершения. Вот Папа возвращается правительственным вертолетом после разговора с ненавистным пра-

---

\* Гжегож Пшемык — 19-летний варшавский школьник, зверски избитый милицией и скончавшийся от ран, не приходя в сознание. За две недели до этого, накануне 1 мая 1983 (когда «Солидарность» организовала независимые демонстрации), он был арестован на 48 часов вместе со своей матерью, поэтессой Барбарой Садовской, членом Комитета помощи при Примасе Польши (именно на центр помощи этого комитета в монастыре св. Мартина был организован гебистский налет 3 мая, упоминаемый далее). — П е р.

вительству Валэнсой, а окружающие Его Святейшество сотрудники госбезопасности и улыбающиеся офицеры много дали бы за возможность узнать, о чем говорилось во время этой встречи, к устройству которой, к тому же, им самим пришлось приложить руку. Однако об этом не говорится ни слова, как и о вчерашнем избиении демонстрантов в краковской аллее (попен омен) Мира. Армия, которая душила «Солидарность», выстраивает почетный караул перед духовным отцом «Солидарности». Папа произносит прощальную речь, в высшей степени взвешенную, но даже та небольшая, наверняка отобранная группа верующих, которую допустили в аэропорт, безошибочно вылавливает аллюзии — даже там, где их, пожалуй, и не было. Наконец, Его Святейшество благодарит сотрудников тайной полиции за попечение и — тут мы с облегчением вздохнули — не обменивается поцелуем всё с тем же самым Яблонским\*.

Да, верна истина, которую несколько раз напомнил Папа, цитируя латинское высказывание Яна Собесского под Веной: «Пришел, увидел, Бог победил». Только вот Бог по-прежнему остается в небесах, а здесь — земля.

### *3. ХЛОПОТЫ ВЛАСТЕЙ*

Оставим небеса в покое — займемся земным. Чтобв действительно, как мы предлагаем, извлечь рациональные выводы, надо проанализировать положение трех основных сил сегодняшней Польши: во-первых, властей (намеренно употребляю множест-

---

\* Хенрик Яблонский — председатель Государственного Совета, т. е. формальный глава государства в ПНР. — П е р.

венное число, ибо речь и о Кремле, и о Доме партии\*, а может, и о нынешнем торговом атташе посольства ПНР в Берлине Тадеуше Грабском\*; во-вторых, Церкви и, в-третьих, «Солидарности», причем не только подпольной, но понимаемой также как те человеческие массы, что не смиряются с навязанным произволом.

Мы живем в рушащейся системе. Здесь не место для детального анализа — интересующихся можно адресовать к статьям, не раз публиковавшимся в подпольной прессе, причем самые существенные из них те, что касаются обостряющихся социально-экономических проблем коммунистической системы. Без идеологии она может прекрасно обойтись, а давным-давно мертвая вера в передовое учение играет лишь роль торжественного обряда. Зато эта система в ее нынешнем виде неспособна разрешить всё более острые экономические проблемы, не умеет повысить жалкую экономическую эффективность, пробудить у людей заинтересованность, устоять в вынужденном (и неслыханно важном для области вооружений) соревновании с Западом в самых современных отраслях техники.

Это, кстати, не первая в истории общественная формация, которая заскорузла в прежних, тормозящих развитие структурах власти и тем самым приговорила себя к постепенному упадку; он, вне сомнения, будет долог и страшен, но он неизбежен. Польша же в этой системе — звено, наиболее затронутое этим оползнем, место, где противоречия проявляются острее всего. Великий шанс реформ и эволюции, который открылся

---

\* «Дом партии» (как в СССР «Старая площадь») — разговорное определение ЦК партии по месту его пребывания. Тадеуш Грабский — член ЦК, один из представителей наиболее твердолобых догматиков (тех, кого в Польше называют партийным «бетоном»). — Пер.

перед советским блоком после 1956 г. и запоздалым эхом отозвался в 68-м, давно уже безвозвратно упущен. Ревизионисты, которые представляли собой лучшее внутри коммунистической идеологии и стремились реформировать систему с верой в существование «лучшего» коммунизма, как течение уже скончались. Польский 1980 год впервые выявил в рамках блока новое, отличное от ревизионистов течение протеста и недовольства, которое не стремится исправлять коммунизм, исходит же из совершенно иных (христианских!) ценностей и создает свои структуры рядом с системой, а не внутри ее: с системой оно может, самое большое, заключить прагматический договор. Этого положения не изменило и «движение снизу» внутри ПОРП, отчасти исходившее из старых ревизионистских эмоций, большей же частью — из рационального, внеидеологического прагматизма. Его время истекло еще до Августа.

Это новое течение, которое при любом удобном случае либо особенно глубоком кризисе обнаружится и в других странах блока, — не имея намерения исправлять систему, в конечном счете намеревается ее свергнуть. А такой духовный настрой, такая убежденность масс — как бы их ни подавляла власть, как бы ни использовали провокаторы — в истории всегда вели к значительным порывам и означали начало конца, даже если волнения затягивались на десятилетия.

Разумеется, нельзя исключить, что в Кремле будет принято решение в пользу реформ, что среди личных интриг и дворцовых переворотов появятся люди, пытающиеся реформировать систему во имя ее будущего. Были же среди советского правящего слоя (не говоря о польском) отдельные группки, с надеждой поглядывавшие на наш послеавгустовский эксперимент. Но нельзя исключить и совершенно другого решения — жесткого, неосталинского, даже военного. Змея кусает лишь в смертельной опасности.

Однако в сегодняшней трехполюсной системе великих держав: СССР, США, Китай — одно, по крайней мере, не вызывает сомнений: тот, кто начнет атомную войну и даже победит первого противника, выйдет из нее таким чудовищно ослабленным, что окажется легкой добычей третьего. Именно с этой точки зрения положение СССР самое худшее, и возможно, что именно существование самостоятельного — независимого как от СССР, так и от США — Китая до сих пор не позволило Кремлю на поле боя искать свою ускользающую возможность мирового господства.

Но выбор реформ не менее опасен, чем военный: любая либерализация — особенно после восемнадцати лет консервативного, замораживавшего все проблемы правления Брежнева — высвободила бы лавину противоречий, требований, взрывчатых столкновений внутри советского блока. Москва и ее политика стоят сейчас на страшном распутье, и старый, больной Андропов со своими полицейскими подручными — вряд ли окончательное решение\*. Реформаторские, пусть бездарные и плохо кончившиеся, старания Хрущева тоже прорезались после нескольких лет схваток за сталинское наследство — так и Андропов может оказаться лишь тем, кем 30 лет тому назад был Маленков, Каганович или Булганин. Во всяком случае, чем дольше Москва остается при существующем положении, тем больше углубляет она падение своего могущества.

Хотя Кремль, чтобы спасти свое господство, в перспективе располагает выбором между реформами и балансированием на краю войны (или прямо войной), в ближайшее время он будет пытаться склонить Запад вернуться к политике разрядки, будет использовать противоречия и различия позиций западных

---

\* Что и подтвердилось: Андропов умер, пробыв на своем посту меньше, чем легально просуществовала «Солидарность». — Ред.

государств, а главное — употреблять в своих целях тот дух сговорчивости и уступчивости (не дух ли Мюнхена?), которым сейчас полна в особенности Западная Европа. Это дало бы Москве передышку в гонке вооружений, облегчило бы приток кредитов и технологии, позволило бы по-прежнему подрывать Запад войнами и революциями в Третьем мире и, несомненно, направляемым терроризмом в самом сердце Европы.

С этой точки зрения, политика Ярузельского в Польше — наиболее совершенное осуществление советских интересов, поскольку она направлена на то, чтобы умиротворить общество с возможно наименьшими затратами репрессий, а одновременно показать и польскому обществу, и Западу, что ВРОН — наименьшее зло по сравнению с рвущимися к власти и к репрессиям партийными твердолобыми. Так что, если бы товарищ Грабский, Коцёлэк и др. не существовали, их следовало бы немедленно породить вместе с товариществом «Грюнвальд»\*; власть, выдающая себя за относительно либеральную, не может справа от себя иметь лишь глухую стенку: в качестве пугала она нуждается в «тех, что еще хуже».

И, тем не менее, после полутора лет военного положения (его временная отмена в декабре 1982 г. не отменила репрессий) банкротство линии Ярузельского все более и более очевидно. Она не привела к умиротворению общества и не свела подполье к политическому фольклору. Она не подняла народное хозяйство. Она не обманула Запад, который по-прежнему сохраняет экономические санкции (почти нечувстви-

---

\* Товарищество «Грюнвальд» впервые заявило о своем существовании в марте 1981 г., в годовщину мартовских событий 1968-го, устроив антисемитскую демонстрацию. Оно было зарегистрировано как легальное без всяких помех и существует до сих пор. В его руководстве преобладают партийные «твердолобые» и околопартийные прихлебатели. — П е р.

тельные для СССР, но сильно ощущаемые польской экономикой). Повторение «линии Герека», основанной на подкупе общества повышением зарплаты и доступом к материальным благам, из-за нехватки средств возможно только в отношении узких профессиональных групп (шахтеры). Перед лицом этого только грабские и коцёлэки, предлагающие себя Москве как более умелые и безоглядные исполнители ее воли, — единственная альтернатива, сама себя усиленно выдвигаящая.

Папский визит еще больше усугубил и сделал особенно зримым провал политики Ярузельского, показав всему миру и самим полякам, кого поддерживает общество, утвердив в нравственно-религиозном плане дух неприятия и сопротивления. Но в то же время он стал огромным и, быть может, последним шансом Ярузельского: если бы благодаря посредничеству Ватикана ему — этому «менее опасному» наместнику Москвы в Варшаве — удалось достичь хотя бы частичной отмены экономических санкций, он обрел бы неожиданную и весьма полезную поддержку. Если грабские и коцёлэки имеют в Кремле своих могущественных покровителей, они, тем не менее, были бы крайне неудобны для Кремля в эпоху все еще продолжающихся хлопот о разрядке, еще не утерянного шанса в вопросе о ракетах, а в особенности перед лицом президентских выборов в США будущего года. Здесь Кремль рассчитывает на поражение Рейгана (у которого немало трудностей во внутренних делах) и приход к власти демократической партии, видные представители которой (например, недавно — Бжезинский) выступают за отмену санкций и умеренную политику по отношению к СССР.

«Линия Ярузельского», хоть и не исполнила вложенных в нее надежд самого генерала и его кремлевских командующих, должна продолжаться так долго, как долго Москва будет стремиться к разрядке или

хотя бы к сохранению видимости перед Западом. Таким образом, нам в Польше достается режим в состоянии разрухи, исключительной даже для рушащейся системы, — власть, которая мечется между пустыми жестами псевдосоглашения и репрессиями, а на самом деле не способна ни на то, ни на другое и все более отчаянно заштукатуривает ложью всё более глубокие трещины своего фасада. Экономика будет прозябать на холостом ходу, и даже в Кремле будет нарастать глухая злоба к очередной бездарной команде, неспособной усмирить «польский мятеж», при полной невозможности заменить руководство другим, не меняя генеральную политическую линию советского государства. Западу (по крайней мере, приобретающей сейчас все большее влияние консервативной части западного общества) эта безвыходная ситуация Польши тоже может оказаться на руку — как незаживающая рана в центре враждебного блока, вечно тлеющий очаг бунта; можно согласиться, что это даже не наихудшее место вклада 27 млрд. одолженных долларов. О настроениях польского общества писать не приходится.

Конечно, вампир неосталинизма кружит не только над Польшей, однако его клыки уже сильно затуплены временем и ходом социальных процессов. Настоящий сталинизм, даже в смягченном польском варианте 50-х годов, требует чего-то большего, нежели просто на все готового вождя, спускающего с поводка свору платных палачей. Он, прежде всего, требует слоя беззаветно верующих — их он вербует в свой аппарат, на них опирает свою разрушительную силу. Такое идейное просоциалистическое меньшинство существовало в Польше после войны. Обычно это были не коммунисты как таковые, но простые люди, уверовавшие в побуждавшие воображение эгалитарные лозунги нового строя. Теперь этой формации давно нет, остался только наемный, совершенно безыдейный, трусливый аппарат власти. Те умели разговаривать с бастующими

рабочими, потому что сами из рабочих вышли, они были аскетичны и неподкупны, а когда требовалось, умели погибнуть за свой красный партбилет и за отуманивший их миф. Нынешние же умеют только покрывать на «встречах партактива», косо позыркивая, достаточно ли плотен стерегущий их милицейский кордон; они сильны, когда идут вдсятером на одного, а оказавшись один на один с противником, смываются или же хватаются за тайно носимый за пазухой образок. Сталинизм требовал, чтобы жертва и палач одинаково верили хотя бы в то, что оба они участвуют в чем-то важном. Сегодняшний неосталинизм был бы системой репрессий без веры, без убеждения, без собственного риска, наверно и с подмигиванием, всего лишь подтверждая тезис Маркса о том, что общественная формация может повториться лишь как фарс.

Все это не значит, что он невозможен. Его шансы растут вместе с разочарованием Москвы и уменьшением надежд на международную разрядку. Для этого не надо даже менять первого секретаря ПОРП — достаточно убрать из генеральского окружения «слюнтяев», вроде Раковского, и приставить к нему «испытанных товарищей». Роль Ярузельского тогда напоминала бы роль ген. Свободы в процессе гусаковской «нормализации» в Чехословакии. Но то были другие времена, экономическое развитие шло вперед с невиданной скоростью, советский блок еще обладал резервами, а Запад был полон уступчивой мягкости. Сегодня неосталинский эксперимент не разрешит никаких проблем ни в масштабах блока, ни даже одной Польши, он не остановит безжалостно развивающихся процессов разложения и упадка, не усмирит рабочих, не уничтожит крестьянство, ни Церковь; на все это понадобились бы прежние, здоровые клыки, и правы сегодняшние сиротки Великого Языковеда, сетуя, что исток польских несчастий — в «незавершенности процесса построения основ социализма в 50-е годы». Тог-

да это, действительно, было еще кое-как возможно, хотя, разумеется, ценой сотен тысяч жертв и всеобщего голода. Сегодня из всего арсенала польскому неосталинизму, если таковой осуществится, осталось одно — репрессии против интеллигенции. Этот социальный слой наиболее беззащитен, в то же время здесь легче всего одних посадить, других выгнать с работы, третьих — возвысить; словом, тут нетрудно добиться быстрых, демонстративных успехов, дающих власти иллюзорное ощущение победы.

А как раз рушащиеся группы власть предрежащих нуждаются в иллюзорном успехе и иллюзорном прогрессе, раз их уже не хватает на настоящий.

#### *4. БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА ЦЕРКВИ*

Одно из сегодняшних польских заблуждений — отождествление Католической Церкви со всем, что только есть лучшего, с самыми благородными нравственными ценностями, с устремлениями угнетаемого общества. Такое отождествление возможно лишь в духовном плане, ибо Церковь — держательница истин веры и христианских нравственных ценностей. Но Церковь — это и существующий почти два тысячелетия земной институт со своей собственной иерархией и со своими собственными земными целями, которые, разумеется, не ограничены одной Польшей, даже в эпоху польского понтификата.

В наших условиях Церковь — более того, единственный независимый институт в рамках сегодняшнего государства, и ничего удивительного, что к ней устремлены светлейшие надежды и что вокруг нее сплетается заблуждение из желаний, перерастающих ее возможности. Тем временем, Церковь как институт (только о такой мы здесь будем говорить) хорошо знает, что в подорванной коммунистической системе,

где растоптаны и осмеяны все мирские ценности, включая самое идею социализма, где какие бы то ни было независимые организации не имеют права существования, — только она, Церковь, предлагает людям нечто привлекательное и ценное в духовной сфере. В Польше ведь ходят в костел не только потому, что верят в Бога, но еще и назло партии. Даже если нас возмутит очередное примиренческое высказывание кардинала Глемпа, мы все равно пойдем в костел — куда же еще?

В коммунистических странах церкви всех вероисповеданий битком набиты верующими — в западных демократиях они сражаются с равнодушием и обмирщением масс, страдают от нехватки кандидатов в священники. Будущее Церкви лежит в Восточной Европе, а нынешний понтификат порожден не симпатией кардиналов к Польше, не их высокой оценкой кардинала Войтылы на конклаве 1979 г., но тем, что они поняли необходимость поворота лицом к европейскому Востоку. И Церковь не заинтересована ни в изменении строя (которое, к тому же, было бы связано с насилием и страданиями), ни даже в реформе устройства, которая вдохнула бы (впрочем, возможно ли это теперь?) новую жизнь в шатающуюся систему; она заинтересована в сохранении этой ни на что не способной, кривобокой формации, в том, чтобы отодвинуть ее падение в неопределенное будущее. Церковь не хочет неосталинизма, страданий, мученичества (ни своего, ни чьего бы то ни было) и точно так же не хочет революции. Но если это так, то две самые могущественные в сегодняшней Польше силы встречаются, и хотя исходят они из совершенно разных ценностей, устремляются к совершенно разным целям, относятся друг к другу с гневом и недоверием, но на почве временного и брэнного им по дороге.

Традиционная коммунистическая партия была организацией идейной, провозглашала атеизм и сража-

лась за души людские, поэтому ее союз со сражающейся за те же души Церковью был невообразим. Другое дело — безыдейный «армейский коммунизм»: генералы хотят лишь править государством — дух их не интересует. У них даже нет точек столкновения с Церковью, если только та оставит вне сферы своих интересов вопросы государственной власти, удовлетворяясь полнотой духовной власти. А если бы еще такая Церковь могла хоть потихоньку (раз более гласно это ей делать невыгодно) подпереть это рушащееся государство? Именно здесь истоки возражений и опасений в кругах партактива по поводу «флирта» генералов с Церковью и папского визита. А если бы такая Церковь показала, что она сама и данные ей концессии в сфере духа — необходимое, неизбежное условие общественной стабилизации в Польше, что именно она держит руку на спусковом крючке общественных настроений, умеет утихомирить народный гнев, не допустить забастовок, разрядить накопившееся отчаяние и разочарование побежденных? Тогда Церковь могла бы оказаться необходимой не только для спасения расшатанного режима в Польше, но и... Все возможно, институт, во главе которого ныне стоит Папа-поляк, целит далеко и глядит широко, перспектива его — целые поколения, а не время одной человеческой жизни. Экуменическое сближение с православием, в то время как в СССР очевиден прилив религиозных настроений, могло бы принести Римскому епископу не одну только католическую Литву. С этой точки зрения Польша необычайно важна не только потому, что Папа — поляк, но прежде всего потому, что успех Церкви в роли института стабилизирующего, разряжающего общественное кипение и одновременно укрепляющего нацию в христианских ценностях, поставил бы на повестку дня подобную роль и вне Польши.

Быть может, недалеки времена, когда коммунист-

тическим властителям придется — скрежеща зубами — признать людей в сутанах партнерами в переговорах исторического значения. Конечно, не задаром. Но наверняка они предпочитают этих партнеров, а не народных вождей, выкованных в водовороте и кипении революции. Союз трона и Церкви не нов в этой части Европы.

## 5. ДРАМА «СОЛИДАРНОСТИ»

Лозунг «Весна наша»\* оправдался, но не так и не тогда, как предполагали наши горячие головы. Хотя поражение плана всеобщей забастовки в ноябре 1982 г., казалось, предвещало конец организованного профсоюзного подполья, новая весна принесла решительную радикализацию общественных настроений, проявившуюся хотя бы в независимых первомайских демонстрациях. Эту радикализацию подтверждают даже официальные (хоть и строго засекреченные) результаты опросов общественного мнения. Великий антиправительственный политический плебисцит, каким стало паломничество Папы, сделал эти настроения очевидными для нас всех и для всего мира. Но это паломничество показало всем еще одну вещь, тоже не слишком тайную до тех пор: имея на своей стороне поддержку подавляющего большинства общества, «Солидарность» все же не в состоянии прижать власть к стенке и принудить ее к удовлетворительному соглашению. Подчеркнуто горько это проявилось при встрече Иоанна-Павла II с верующими Новой Гуты — этого бастиона «Солидарности». Несмотря на весьма умеренное выступление Папы, настроения собравшихся масс были раскалены добела, над толпой был лес

---

\* В начале военного положения лозунг «Зима ваша, весна наша» стал повсеместным. — П е р.

лозунгов и знамен «Солидарности», многократно вздымались руки в жесте победы, скандировали не только «Папа с нами!», но и «Солидарность! Солидарность!» Разумеется, только отъехал священный паломник, как от костела в Мистшеёвицах тронулось гигантское шествие — однако по мере отдаления от начала пути оно молниеносно растаяло, и к центру Новой Гуты пошло уже всего лишь несколько тысяч самых решимых.

Да, люди не переносят коммунистическую власть, но и не видят иного результата участия в уличной демонстрации, кроме возможности получить удар дубинкой или струю из водомета. Полтора года военного положения уже научили поляков, что, несмотря на уличные волнения, эта власть способна функционировать и делать вид, что ничего не происходит. Должно было бы случиться что-то крайне важное, до глубины затрагивающее всех, чтобы к демонстрациям присоединилось до сих пор избегающее их «молчаливое большинство», и только такие демонстрации оказались бы опасными для властей, ибо отряды ЗОМО с ними не справились бы. До сих пор же происходившие беспорядки дестабилизируют власть, не дают осуществить цели «линии Ярузельского», но не в состоянии ни свергнуть власть, ни хотя бы навязать генералам «линию соглашения». На шахматном жаргоне такое положение называется патом и приводит к ничьей, к бесконечному, изнурительному повторению ходов обоими партнерами.

Прежняя схема уличных демонстраций словно бы освобождала подполье от поисков других форм протеста, от попыток найти всё еще существующие возможности действовать в легальной плоскости. После нескольких десятилетий жизни в централизованной системе общество отучено от изобретательного и самостоятельного действия, не проявляет охоты взять свои дела в собственные руки — господствует атмос-

фера выжидания инструкций сверху, того, что придумает Валэнса или Буяк, чуда, которое должен был принести папский визит, посредничества церковных иерархов, посылочной манны с Запада. Самая активная часть оппозиции и подполья редко когда пробует сломить это пассивное выжидание собственным примером. Не попытались — что предлагал Антоний Мацяревич на страницах «Гданьской Солидарности» еще в самом начале весны — организовать легальный коллективный натиск (петиции, письма, инициативные группы) в пользу профсоюзного плюрализма в рамках нового закона. Далеко не используется весь богатый набор возможных легальных и полулегальных действий (о котором, в частности, писал подпольный журнал «Тымчасэм»), способных привлечь то самое молчаливое и не расположенное к демонстрациям большинство.

Это стоящее на стороне «Солидарности» католическое большинство, так великолепно показавшее себя во время папского паломничества, — не только страшный, хотя и медлительный противник власти, общественный динамит, который неизбежно взорвется, естественный союзник решимого и сознательного подполья. Это еще и великий, трудный для ответа вызов подполью, всей сегодняшней сознательной оппозиции: как включить массы в общие действия? в состоянии ли мы дать им иную перспективу, чем драка с милицией? Это решающий вопрос, ибо эти люди приходили на встречи с Папой не только молиться. Пассивное ожидание Великого Взрыва, который все равно наступит, — это самая худшая стратегия, самая большая трата великолепного и замечательно украшенного папскими проповедями и папским присутствием запаса надежды, достоинства и силы.

## 6. ЧТО ДЕЛАТЬ?

В принципе, есть две возможные стратегии для всех тех, кто чувствует себя связанным с идеей «Солидарности». Первая — довериться Папе и христианским ценностям, о которых он нам припомнил, укрепиться в вере и нравственном обновлении. «Гибнет нация, которая свой дух растлит», — взывал Иоанн-Павел II и был стократно прав, тем более, что в трудные нынешние времена, как никогда, разгулялись пьянство, воровство, неуважение к человеческому времени, имуществу и усилиям. Это надолго рассчитанная, стойкая перед лицом всяких неосталинизмов и других бед программа «победы любовью». Победа эта несомненна, ибо, в конечном счете, всегда побеждают нравственные ценности, но она весьма отдаленна. Есть, однако, и другая из крайних возможностей: стать авангардным революционным движением, глядящим не в перспективе ряда поколений, как Церковь, а стремящимся либо свергнуть коммунизм, либо принудить его к реформам уже в наши дни. Но при этом надо смириться с перспективой страданий и огромных жертв, принять ужасную для общества, но свойственную всякому революционному движению тактику «чем хуже, тем лучше». Готовы ли мы встать на этот путь революционеров, прямиком ведущий к якобинским безумиям?

## 7. ПРОГРАММА-МИНИМУМ

Есть ли некая связующая точка, лежащая между двумя этими крайностями? Существует ли что-то, необходимое на обоих этих, а значит, и на всех расположенных между ними путях? Есть. Независимо от того, на какой путь направит нас воля большинства и какой в результате развития событий выявится как наиболее выгодный, ни один не может совершаться

без двух основных и взаимно обусловленных плоскостей: одна — это живая ткань явных (хоть иногда полуправильных) общественных начинаний, коллективная изобретательность, желание взять свои дела в собственные руки; другая — конспирация. Нет, это отнюдь не два расходящихся и противоречащих друг другу пути, на распутье которых мы стоим сегодня после папского визита, — это две неизбежные и необходимые плоскости, в которых должен проходить каждый из возможных путей, от которых он не может оторваться без риска воспарить в общественный вакуум, к фикции мнимых целей. Власть сегодня не боится очередных демонстраций, она уже знает, как их разгонять и даже как с ними сосуществовать; момент смертельной угрозы наступает для нее тогда, когда люди освобождаются от централистской пассивности, берут свои дела в собственные руки, перестают быть толпой, — толпой же они остаются так долго, как долго не осмелятся сознательно осуществлять хотя бы те ограниченные права человека, которые положены им в «реальном социализме». Постоянно возрождающейся, а следовательно, неодолимой угрозой для этой власти является Гражданин, а человек с камнем в руке — лишь мишень для пули или дубинки. Мы должны понять это, независимо от различия наших взглядов на будущее Польши и на пути, ведущие к этому будущему, мы должны сделать все, чтобы освободить человека от навязанной тоталитаризмом пассивности, показать ему по-прежнему дождающуюся его роль сознательного Гражданина, возродить ткань независимых общественных начинаний, осуществлять все, что положено Гражданам в рамках действующего права, вплоть до организации общественного натиска в пользу желаемых изменений законодательства.

Бой за будущее Польши идет сейчас не на улицах: на уличные демонстрации выходят лишь самые сознательные и решимые, а у власти хватает сил пода-

вить демонстрации такого размаха. Бой за будущее Польши — это борьба за сердца и умы «молчаливого большинства», соревнование с властью за то, преобразуем ли мы — своим собственным сознательным примером и ободрением — жест руки, поднятой в знаке победы, в волю выйти навстречу другим и объединиться с ними в общей надежде и общем неприятии не только по случаю присутствия Папы. Ведь может быть и так, что тот же жест ни во что больше не превратится, останется лишь светлым воспоминанием, мало-помалу тающим в серой социальной энтропии, столь милой сердцу всякого тоталитаризма. Когда никто ни с кем не будет объединяться и ничто ни от кого не будет зависеть, когда в сфере организации общества останутся только государство и Церковь, тогда можно будет с полной ответственностью утверждать, что в Польше удалась нормализация (читай: советизация) в ярузельском варианте. Не о такой картине будущего говорил Папа, хотя она, возможно, близка сердцу многих служителей Церкви.

И вторая необходимая плоскость, которой, наряду с плоскостью самоорганизации, должен придерживаться каждый из возможных для будущего путей, — плоскость конспирации. Ее не может обминуть даже самый католический по духу и по букве путь, ибо где-то надо говорить вслух и до конца высказывать нецензурированные мысли, формулировать программы, воспитывать кадры. А что уж говорить, если мы решимся не только на моральное обновление, но и на массовую деятельность? Да и вышеупомянутая плоскость легальной гражданской самоорганизации без умного, вырабатывающего оценки подполья превратится в этой системе в недостойное коллаборантство. А что тогда, когда надо будет использовать трудно предсказуемые сегодня шансы, которые несомненно возникнут в дальнейшем процессе упадка «реального социализма», а с ним и послеялтинского порядка в

Европе? Готовы ли мы к этому хотя бы отчасти так, как готовились в начале столетия ППС, как готовился Пилсудский со товарищи?

Тем временем, мы чаще всего строим конспирацию так, словно речь идет лишь о том, чтобы пережить несколько ближайших месяцев, словно последний и решающий уличный порыв вот-вот наступит, словно надо организовать всего лишь еще несколько демонстраций и еще одно удачное столкновение с ЗОМО. И проваливаемся мы так по-щенячьи, глупо, задаром... И в этой плоскости, как в предыдущей, мы по-прежнему в начале пути — ощутимей, чем мы знали это прежде, нас заставило это понять папское паломничество. Речь ведь идет не о том, чтобы с высоко поднятой головой пойти в тюрьму, но о том, чтобы выковать будущее Польши из того общественного материала, среди которого мы существуем и часть которого сами составляем.

Это должны понять и с этим должны считаться все возможные общественные движения, всяческие вообразимые политические программы, которые клубятся сегодня вокруг нашего святого, но, как всякая святость, все более объемного, а следовательно, и все более расплывчатого понятия «Солидарность». Только такая почва может устойчиво разрабатываться всем нашим разнообразием, всем множеством путей, ведущих к будущему. Только там могут вспыхнуть огни проверенных социальной жизнью программ, только тогда может произойти единственное реальное чудо — такое, которому помогают люди.

## НЕТ, МЫ СЛУШАЕМ...

Игорь Бирман спрашивает: «Почему они нас не слушают?» («Континент», № 35). Всем, работающим в области изучения Советского Союза, как в академическом мире, так и вне его, следовало бы над этой статьей серьезно задуматься. А задумавшись, они, наверно, почувствуют некоторую неловкость. В статье поднимаются такие важные вопросы, как, напр.: хорошо ли используются на Западе «мозги» третьей эмиграции? А если нет, то в чем дело: зависит ли это от чисто «шкурного» страха самозваных западных «специалистов» перед людьми, которые безусловно лучше их знают советскую действительность? Или же виноваты, главным образом, сами эмигранты, их ошибочная оценка западного мира и ничем не оправданные ожидания и виды на собственное будущее? И если ответственность лежит отчасти и на тех, и на других, то как поправить дело, как найти возможность более тесного сотрудничества? Что можно конкретно предпринять?

Пишущий эти строки – не американец, не «советолог» (ужасное слово!) и не экономист, а просто скромный историк и довольно безболезненно переносящий свое полуэмигрантство англичанин, живущий в Канаде. Я был поражен честностью и отважностью, с которой д-р Бирман написал свою статью, и я не могу не согласиться со многими его замечаниями. Что-то и где-то тут явно неладно! Однако, критика, написанная д-ром Бирманом, мне кажется слишком мрачной.

Во-первых, западное понимание и восприятие России и Советского Союза, как д-р Бирман сам правильно, кстати, заметил, в большой мере обязано знаниям и педагогической работе старшего поколения выдающихся деятелей первой и второй эмиграции. Тут не помешало бы бросить беглый взгляд на всю проблему эмигрантов с исторической перспективы. Эмигранты всегда и во всех странах находятся в незавидном положении и с трудом продвигают свои взгляды, как бы правильны они ни были и насколько бы они ни соответствовали реальности. Кроме того, нужно всегда время для того, чтобы идеи, переходящие из одной культуры в другую, дали себя почувствовать. Влияние эмигрантов в принимающей их стране действует обыкновенно не прямо, а через посредников, и воспринимающие это влияние мало когда знают его источники. В истории почти нет случаев, когда бы идеи, введенные представителями «чужой» группы, радикально изменили «доморощенные» политические взгляды или отношения. Несколько примеров: как и насколько принц Кондэ и его единомышленники, появившиеся в России после Французской революции 1789 г., повлияли на восприятие «якобинской угрозы» русскими консервативными кругами? Как и насколько польские демократы Великой Эмиграции способствовали, через полвека, укреплению левых тенденций во Франции? Каково было влияние голлистов на политику союзников во время Второй мировой войны? Сегодня, к сожалению, эмиграция из всех частей мира достигла размеров несравненно больших, чем когда бы то ни было в прошлом, и уровень образования в принимающих странах одновременно так же повысился. На их общества ежедневно обрушивается поток информации, который неизбежно притупляет способность слышать голоса даже своих собственных, не говоря о «чужих», меньшинств.

Во-вторых, мне кажется, что он преувеличивает охоту западных либералов поддаваться советскому

влиянию. Опять же, обратимся к истории. Действительно, пятьдесят лет тому назад западные «прогрессивные круги» восхищались «успехами» советского планового хозяйства и не хотели ничего ни знать, ни слышать об организованном голоде или о чистках. Но если бы супруги Веббы написали и издали свою книгу «СССР: новая цивилизация» сегодня, то их просто бы высмеяли, и не нашлось бы ни одного человека, который их бы принял всерьез. Мы все – хорошо ли это, или плохо – стали относиться гораздо более цинично ко всяким властям и властителям дум. Я уверен, что большинство людей в Америке и в Западной Европе отдадут себе полный отчет во всех недостатках советской системы, будь то бюрократизация управления, отсутствие человеческих прав или неспособность планового хозяйства удовлетворить потребности масс и т. п.

Д-р Бирман находит, что его американские студенты-слушатели наивны. Кто это сказал, что если двадцатилетний не революционер, то у него нет сердца, а если он продолжает быть революционером в тридцать, то у него нет ума? Да, действительно, утопические, идеалистические сантименты были широко распространены среди молодежи, и особенно среди студентов, в конце 60-х и в начале 70-х годов (хотя дело шло скорее об анархизме, чем о коммунизме), но сегодняшнее поколение болеет, в основном, общей разочарованностью, граничащей с отчаянием.

В течение прошедших десяти лет я преподавал советскую историю в курсах, где бывало по тридцать студентов. Между ними оказывался обыкновенно один с коммунистическими симпатиями (но не сталинист!), с тупым умом, которого никакие факты не могли сдвинуть с места; затем бывало по три-четыре студента (иногда восточноевропейского происхождения), которые составляли, так сказать, «правую оппозицию»; остальные же были просто трезво мыслящие молодые люди, которые охотно признавали, что в советской системе

есть и дурное, и хорошее, и слабые, и сильные стороны, и что все это вполне объяснимо, если подходить к этому с холодным разумом и здравым смыслом. Эти студенты находятся на том удовлетворительном уровне умственного развития, которого от них можно ожидать, принимая во внимание печальный, в общем, факт изоляционизма и провинциализма Северной Америки и недостаток в школьной системе солидной подготовки молодежи к университетским занятиям или к гражданской ответственности. Д-р Бирман совершенно прав, указывая на то, что чрезмерная объективность может вести к полной потере морального сознания. Не многие из моих студентов, да и моих коллег, я думаю, пошли бы защищать на баррикадах этические ценности западной цивилизации. Но причину тут надо искать в общей девальвации идей и принципов в современном обществе (и не только на Западе!), а никак не в принятии идеологии, инфильтрующейся «с другой стороны». Принимая во внимание размеры настоящего экономического кризиса, надо удивляться тому, как слабы, в общем, эти тенденции.

В-третьих, я сомневаюсь, что в научных журналах в области славяноведения действуют – как предполагает д-р Бирман – явные или тайные директивы, запрещающие предоставлять место на их страницах работам эмигрантов. Ведь смог же недавно, например, Александр Янов напечатать в «Славик ревью» (том 42, № 2, стр. 247-252) ответ своим критикам; и таких примеров можно найти много. Упомянутый журнал, как и другие мне известные научные журналы, рассматривает присылаемые статьи, следуя строго установленным научным критериям и основываясь на мнении непредвзятых специалистов-рецензентов «со стороны»; часто устраиваются дискуссии по спорным и интересным темам.

Неправ д-р Бирман также, когда он осуждает способ назначения на университетские вакансии преподавателей «советологии». Ни в каком случае не придется

«пробойной силе» кандидата больше весу, чем его настоящим или потенциальным академическим заслугам. Что имеет место в действительности, это сложный процесс выбора, в котором пристально рассматриваются количество и качество публикаций кандидатов, их педагогические способности (уже показанные и доказанные в течение аспирантуры), а также их личные качества. С такой процедурой можно не соглашаться; может случиться, что выбор падет не на своенравного, эксцентричного гения, а на мелкую посредственность; может быть, что научная «производительность» измеряется грубо количеством печатных страниц, а не оригинальностью высказанных мыслей. Но это происходит не от злой воли, а в результате бюрократизации жизни ученых, превращенных в жалких писарей, заполняющих бесконечные анкеты и формуляры, вместо того чтоб заниматься творческим трудом.

Из выше сказанного следует, что не надо отпугивать нашу университетскую молодежь от изучения России и Советского Союза, как нам советует д-р Бирман. Именно сейчас, как никогда прежде, обществу и государству нужны люди способные и готовые дать здравую, уравновешенную оценку мировых и, специфически, советских проблем. Сколь бы поверхностным нам ни казалось преподавание «советоведения», здесь, как и в других гуманитарных и общественных дисциплинах, студенты приобретают долю тех им нужных знаний, чтобы, занимая потом ответственные места в педагогике, журналистике, на государственной службе или в деловых кругах, преодолевать невежество или равнодушие своих сограждан. Было бы, конечно, предпочтительно, если бы большее количество окончивших университет по нашей специальности выбирало академическую или научную карьеру, но в данных экономических условиях это, пожалуй, вряд ли исполнимо.

Д-р Бирман тоже сурово отзывается об исследованиях, проведенных вне университетов, в разведыватель-

ных агентствах и подобных учреждениях. Наверно, он во многих отношениях прав. Но «внедрять» результаты исследовательской, аналитической работы в оперативные руководства для тех, кто должен принимать решения, всегда дело нелегкое, будь то при установлении правительством процентной нормы, при решении о помощи пенсионерам или же при определении политической линии по сношениям с коммунистическими странами.

Признаюсь, что я лично не знаком ни с одним ответственным комментатором, который бы, по словам д-ра Бирмана, делил членов Политбюро на «ястребов» и «голубей». Но что качество предсказаний, которого достигает даже хорошо осведомленный «советолог», очень низкое – это общеизвестный факт. Основная причина – недостаток существенных данных. Все, на что собрание и анализ информации способны, это дать возможность государственным деятелям избегать слишком грубых ошибок и правильно реагировать на быстро меняющуюся политическую обстановку, а также на то, чтоб знакомить со своим анализом в упрощенном виде, через журналистов, широкую общественность.

Итак, что же нам делать? Посмотрим трезво на проблему, определенную д-ром Бирманом, и признаем, что вряд ли настанет время, когда можно будет материально обеспечить всех эмигрантов, способных занять места в академическом мире и применить там накопленные ими опыт и знания. Но мне кажется, что (особенно в США) можно найти деньги для хорошо продуманных и подготовленных групповых проектов. Нильс Розенфельд, например, недавно призывал (в «Проблемз оф коммюнизм», Вашингтон, июль – август 1983 г., стр. 65) провести глубокий, систематический анализ всех данных о сталинском периоде, сообщенных «очевидцами». Есть и другие сферы советской жизни (например, тюремная и трудовая исправительная система, движение инакомыслящих, «вторая экономика»), которые

могут быть основательно описаны, освещены и проанализированы только недавними эмигрантами, притом не как поставщиками информации (как это было при разработке проекта проф. Миллера, по утверждению д-ра Бирмана), а в качестве активных организаторов проекта и аналитиков материала. Взять как модель тщательно сделанную работу д-ра Бориса Мейсснера и его сотрудников в ФРГ – вот такие работы могут и должны делать эмигранты. Такое предприятие требует, естественно, близкого сотрудничества с западными «поставщиками фондов», и их можно найти, если вместо личных воспоминаний и размышлений, большинство которых, по правильному замечанию д-ра Бирмана, страдает субъективностью, поверхностностью и недостаточным знанием западной (да и вообще) литературы, им предложить подробно разработанный проект продуманного и обоснованного – и нужного! – исследования.

Но до того, как осуществить такой кооперативный проект, надо обдумать, как оптимально организовать работу, и составить список всех возможных источников (информантов, рукописей, публикаций и т. п.). Да, работа эта скучная, кропотливая и трудоемкая. Слышу протесты: «Мы хотим перестроить мир, а он предлагает, чтоб мы составляли какие-то библиографии. Да что он, смеется над нами?» Нет, не смеюсь. Но сейчас время «малых дел» – малых, но эффект которых кумулятивный. Работы эмигрантов-ученых, заслуживающих внимания, не пройдут незамеченными, их со временем переведут (если нужно) и они войдут в научный обиход – и не обязательно в печатной форме: «компьютерная революция» создала новые методы и формы сохранения и сообщения информации.

Сказанное выше – лишь одна скромная мысль; существует, бесспорно, множество других идей, которые бы следовало обсудить. Давайте перестанем отчаиваться и лучше совместно займемся работой, чтобы не дать пропасть тому запасу знаний и опыта, который при-

несли с собой на Запад эмигранты третьей волны. Нет, Игорь Бирман, мы Вас слушаем!

Дорогой Владимир Максимов и дорогие друзья из «Континента»!

Вашему журналу исполнится десять лет почти в один и тот же день, что и нашей газете, которая всегда была близка вам и всегда открыта для вас. Я знаю, что «Континент», с которым я в свою очередь тоже сотрудничал, это самый благородный и самый чистый голос сегодняшней России.

Я желаю, чтобы Ваш личный успех и успех всех вас был соразмерен тем жертвам и той боли, что влечет за собой жизнь в изгнании, переносимая вами с таким стоицизмом, на который вряд ли были бы способны западные интеллектуалы.

Горячо обнимаю вас от лица всех сотрудников «Иль Джорнале».

*Индро Монтанелли,  
Издатель и директор  
«Иль Джорнале нуово», Милан*

Михаил Агурский

### КЛАУС БАРБЬЕ И ИВАН ДАРАГАН

Осенью 1981 г. одному из нас поступило письмо, написанное по-русски и от руки. Его автор сообщал, что был каким-то тесным образом связан с прокуратурой в годы великих чисток 1936-38 гг. в СССР, унесших, как известно, многие миллионы жизней, и хотел бы сейчас опубликовать свои воспоминания. Письмо было отправлено из одного из центров абсорбции, причем было ясно, что автор письма — нееврей.

Какой историк мог не взволноваться таким письмом? Во-первых, из письма было видно, что речь идет не о «прокуратуре». Его автор, Иван Дараган, явно был причастен к чистке на стороне тех, кто ее проводил. Сведения о чистке исходят, главным образом, от ее жертв. Лишь очень скудные сведения просочились от ее исполнителей. Так, например, в 1938 г. бежал в Японию начальник Дальневосточного НКВД Люшков, ожидавший ареста после успешно проведенной им самим кровавой чистки. Мы не знаем точно, что именно рассказал Люшков японцам о чистке, а особенно о своей роли в ней, ибо он вскоре исчез и, как полагают, был убит самими японцами.

Таким образом, присутствие в Израиле еще одного исполнителя чистки могло бы явиться уникальным историческим фактом. Ведь на самом деле мы очень мало знаем дьявольский механизм чистки. Кто ее проводил? Кто давал приказания? Как готовились сценарии фантастических процессов?

А вдруг мы узнаем о том, что, казалось, навсегда утеряно?

Итак, мы немедленно выехали по указанному адресу, и вскоре оказались на месте. Мерказ-клита была расположена недалеко от моря. Ивана Дарагана нетрудно было найти. Его знали все и относились к нему с явным уважением. Дверь квартиры открыл огромного роста, хорошо сложенный и не сгорбившийся старик лет за 80, с характерным славянским лицом. Мы представились. Дараган жил с женой в чисто прибранной двухкомнатной квартире, обставленной советской мебелью и даже советским телевизором.

Хозяин был очень рад нашему приезду. Жены дома не было.

— Кем вы, собственно, были? — спросили мы хозяина.

Дараган туманно и сбивчиво стал объяснять, из чего стало ясно одно: что он выполнял какую-то важную должность в Днепропетровском НКВД, т. е. в тех местах и в то время, где начинал свою политическую карьеру Брежнев. Да, Иван знал и Брежнева, и тот, однажды, уезжая, оставил ему на время свою квартиру. Знал Иван и его ближайшего друга Константина Грушевого, который в момент разговора был еще политическим комиссаром Московского военного округа, но умер в феврале 1982 года.

Выяснилось также, что Иван начал свою карьеру в личной охране одного из тогдашних членов украинского правительства, Чубаря, а потом был переведен в Крым, на охрану дворцов, где отдыхало советское правительство. Там ему приходилось видеть Сталина, Кирова, Молотова, Бухарина.

Лишь в середине 30-х гг. Иван перечел в Днепропетровское НКВД, в одно из его районных управлений, но в какое, он сказать уклонился.

В каких же делах участвовал Дараган? Прежде

всего и не без гордости он назвал ликвидацию остатков махновского движения. В самом деле, на юге Украины во время гражданской войны процветало знаменитое массовое крестьянское движение, возглавляемое группой анархистов во главе с Нестором Махно. Это движение, среди руководителей которого было немало евреев, сыграло важную роль в победе большевиков над белыми армиями, выступая на стороне большевиков, но потом, в 1921 г., было ими предательски разгромлено.

На вопрос, что, собственно, представляло собой дело махновцев в 1937-38 гг., Иван без тени угрызения совести сообщил, что им было *выявлено* (т. е. арестовано!) около 4000 махновцев...

— Что же они делали?

— Как что? — удивился Дараган. — У них оружие даже было припрятано!

Легко себе представить, что после 1921 г. бывшие махновцы побросали в страхе в колодцы и в ямы свои обрезы, а может быть, и ручные пулеметы. Разумеется, все это оружие превратилось за 16 лет в металлолом. Но этого было достаточно, чтобы всех их, а также и еще кого попало бросить в тюрьмы и лагеря, а кое-кого и расстрелять.

Но 4000 махновцев были лишь одним из дел Ивана Дарагана. Он не без гордости сообщил и о том, что раскрыл дело вредителей на крупном промышленном предприятии. Надо сказать, что таких дел в то время были сотни и тысячи. Вроде бы получалось, что Иван был лишь зав. районным отделом НКВД, но, как выяснилось позже, он потом был чутьчку повыше.

Спустя некоторое время дверь открылась, и в квартире появилась крепкая еврейка лет 65, окинувшая нас удивленным и недоброжелательным взглядом. Узнав, кто мы, она едва не накинулась на нас с бранью:

— Никаких воспоминаний Иван писать не будет!  
— резко заявила она.

— Но послушайте, — сказали мы. — Ведь это он сам пригласил нас сюда:

Оказалось, что Дараган сделал это тайком от жены, сгорая желанием хоть что-то рассказать из своего прошлого. Кстати, он уже прислал авансом отрывок из своих воспоминаний, касающийся одного из ближайших сотрудников Махно, еврея Льва Задова, которого, по его словам, он лично *знал*. Как выяснилось, слово «знал» было эвфемизмом. «Знакомство» означало арест и допросы с пытками. Дараган сообщил, что Задов уже с начала 20-х гг. был завербован ГПУ, как тайный агент среди анархистов, о чем они не имели понятия. Задов был расстрелян, и не исключено, что расстрел был заключительным актом их знакомства.

Вернемся к жене. Она была перепугана и категорически возражала против мемуарной авантюры мужа.

Мы стали ее уговаривать.

— Послушайте, всё это дела давно прошедших дней. Вряд ли кто может отнестись к этому эмоционально. Ведь это было почти 45 лет назад! Не так ли? Воспоминания вашего мужа будут уникальны. Кроме того, он сможет, вероятно, получить за это деньги.

Последний аргумент сделал свое дело. Верная еврейская жена смягчилась и не без гордости сказала, что муж ее помнит решительно все и что — созналась она — он был не более и не менее как зам. начальника областного управления Днепропетровского НКВД в 1938 году. Только в этой области в результате чисток погибло не менее нескольких десятков тысяч человек.

Но как же Дараган оказался в Израиле, пережив чистки, в которых погиб и весь состав НКВД? Оказывается, в конце 1938 г. Дараган был переведен в Киев и назначен начальником особого отдела секретной

армии, тайно формировавшейся на Украине против возможного вторжения Германии (это было еще до советско-германского договора). В 1939 г. Сталин приказал арестовать наркома внутренних дел Украины Успенского, который ухитрился бежать из Киева, опасаясь ареста, но был пойман и расстрелян. Дошла очередь и до Дарагана. Его подверг пыткам известный сотрудник Берии — Кобулов. Любопытно, что Дараган с негодованием рассказывал о негодяе Кобулове... Потом, по его словам, он был отправлен в лагерь под Днепропетровском, где его застала война. Согласно его весьма туманному объяснению, советские войска отступили, бросив его лагерь на произвол судьбы. Заключенные разбежались, а Дараган вернулся в советский тыл и предложил пойти на фронт. Его почему-то не арестовали вновь, но в армию не взяли. Он был направлен на Урал в небольшой город, где получил должность директора маленького завода. Там он встретил свою будущую еврейскую жену, которая была прокурором и членом партии. Она помогла ему восстановиться в партии. Кстати, ее первый муж был расстрелян в чистках.

Но как все-таки он оказался в Израиле? Дело в том, что сначала туда уехала его падчерица, которая ненавидела его всю свою жизнь, потом к ней приехала ее дочка, а потом потянулась за ними и мать. Дарагану ничего не оставалось делать, как вернуть партбилет и покорно последовать за своей верной еврейской женой. Интересно, что до самого отъезда он продолжал получать поздравительные праздничные открытки от генерал-полковника Грушевого, ближайшего друга Брежнева.

В Израиле Дараган оказался отрезанным от всех средств информации, за исключением «Нашей страны», не понимая ни слова на иврите и на других языках. Но он был всем доволен и ни на что не жаловался. Более того, он пользовался нескрываемым уваже-

нием всех обитателей Мерказ-клиты, не знавших его прошлого, как добродетельный и верный русский муж, не колебавшийся поехать в Израиль.

Мы навестили Дарагана еще раз, и на сей раз не одни, а вместе с Эдуардом Кузнецовым. Нам пришла в голову мысль устроить беседу за круглым столом между столь разными людьми. Дараган говорил с большим достоинством и осудил советскую систему, но прежде всего за антисемитизм. Здесь, надо сказать, он был чист как стеклышко. Что бы ни было в его прошлом, антисемитом он не был никогда.

Однако газета отказалась по какой-то причине опубликовать нашу беседу, и теперь видно, что это было к лучшему. С тех пор контакт с Дараганом почему-то оборвался, но мы надеемся, что он все же пишет свои мемуары.

### *Обратная сторона медали*

Но случилось недавно неожиданное. В эту историю вмешался мертвец... Да, мертвец, убитый или же покончивший самоубийством в 1966 году. Это был русский инженер Виктор Кравченко, который в конце войны с Германией попросил в США политическое убежище. В 1946 г. он опубликовал свои мемуары «Я выбрал свободу», которые наделали много шума, ибо французские коммунисты обвинили его в клевете на СССР, отрицая самый факт существования в СССР лагерей для заключенных, факт чисток. Состоялся суд, который Кравченко выиграл.

В своей книге он, в частности, описывает то, как в 1936—1937 гг., работая в г. Никополе в Днепропетровской области, но подвергся преследованиям и едва не был арестован во время чистки. Главным действующим лицом этой истории оказался... Дараган, который предстает перед читателем, как жестокий, бездушный садист. Книга Кравченко попала к нам

на глаза только недавно, и это позволило нам увидеть другую сторону медали.

«Дараган был грубым, вспыльчивым человеком, — пишет Кравченко, — с лицом бульдога, человек, вытесанный из гранита его создателем, дабы стать полицейским при любом режиме». Заместителем Дарагана был еврей Гершгорн.

В разгаре чистки Кравченко начали обвинять в связях с врагами народа. Одним из них оказался еврей Зельман, бежавший в СССР из нацистской Германии. Когда Кравченко обвинили в связях с «немецким фашистом Зельманом», тот заметил, что Зельман ведь еврей и коммунист, на что ему ответили: «Еврей и коммунист — это же лучшая маска для врага!»

Когда на следующем собрании Кравченко вновь стал объектом атак, один член партии сказал: «Мне стыдно, когда я смотрю на вас всех. Это что, партийное собрание или же толпа, жаждущая крови? Товарищи! Я прошу вас, придите в себя!» В это время в зал вошел Дараган.

— Сентиментальничаете, товарищ Брашко! — сказал он громко. — Хорошее время выбрали вы для такой чуши!

Когда Кравченко предоставили последнее слово, он не мог отвести взгляд от Дарагана, все еще презрительно возвышавшегося в дверном проходе. «Я знал, — говорит Кравченко, — что каждый присутствовавший в зале, каждый сидевший на трибуне больше присматривался к этому грузному символу полицейского государства, чем прислушивался к словам, которые я произносил».

Кравченко исключили из партии, что могло означать арест. Когда он выходил из зала, Дараган спросил его: «Ну что, вы собираетесь подать апелляцию?»

Кравченко сказал, что будет жаловаться Орджоникидзе, на что Дараган заметил: «Кравченко... поверьте мне, жалко надоедать столь многим людям».

Потом Кравченко вызвали на бюро горкома, членом которого был также Дараган. У Кравченко нашлся один защитник. Дараган недовольно помрачнел. «Неужели, — подумал Кравченко, — Дараган позволит лишиться своей жертвы?» Когда другой член горкома, напротив, стал зачитывать список врагов народа, с которыми общался Кравченко, Дараган недовольно заметил: «Почему вы вырываете хлеб у меня изо рта?»

Горком оставил Кравченко в партии, но вскоре его защитника арестовали и все началось снова.

«Никопольские волки — Дараган, Гершгорн и Лось — были, жажда моя крови. Им не терпелось разорвать меня на части. Можно было почти видеть слюну, капающую с уголков их пастей в ожидании пиршества».

Кравченко пытался понять, в чем причина их жестокости. «Глубинные причины явно преднамеренного преследования нужно усматривать в темных сторонах человеческой извращенности. Дело стало превращаться в возбуждающую охоту, и охотник не мог позволить себе упустить жертву. Нет никакого сомнения, что они начали все это дело без каких-либо особых чувств по отношению ко мне, но жар погони в момент неудачи породил ненависть ко мне. Они хотели выиграть, добавив мою шкуру к своей кровавой куче трофеев».

Кравченко поехал жаловаться в Москву, но, когда он вернулся, все началось снова. Во время одного из допросов, который проводился Гершгорном, вошел разъяренный Дараган.

— Гершгорн, сколько еще вы будете давать этому вредителю водить вас за нос? Вы чекист или же никудышник? Плохо, что мы не арестовали его год назад, а дали горкому возиться с ним.

После этого отчаявшийся Кравченко решил пого-

ворить с Дараганом, чтобы хоть как-то прекратить свои мучения.

Когда Кравченко зашел к Дарагану, тот завопил: «Какого чёрта вам здесь надо?»

— Меня столько времени мучают. Я спрашиваю вас как коммуниста.

«Как коммуниста! — заорал он и бросился ко мне как бешеный бык. Он ударил меня открытой ладонью, сначала по одной щеке, потом по другой. Затем он схватил меня за горло и начал душить, в то же время яростно раскачивая меня из стороны в сторону. Он был очень сильный, его руки были как стальные наручники. Они сжимали меня ту же и ту же. Все поплыло передо мной.

— Убирайся или я убью тебя, — сказал он».

Дараган пять раз поднимал вопрос об аресте Кравченко в горкоме. Тем временем Гершгорн непрерывно вызывал его на ночные допросы. Во время очередного допроса ворвался Дараган и вместе с Гершгорном стал избивать Кравченко.

«Я упал на пол, — пишет Кравченко, — и сжался в клубок, стараясь спрятаться в свою кожу, в то время как четыре ноги в сапогах ударили по мне».

В начале 1938 г. Кравченко был вдруг реабилитирован и тут же решил покинуть Николаполь. В это время он встретился с Дараганом.

«Не радуйся, — сказал он. — Ты нигде от нас не скроешься. Нет места на земле, где мы не достали бы тебя, если захотим. Жалко, что я не упек тебя в тюрьму сразу, вместо того чтобы дать этим идиотам из горкома начать процедуру публичного исключения из партии».

«Скажите мне, Дараган, — спросил его Кравченко, — почему вы так меня ненавидите? Я же вам лично не причинил никакого вреда».

«Это мое дело», — прорычал Дараган и сердито удалился».

Итак, ясно, что Дараган не собирался писать в 1981 г. правду в своих мемуарах. Он, видимо, хотел обмануть историю, рассказав лишь о тех или иных людях в том виде, как он рассказал о Задове. Но ему не удалось перехитрить историю. Кравченко пригрозил ему из могилы костлявым кулаком.

Что теперь делать? В чем, собственно, разница между нацистским преступником Клаусом Барбье и Дараганом? Дараган уничтожил невинных людей больше, чем Барбье. Ссылка на то, что он действовал по приказам или в силу идеологии, недействительна, так как в точности таков же случай Барбье.

Правда, Дараган не был антисемитом, и его первым помощником был еврей Гершгорн, но оба они, как мы видели, не жалели ни русских, ни евреев, да и Барбье убивал не одних лишь евреев.

Так почему же закон о давности распространяется только на Барбье? Все это так, но дело в том, что поступки Барбье признаны преступлением в месте их совершения, в то время как на родине Дарагана они до сих пор не признаны преступлением и его никто не разыскивает. Тогда почему же Израиль, против граждан которого Дараган вроде бы не совершил преступлений, должен судить его? Для этого у него нет никаких юридических оснований. Кроме того, Дараган не бежал в Израиль, спасаясь от розыска, как это сделал Барбье в Боливии. Он приехал сюда *bona fide*, с надеждой мирно кончить свою жизнь в еврейской стране, в которую он поверил. Итак, русскому Барбье суждено мирно доживать свои дни под гостеприимным небом Израиля. А вдруг он, правда, напишет чистосердечное раскаяние и опишет все детали кровавых чисток 1936-38 гг., как это сделал, например, в 1955 г. молодой советский разведчик Анатолий Грановский, бежавший на Запад в 1945 г., рас-

сказав о том, как его использовали в виде подставного друга для провокаций среди детей арестованных советских вождей?

## К ДЕСЯТИЛЕТИЮ «КОНТИНЕНТА»

Статистики русской эмиграции не сделано. По разным приблизительным оценкам число русскоговорящих эмигрантов разных волн доходит до десяти, а по иным источникам и более, миллионов человек. Эта эмиграция, рассеянная по разным странам, выпускает на сегодняшний день 10-14 (смотря как считать) более или менее регулярно продолжающихся изданий, которые можно отнести к «толстым» журналам в классическом русском понимании жанра. Иные прошли через десятилетия, другие существуют лишь несколько лет. Среди этих журналов «КОНТИНЕНТ» после первых же номеров уверенно занял основное место. Теперь это можно сказать определенно, так как десять лет — тот срок, за который журнал приобретает биографию (напомним, что вся история либерального «Нового мира» уложилась в одно десятилетие).

Мозаика российской литературной и общественной жизни достаточно широка и разнолика, чтобы уместиться в одно издание, и требует многих других, дополняющих или оспаривающих. Иные уже есть, других заметно не хватает. Но основной голод по параллельной свободной прессе утолил именно «КОНТИНЕНТ». «КОНТИНЕНТ» и литературная жизнь на Родине связаны сегодня, как сообщающиеся сосуды, и уровень выше здесь, ибо там повышенное давление и творческое вещество естественно выжимается, перетекает за отечественный занавес. Пока существует живая авторитетная пресса в эмиграции, этот процесс не остановится, какие бы страхи не сулились этому творческому веществу.

Живущих в России «КОНТИНЕНТ» особенно привлекает тем, что его делают люди, еще недавно ходившие по тем же улицам, скучавшие на тех же заседаниях, читавшие те же газеты и журналы. Кроме того, он объединил вокруг себя все лучшее, что существует в современном русском литературном процессе. Самые разные и зачастую несовместимые люди прошли по его страницам за это десятилетие. Редкие имена обошли «КОНТИНЕНТ» участием по случайным причинам, но не были обойдены его вниманием. Напомним, что лучшие из советских журналов — даже если не говорить о цензурном гнете — были журналами одной группы. Участие писателей и публицистов других стран Восточной Европы повышает авторитет журнала в России, расширяет горизонты, позволяет надеяться на общий успех.

Для нас, эмигрантов, «КОНТИНЕНТ» интересен тем, что он отменил вопрос о распаде классического типа сознания, так волновавший русских философов начала века. Вся литературная и публицистическая практика участников «КОНТИНЕНТА» основана на полном убеждении, что добро и красота существуют и не переставали существовать. Острота споров проходит далеко по ту сторону этой проблемы. Страшные советские годы пошли на пользу русскому интеллигенту.

В отличие от многих других эмигрантских изданий, «КОНТИНЕНТ» проиллюстрировал всем своим существованием еще одну важную мысль: плоскость раздела проходит не по эстетическому, а по этическому — подлинный урок литературному обывателю, который принимал в штыки Набокова и вымарывал для себя половину сочинений Бунина.

За это десятилетие «КОНТИНЕНТ» сделался столь неотъемлемой частью эмигрантского пейзажа, что его даже вполне можно ругать — как погоду. Ворчать, брюзжать на «КОНТИНЕНТ» стало почти хорошим тоном. Все звезды нашей сердитой словесности прежде всего отметились в нем своим участием, а затем, успокоившись, принялись его крыть на все корки.

Мы им желаем заниматься этим еще не одно десятилетие — на пользу юбиляру.

*Редакторы журнала  
«Эхо»*

Издательство и одноименный альманах литературы и искусства поздравляют журнал «Континент» с замечательным юбилеем. Мы никогда не забудем, что с первых наших шагов ощущали дружескую поддержку (а как это редко бывает в эмиграции!) редколлегии «Континента» и, в частности, Владимира Максимова, Александра Галича и Владимира Буковского. За десять лет существования «Континент» сумел сплотить вокруг себя лучшие литературные и общественные силы эмиграции, людей разных поколений, а нередко и прямо противоположных взглядов. Не менее важно, что на страницах журнала все эти годы находили себе место прозаики, поэты и публицисты нашей и восточноевропейской метрополии. Таким образом, журнал смог в полной мере отобразить процессы, происходящие там в последнее десятилетие. Еще раз поздравляем «Континент» с его десятилетним юбилеем и желаем ему успехов в его, огромной важности, миссии: являть миру подлинный голос России и всей Восточной Европы, раскрывать перед читателем богатство русской и восточноевропейской мысли и литературы, говорить Западу хотя порою и неприятные, но необходимые вещи, во имя сохранения свободы самого Запада, во имя сохранения общечеловеческих идеалов и ценностей.

*Издательство «Третья волна»*

# ИСТОКИ

---

## ДВЕ ЭПОХИ: СОБЫТИЯ И СЛУЧАИ

Воспоминания Татьяны Александровны Миллер,  
урожд. Неклюдовой

*Правдивое описание случаев и событий, которые мне удалось вспомнить, когда мне уже было 76 лет. Писала, почти ничего не прибавляя от себя. Могут быть неточности в датах. Точно трудно установить по ослабевшей памяти, т. к. я никогда записей и дневников не имела и никогда не вела.*

3 сентября 1975 г.

### МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Я родилась 1 января 1899 года. Дед — разорившийся помещик, дворянин, записанный в шестую часть книги герольдии древнего дворянства. Мой отец окончил Политехникум в Риге и имел звание инженера-технолога. Женился в январе 1892 года на дочери отставного казачьего генерала Ивана Алексеевича Сердюкова, небольшого помещика. Земля его находилась на месте станции Амвросиевка, село Галушка, Таганрогского округа (бывшего помещика Амвросия Ивановича Луковкина).

---

ОТ РЕДАКЦИИ: Этими «Воспоминаниями» мы начинаем серию публикаций сугубо личных свидетельств, воссоздающих, каждое по-своему, частички эпохи, пережитой русским обществом в первой половине двадцатого века. Мы убеждены, что подобного рода человеческие документы, при всем их субъективизме, помогают нам восстановить в памяти и сущностно осознать подлинную картину своей собственной истории.

Мой отец, соблазнившись жизнью в деревне, поддался уговорам Александра Владимировича Михалкова и согласился поступить управляющим его только что купленного участка земли — если не изменила память, 16 тысяч десятин земли в голой степи, 65 верст от Таганрога. Имение разделялось на три хутора: главный, где мы жили, назывался «Благодатное», затем — «Копани», где находился кирпичный завод, и третий около станции Кутейниково — «Ольгинское», в честь второй дочери Михалкова. Там находился большой пруд, в котором развели карпов, по-местному — сазанов. Раз в году устраивался там пикник и ловля рыбы сетями.

Моя прабабушка была богатой помещицей в Полтавской губернии. В 46 лет, овдовев, она вышла вторично замуж за своего управляющего графа Мирабо, потомка французских эмигрантов. Ее взрослые дети возмутились и восстали против этого брака, за это они были лишены наследства. Одна только дочка Софья, 17-ти лет, осталась верна матери. Когда мать и ее муж Мирабо смертельно заболели в одно время: она — раком, а он — черной оспой, Софья ухаживала за обоими до самой их кончины. Унаследовала она от матери большое состояние и все ее имение.

Софья Александровна Бедряга была моей бабушкой. Дедушка Петр Васильевич Неклюдов был гусаром, но рано вышел в отставку и жил помещиком, имея в Харькове дом и усадьбу в 40 гектаров. Когда он и Софья Бедряга поженились, им было по 20 лет. Петр Васильевич посчитал завешание несправедливым по отношению к двум сестрам Софьи и выдал им векселя на крупную сумму. Те положили векселя в стол, не предъявляя их к уплате.

Однажды к ним пришел их брат-офицер после крупного карточного проигрыша и умолял их спасти его. Сестры Софьи вспомнили о векселях и отдали их брату. Тот, не долго думая, отправился к харьковско-

му банкиру Дмитрию Рубинштейну и, чтобы покрыть свой карточный долг, продал векселя за половину их стоимости. Рубинштейн предъявил векселя к уплате.

Все пошло с молотка. Дом в Харькове и участок предложил купить за минимальную цену доктор Дудукалов, обещая сохранить их для дедушки, который в будущем их откупит. Но как только купчую подписали, Дудукалов потребовал: «Дом теперь мой, уходите вон». Мой отец был тогда в последнем классе реального училища и дружил с сыном квартального. Так они вдвоем набили доктору физиономию, и на этом все кончилось. Дед и бабушка оказались совершенно разоренными.

Пришла на помощь кузина бабушки княгиня Кудашева. Она обязалась содержать трех сыновей Неклюдовых и платить за их образование. Сама бабушка с младшей дочерью Катей решила ехать с Кострому, где дедушке его старый друг штаб-ротмистр Кавалергардского полка Александр Владимирович Михалков предложил управлять его тамошним имением и винным заводом. Так завязались судьбы Неклюдовых и Михалковых.

В это же время старшего брата дедушки Александра Неклюдова выгнала из дома жена, урожденная баронесса фон Пален, выгнала за пьянство, и он тоже решил ехать в Кострому. По дороге Александр Неклюдов вытащил у бабушки последние 300 рублей и спустил их. В общем, приехали, наконец, в Кострому и решили заперать Александра Васильевича, чтоб удержать его от пьянства. А он все равно каждый Божий день пьян в стельку. Выяснилось, что он платил дворовым мальчишкам и те спускали ему бутылки через трубу дымохода.

Между тем княгиня Кудашева сдержала свое обязательство: три брата Неклюдовых сумели получить образование. Мой отец Александр Петрович окончил рижский Политехникум по специальности инженера-

технолога. Его брат Василий окончил Институт путей сообщения. А третий брат Иван — московский Университет, юридический факультет.

Михалков имел в Москве дома на Волхонке стоимостью больше миллиона. Он предложил юристу Ивану Неклюдову вести все его дела в Москве. Моему отцу Александру Неклюдову он предложил управлять купленной им землей — 15 тысяч десятин около Таганрога, создать имение «Благодатное» и выстроить там кирпичный завод. Железная дорога и станция Кутейниково находились на его земле.

Экономия «Благодатная» стояла в пяти верстах от железнодорожной станции Амвросиевка. Таким образом, дедушка Петр Васильевич управлял имением «Кологриово» в Костромской губернии, мой отец — «Благодатным», а Иван Петрович — домами в Москве. Василий Петрович один стал работать по профессии — инженером путей сообщения — и дослужился до начальника путей Юго-западных дорог. Умер он от сыпного тифа в январе 1920 года в Краснодаре при отступлении белых армий, но об этом после.

## МИХАЛКОВЫ

Старый Михалков, Александр Владимирович, после сорока лет сошел с ума, и его имущество было взято под опеку. Опекуном был назначен генерал-губернатор Москвы Владимир Федорович Джунковский, красивый и обаятельный человек. Он приезжал примерно раз в год в имение, и это для всех был праздник. Я ребенком помню: его поехали встречать на станцию Амвросиевка и взяли меня. Я подошла к служащим станции и услышала их разговор. Телеграфист говорит начальнику станции: «Вот это человек так человек (тогда Джунковский уже был товарищем министра внутренних дел и шефом жандармов), смотри,

приедет и с каждым из нас за руку поздоровается, спросит о семье, о службе, а наш-то скотина начальник станции раздулся, как клоп, только и смотрит, к чему бы придраться».

Этот Джунковский, потом оказалось, помиловал многих революционеров и многих выпустил. Поэтому, когда в Москве его в 24-м году судил трибунал, эти люди выступили в его защиту, и его оправдали. Он поступил работать в библиотеку и был выбран церковным старостой; так продолжалось до 1936 года, когда его при Ежове опять арестовали, и он бесследно исчез.

Вернемся к старому Михалкову. Так как он был очень богат, то его не посадили в сумасшедший дом, а при нем находился доктор и два санитары. Сестра его Елизавета Владимировна Галл, богатая помещица, тоже сошла с ума. Однажды летом подъезжает к нашему дому ландо, запряженное четвериком гнедых коней. Из ландо выходит Елизавета Владимировна, и с ней компаньонка, она одета в меховое мантио в августовскую жару. Моя мать идет, протянув руки ей навстречу, та сбрасывает мантио, под ним нет никакой одежды, и садится на пол совсем голая. Мне тогда, верно, было лет восемь. Александра Владимировича я совсем не помню, он, верно, вскоре умер, и все наследовал его сын Владимир Александрович. Он был очень некрасивый, с дегенеративным лицом, рыжеватый блондин (я в детстве почему-то таким представляла себе Григория Отрепьева — Лжедмитрия). Хотя он был многократным миллионером, ему все еще хотелось больше разбогатеть.

Когда он приезжал, он мучил моего отца всякими проектами: заставил выстроить второй кирпичный завод, который конкурировал с уже имеющимся, требовал выстроить еще для выработки фаянса и стекла и до глубокой ночи развивал свои проекты. Я никогда не забуду, как он страшно побил, вернувшись с охоты,

свою собаку за то, что она схватила убитого перепела на балконе. Я очень не любила этого человека.

Его сестра Мария Александровна была непохожа на брата. Она славилась красотой. Замужем она была за неким Кристи, имела от него сына. В 1912 году с ней произошла драматическая история. В Новочеркасске были объявлены торжества по случаю трехсотлетия дома Романовых. В город приехал князь Трубецкой — потомок атамана, участвовавшего в выборе царя в 1612 году. Трубецкой приходился Михалковым дядей. Они все приехали в имение, где их ждал автомобиль с шофером-эстонцем. Поездом в вагоне-купе поехали Кристи с женой и Трубецкие, а автомобилем — мои родители и Владимир Александрович.

В Новочеркасске на вокзале произошло следующее: Кристи куда-то вышел из вагона-купе, его жена почему-то распустила волосы и, причесываясь, сказала: «Вот бы Володя нас сейчас увидел». В этот момент Кристи стоял за дверью, услышал эту фразу, вошел и выстрелил старому Трубецкому в грудь и убил на месте. Мария Александровна с криком выскочила из купе и бросилась бежать, а Кристи кинулся в жандармскую комнату при вокзале с криком: «Спасите, а то сыновья Трубецкого меня убьют».

У Трубецкого было два сына, офицеры-гвардейцы, и они тоже были на вокзале. Потом, подкупленные деньгами, доктора признали Кристи ненормальным, Мария Александровна развелась с ним и вышла замуж за Глебова. В том же году Владимир Александрович Михалков женился на его сестре, по-моему, Ольге Михайловне. В 1914 году он с женой и малым сыном Сергеем (теперешний знаменитый советский поэт) приезжали в имение. Водовоз дед Жук покати колесочку с младенцем и с маленькой горки пустил вниз. Ольга Михайловна Михалкова говорила, что тот испугался и поэтому стал заикаться.

В 1917 году, в феврале, я поехала на свадьбу моей троюродной сестры Сандры Неклюдовой в Петроград и по дороге была в Москве и зашла к Михалковым. Ольга Михайловна и ее два брата офицеры Глебовы были очень настроены против царского правительства, чем меня удивили. Владимир Александрович поехал со мной в одном поезде на юг: он — в свое имение, а я — в Таганрог, где мы тогда жили.

После революции В. А. Михалков с женой Ольгой Михайловной и с детьми скрылся на Кавказе, кажется, в Ессентуках. Старший его сын Сергей начал печатать патриотические советские стихи в красноармейском журнале. Владимир Александрович Михалков, кажется, умер еще в двадцатых годах на Кавказе.

Как-то в советской печати я прочитала, что советской охотой заведует Кристи, видимо, это сын Марии Александровны, урожденной Михалковой. Сергей Михалков, очевидно, ему помог там устроиться как своему двоюродному брату. Сергей Владимирович Михалков женился на дочери художника Кончаловского, их сын Андрей — кинорежиссер.

Так как мой дядя Иван Петрович Неклюдов вел дела Михалкова, его миллионного московского имущества, возможно, Михалков, став знаменитостью, где надо замолвил словечко о нем и его семье, т. к. никто из них не попал ни в тюрьму, ни в ссылку, и Григорий Неклюдов смог окончить Московское высшее техническое училище и стать профессором. В «Известиях» от 1961 года была о нем статья, что за внедрение техники автоматических часов ему присуждена Ленинская премия.

## ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА

Первое воспоминание детства: на нашей террасе перед домом моя няня гладит белье и так ловко дви-

гает уют, быстро подкладывая под него пальцы. Мне, верно, было тогда года три, и я это хорошо запомнила. Еще помню, в двуколку запряжен осел, и я с братьями еду, а сзади, подобрав юбки, за нами бежит француженка мадмуазель Рафар (она была для брата Васи), и дворовые мальчишки хохочут. Если француженка приходила в мою детскую и садилась на стул няни, та ей говорила «Але». Вообще я помню пренебрежительное отношение к иностранцам даже прислуги.

В 1905 году из-за брожения и беспорядков, как тогда говорили, пришел в имение полк пехоты. Офицер мне привез двух кроликов; потом они размножились и одичали. Пехоту сменила казачья сотня. Первые офицеры были: Терентий Михайлович Стариков (впоследствии генерал гражданской войны) и Владимир Амплиевич Полухин. Помню картинки-карикатуры на японцев: под японцем пистон, зажжешь шнурок — японец взрывается.

Как-то в конце сентября отец поехал в Таганрог за деньгами для расплаты с сезонными рабочими. Шум, волнение в доме, все возбуждены: оказывается, отъехав от станции Амвросиевки и проезжая мимо посадок, они попали на террориста, и тот открыл огонь по экипажу, но кучер погнал лошадей, и мой отец остался невредим. Казаки тотчас все оцепили, но никого не нашли. В декабре опять отец вез деньги, и из тех же посадок снова выскочил экспроприатор, как тогда называли их, и поднял стрельбу. Но сзади ехали еще подводы, мужики за ним погнались, он потерял шапку, убежал, но отморозил уши, и по этому признаку его задержали на станции Кутейниково. Приехал военно-полевой суд, и его у нас в балке Желобки расстреляли.

Все были очень расстроены и взволнованы. Помню, говорили, что тридцати казакам дали десять заряженных и двадцать холостых зарядов, так что никто

не знал, кто в него попал. Закопали его там же, на месте расстрела. Это было в 1905 году.

В лето этого года приехали к нам гостить дети моего дяди Василия Петровича Петя, Вера и Костя и привезли коклюш. Все заболели, и моя бонна Елена Степановна тоже. Она страдала ужасно, просто было страшно, что задохнется. Всех нас решили отправить в Крым, в Судак, на поправку. Был октябрь, наступили забастовки, и от Таганрога плыли на пароходе, очень качало. Пересадка в Керчи, горничная в гостинице вдруг говорит: «Наши фулиганы хотят ночью жидов бить». Вечером гостиница заполнилась евреями, которые, видимо, боялись оставаться дома. Утром улицы белые от пуха из перин, но убийств, к счастью, не было. В город прибыла казачья часть и восстановила порядок.

Мы на второй день опять поплыли на пароходе в Судак. Там было спокойно. Сняли дом с виноградником. Родители наши остались дома, а поехали бабушка и мы, четверо детей, с тетей Ксенией Боголюбовой. Чудная была погода, и мы играли в саду виноградника. Море было тут же. На берегу — скалы и огромные камни.

На горе крепость турецкая разрушенная, на море турки-рыбаки ловят рыбу таким способом: вбиты в дно четыре столба, на каждом столбе сидит по турку, а сеть лежит на дне. Вода прозрачна, и, когда стая кефали или скумбрии проплывает над сетью, рыбаки ее сразу поднимают и ссыпают рыбу в лодки.

Через месяц приехали за нами родители. Напоследок решили мы влезть на гору осмотреть развалины крепости. Влезли мы довольно легко, полюбовались дивным видом, погоняли ящериц, испугались большой змеи и решили спускаться, да не тут-то было. Круто, страшно, ни туда ни сюда. Застражили на горе, но никто не заревел. Нас внизу хватились и услышали наши

крики. Дядя полез на гору, надавал Пете тумачков и по одному спустил нас вниз.

Вечером на большой лодке турки повезли нас всех за мыс — в имение князя Голицына, у которого было огромное виноделие. Подъехали к месту, куда выходила большая пещера. Вышел человек и сказал: «Входите, князь будет рад». Пещера огромная, шли, шли коридором, по бокам ниши, и лежат бутылки с вином. В конце коридора просторный зал освещается свечами. большой стол, и во главе его сидит старик с белой бородой. По одну сторону — его зять князь Трубецкой, а по другую — караим из Крыма. Князь попросил всех к столу. Нас, детей, посадили на самом конце.

Князь сказал: «Милости прошу отведать моих вин. Я вас угощу медом, ему больше ста лет, и у меня его уже немного. Когда Государыня ожидала ребенка, я взял бутылку вина и поехал в Петербург. Родилась дочь. Я свою бутылку повез назад и так только на пятый раз дождался наследника и подарил бутылку, которую распили на крестинах. Смотрите, это Крым. Людовик говорил: «Государство — это я», а я могу сказать: Крым — это я». Наливали стакан вина и передавали, каждый отпивал глоток, и до нас доходило, и мы осовели. Плыли назад ночью, от каждого удара весел падали светящиеся капли, как светлячки, рыбаки сказали, что это всегда осенью бывает. Домой опять плыли пароходом, ночевали в Феодосии. Железнодорожная забастовка как будто кончилась, и мы пересели в поезд.

Мою бонну, Елену Степановну, сменила швейцарка мадемуазель Жакну. Я ее очень любила, больше родителей, она жила у нас три года, ее сменила Зинаида Рейнгольдовна Петерсон, которая стала готовить меня в первый класс гимназии. Очень интересная девица, на нее все заглядывались; даже толстый окружной начальник Николай Осипович Клунников, по сло-

вам кучера, целовал ей ручки, когда он их вез со станции. Контакта у меня с ней не было.

Этот Клунников был тучен, как свинья, с заплавающими глазами, и считал долгом разносить подчиненных урядников, орал на них, когда приходили к нему с докладом. Он вскоре умер от удара. Его заменил такой же толстый Ушаков, так же орал и тоже умер от удара. Его заменил Иван Петрович Колпиков. Этот окружной начальник был уже в другом роде. Он был мягкий вежливый человек. Когда произошла революция, его до 1936 года не трогали, т. к. никто на него зла не имел, а в тридцать шестом году арестовали и его, и двух дочерей Нину и Марусю, а третья дочь Таня уехала с институтом в эмиграцию в Сербию. Сын Николай погиб на войне, а что с младшим случилось — не знаю; он был талантливым музыкантом, может, и спасся.

Колпиков был страстный охотник и часто приезжал к нам. Отцу некогда было им заниматься, и он был поручен мне. Я его таскала по балкам, где водились куропатки, а он повторял: «Не так скоро, коза, за тобой не угонишься». Сели в линейку, усадили собак, правил не кучер, а конюх. Он повернул лошадь круто на косогоре, и все вывалились, и Колпиков покати́лся. Мужик, который там греб сено, сказал конюху: «Твое счастье, что это не старый окружной, тот бы тебе по морде надавал, остолопу, разве на косогоре можно заворачивать?»

Мне исполнилось тогда 12 лет, и папа подарил мне двустволку 20-го калибра завода «Крупп», стоила 150 рублей. Я знала, как обращаться с оружием, и страшно гордилась ружьем. Мой адъютант был сирота Пантелей. Его мать-кацапка умерла, и осталось трое детей: старшую Сашу взяли соседи Шварцы, второго мальчика — Дроновы, а Пантелея — мы. Пантелей сообщил, что на горе живет в норе лиса. Мы отправи-

лись, подстерегли лису, застрелили ее и раскопали нору, оказалось десять лисят.

Теперь, в 76 лет, это убийство лежит камнем на совести, а тогда — победа. Собрали лисят в мешок, принесли домой и вспомнили, что на чердаке лежит деревянный футляр дедушкиного гроба. Устроили в нем лисят, им, верно, месяц времени, серенькие, только кончик хвоста беленький. Попросила на кухне мяса — съели, только каждый есть хочет носом в угол. Углов четыре, а лисят — десять, визг и драка. Выкопали с Пантелеем яму большую, помогал Гриша, тоже сирота. Обтянули сеткой яму и пустили туда лисят.

В это время приехали Шварцы в гости. Сигизмунд Борисович Шварц — крещеный еврей. Когда-то он влюбился в оперетточную артистку Лидию Александровну, урожденную Антилли, перешел в лютеранскую веру и женился на ней. У него в Одессе была торговля вином. За то, что он изменил вере, его два родных дяди и двоюродные братья подали все векселя ко взысканию — всё продали с молотка, а он попал в долговую тюрьму, где просидел десять месяцев. Выкупили его русские купцы, поклонники Лидии Александровны. На станции Амвросиевка у него потом, когда дела поправились, был хороший дом с садом. А Дронов был инженер цементного завода, у него была жена и трое детей. Это были соседи, с которыми мы часто встречались. Они жили в пяти верстах от нас.

У Шварцев две дочери: младшая — моих лет, Лида, старшая — Нина. Так вот, приехали эти барышни в белых кружевных платьях, в перчатках, а я в глине перемазана. Я привела себя в порядок, и вот мы сидим в гостиной, чай пьем. Пошел дождь. Вижу в окно — Пантелей мне делает знаки. Выхожу. Говорит, что лисята копают выход из ямы. Побежала посмотреть: уже ни одного не видно, все в проходе. Бросила гостей, влезла в яму через дыру прохода, стала за лапки их вытягивать, а Пантелей сносить опять в ящик.

Кончили, меня ищут, а я вся в глине. Разнос, и ставят в пример Лиду: она барышня, а я неизвестно что.

Через два года вот что случилось с Лидой, которую мне ставили в пример. Так как стало беспокойно и начались грабежи, то охранниками стали нанимать черкесов с Кавказа. Эти магометане были абсолютно честные и неподкупные сторожа. Одеты они были в черкески с кинжалами, вооружены бердынками. Воображения наши были потрясены. Зимой я училась в институте в Новочеркасске, а на лето приезжала домой. Уже мне было 14 лет, Лиде тоже, только я была щуплая, а она в полном расцвете девица. И вдруг она пропала. Пропала и все. Обыскивали все вокруг — безрезультатно. Так прошло три дня. Вдруг звонок по телефону: Лида нашлась на станции Прохладная на Кавказе. Пассажиры обратили внимание на мальчика в черкеске, у которого из-под папахи видны волосы, а горцы, известно, бритые. Она была с двумя черкесами-сторожами соседнего помещика, и это они уговорили ее бежать с ними. Еще бы одна станция — и начинались аулы, только бы ее и видели.

Она была пышная блондинка. В дальнейшем она сошлась с пленным мадьяром, что был у них на работе. Поскорее вышла замуж за офицера, сына председателя Николая Бородин, родила раньше времени сына, что очень не понравилось мужу, и в восемнадцатом году, в мае, когда сыну было полгода, заболела испанкой и через месяц умерла от воспаления легких. (Когда умерла Лида в Таганроге, в полдень, то дома в имении ее собаки, которых она очень любила, выскочили все на середину двора и завыли, так что ее няня сразу сказала: Лида умерла, — что и случилось как раз в этот момент.) Сын остался у ее родителей, а муж ушел в белую армию. Сигизмунд Борисович Шварц работал при красных бухгалтером и в двадцать шестом году умер от рака, а жена, дочь и внук в Ростове бедствовали, и профессор медицины Коган, их племянник, ни

в чем им не помог, и кузина Аннета, замужем за влиятельным евреем, от них отказалась. Лидия Александровна и Нина умерли от голода, а куда мальчик делся, не знаю.

В казачьей сотне, что продолжала стоять в имении в 1912 году, отбывал воинскую повинность вольноопределяющимся по окончании университета мой будущий муж Михаил Александрович Миллер. Ему тогда было 28 лет, он был женат и имел пятилетнюю дочь Галю и годовалого сына Николая. Он уделял мне много внимания, интересовался моей джигитовкой и подарил мне плетъ. Меня это особенно тронуло, т. к. я ни у кого дома не встречала сочувствия моим мальчишеским наклонностям. Мою маму огорчало, что у меня нет женственности, что я не интересуюсь платьями, что я вроде амазонки. Я любила одеваться мальчишкой и целый день ездить верхом или ходить с ружьем.

Дома у нас царили остатки феодализма. Девочкам, дочерям конторщика (моим подругам), хотя они учились в гимназии, не позволяли ездить со мною верхом, никогда не приглашали их к столу, а угощали только в детской. Я помню, как мне трудно было потом, уже при советской власти, сажать за стол с нами деревенскую девочку Веру, а мама всегда старалась накормить ее отдельно.

В этом же году приехал Владимир Александрович Михалков провести лето в этом своем имении. Для этого приезда он выстроил себе дом на берегу реки Крынки в трех верстах от нашего дома, на так называемом огороде; у него был еще и большой фруктовый сад. Там варили в большом котле для рабочих галушки, очень вкусные, из темной муки и заправленные постным маслом с луком. Вообще сельских рабочих кормили так: утром на завтрак — кандер. Это суп из пшенной крупы с картофелем. На обед — борщ с пшенной кашей, затем полудновали — ели хлеб с помидо-

рами или огурцами, с арбузами или дынями. На ужин — галушки. Черного хлеба, конечно, сколько угодно. При кухне держали свинью, которая поедала остатки.

После работы чуть не до рассвета слышалось пение молодежи — удивительно, когда они спали? На работу приезжали украинские дивчата и хлопцы из слободы Сватово Харьковской губернии и нанимались в срок от июля до 1 октября. Получали не то 40, не то 60 рублей за эти три месяца при бесплатном питании.

Работа была по уборке урожая. Косили косилками, упряжка — лошадь, грабли конные, складывали копны вручную. Еще вручную догребали граблями. Молотили паровой молотилкой. Подвозили большими арбами, упряжка парная — волы или лошади. Работа очень тяжелая, пыльная (и для глаз опасная) — стоять на полове при молотье. После молотилки зерно поступало в веялку, где окончательно очищалось от половы.

Крестьяне машин не имели и молотили свое зерно на токах: лошадь с вальком водили по кругу и так молотили зерно. Веяли, ссыпая из ведра на ветру, вручную. У хуторян уже были и молотилки, и веялки, а также прекрасные лошади и брички.

Около имения Михалкова были земли сектантов, мужиков-молокан Мазаевых, они были русские. Григорий Мазаев еще одевался по-крестьянски. У него было около тысячи десятин. Его земля граничила на огороде с Михалковыми. Иногда он приглашал на пикник, но его семья никогда не появлялась, он принимал один. Угощали утками, гусями, замечательным хвостом, какого я никогда больше не ела. Абрам Мазаев был богаче. Его земля граничила на Копанях, он носил сюртук и котелок. Иногда он один приезжал к нам в гости. Еще дальше была земля Дея Мазаева. Эти молokane скупили земли разорившихся помещиков: Луковкиных, Мартыновых, Кутейниковых, Ило-

вайских и др. В революцию они все погибли, а их хозяйства были растащены.

Летом тринадцатого года съехались мы все, дети Неклюдовых: от 20-ти лет до годовалого Алеши. Кате и Сереже по 20 лет, нашему Васе 18, Грише и Пете по 15, Варе 14, Косте 13, Павлу 8 и Алеше год. Гриша сейчас же влюбился в хорошенькую Варю, она была, как кошечка, все обращали внимание на нее — женственная шатенка с бархатными глазками. В 1918 году она вышла замуж за Николая Платоновича Х., эмигрировала в Париж и там умерла от заражения крови, не дожив ребенка, в 1922 году. В 1920 году, оставленные при отступлении, больные тифом добровольцы Петя и Костя погибли; так потом никто не узнал, как это было. Мой брат Сергей погиб в феврале на Донском фронте. Брат Вася пережил все и умер от рака легких в Нью-Йорке в мае 1968 года. Мы с Алешей еще живы.

## ВОЙНА

В 1914 году 29 апреля внезапно скончался мой отец. Старший брат Сережа, студент новочеркасского политехникума, пришел в мой институт с этим печальным известием как раз на последний урок гимнастики. Я собралась и больше уже туда не вернулась.

На похороны отца приехал Владимир Александрович Михалков. Идя за гробом, он ужасно плакал и говорил, что его имение пропало, так что даже моя мама его утешала. Обеспечил он нас по-царски: полное жалованье отца до окончания моими братьями их университетов, а после — пенсию маме, которую она и получала до революции.

Мы переехали в Киев. Здесь жила семья дяди Василия Петровича, начальника пути Юго-западных дорог. Дядя нанял нам квартиру из пяти комнат на

Львовской улице дом № 38. Меня перевели в киевский институт приходящей.

Пойнтера Альму мы решили взять с собой, а собак Пинчиков я отвезла соседям Дроновым. Ветеринар Мильтон их вскоре умертвил.

Каждый день мой брат Сережа отвозил меня в институт трамваем и в шесть часов вечера привозил домой. Почти ежедневно мы встречались с двоюродными братьями Петей и Костей и сестрой Варей. Когда грянула война, Сережа поступил в Земгор. По слабому здоровью он не был взят в армию. Второй мой брат Василий перевелся на ускоренные офицерские курсы в Пажеский корпус.

Летом 1915 года политехникум закрыли, и мои двоюродные братья Петя и Костя работали там по набивке снарядов. Однажды в одном из корпусов, где работала молодежь, раздался взрыв. Вероятно, кто-то неосторожно закурил папиросу. Огнем отрезало путь к двери. Петя с Костей были снаружи. Они с ужасом увидели, как из окон четвертого этажа в панике выбрасываются гимназисты. Где-то они раздобыли веревку и с ней вскарабкались по трубе наверх. Хорошо укрепив ее, они начали спускать людей с четвертого этажа. Затем они принялись спасать и тех, кто был на нижних этажах. Здание сгорело полностью. Герои Костя и Петя держались скромно, объясняя свой поступок простой сообразительностью.

## ЛЕТО 1915 ГОДА

Маму, меня и маленького Алешу пригласила семья двоюродного брата моего отца Петра Алексеевича Неклюдова провести у них это лето в их имении «Цецорино» Волчанского уезда Харьковской губернии. У дяди было четверо детей: Сандра — 21, Миша — 20, Кирилл — 12 и Елизавета (по прозвищу Будя) — 8 лет.

У Буди гувернантка мисс Хэсси. Богатое имение, большой помещичий дом, просторный сад, на конюшне много лошадей. Я могла сколько угодно ездить верхом и ходить на охоту. У Кирилла адъютанты: Сашко и Никола, сыновья кучера Ивана Чернова. Кирилл озабочен: у него своя маленькая пасека, и он слышал, что появились воры — деревенские и хотят украсть ульи. После ужина Кирилл с адъютантами отправляются ночевать на пасеку в маленькой будке-домике. Сандре приходит мысль — изобразить воров. Сандра, я и мисс переодеваемся в мужские платья, нахлобучиваем фуражки и идем на пасеку. Луна светит ярко. Мы стучим в домик. Тишина, дверь заперта изнутри. Мы берем каждая по улью, выносим их и прячем за куст, затем бежим домой, переодеваемся и как ни в чем не бывало садимся за стол. Вбегает страшно возбужденный Кирилл с мальчиками и говорит: «Несколько огромных парней напали на пасеку, но мы выскочили с ружьем, и они убежали». Мы стали смеяться и рассказали им правду. Бедный Кирилл чуть не расплакался от обиды, так что мы пожалели, что признались. В 1943 году в Сербии он был убит по ошибке партизанами.

\*       \*       \*

Дядя Петя держал выезд с кучером в городе, что дорого стоило. Женат он был на Елизавете Михайловне, урожденной Мартыновой. Мать его была урожденная баронесса Корф, видная петербургская аристократка. В 16 лет он бросил гимназию и убежал с опереткой. У него был очень хороший голос. Его нашли и водворили домой. Он окончил гимназию, затем юридический факультет Харьковского университета.

Его сестра Мария Алексеевна Неклюдова замуж никогда не вышла и была сперва классной дамой, затем инспектриссой Смольного института, начальницей

Одесского, потом Харьковского института. Последний она вывезла за границу, в Сербию, где продолжала работу по воспитанию русских девушек. Так как она и раньше встречалась с шефом института, Государыней Марией Федоровной, матерью Государя, то и в эмиграции не прерывала с ней связь и через нее устраивала окончивших институток на работу или дальнейшее ученье. Во время второй мировой войны она опекала русских детей, разлученных с родителями. Она вывезла детей в Вену, где мы с нею и встретились случайно в русской библиотеке. Она заболела воспалением легких, и мы взяли ее к себе. По ее выздоровлении немцы направили их в северную Германию.

Ее помощник, русский эмигрант, ушел на запад пешком с мальчиками, а она с девочками была захвачена Советами и отправлена на Волгу в село Кузькино. Ей удалось войти в связь с племянницей Алиной, старшей из Куколь-Яснопольских, преподавательницей английского языка в Институте иностранных языков в Ленинграде. Алина основательно ей помогала.

Американцы потребовали возвращения вывезенных детей, которые все родились за границей, и их вернули. От них узнали, что тетю Марусю поместили в избе с одиннадцатью детьми, не позволяли встречаться с ее воспитанницами, даже чинить их вещи. В этой же избе она и умерла.

Многие ее бывшие воспитанницы проживают сейчас в Америке и свято чтут ее память. У нее было много дарованных царских подарков, золото с бриллиантами, она нам их в Вене показывала. Всем понравились советчики. Вряд ли эти вещи попали в музей.

...У моего дяди работали пленные немцы, и я смотрела на них и не могла поверить, что эти вежливые милые люди — те страшные немцы, с которыми у нас война. До этого я видела только пленных австрийцев на питательном пункте в Киеве на вокзале, где все работали бесплатно.

На полях около «Цецорина» водились дрофы. Эти большие птицы приспособились выводить птенцов в пшенице, до ее уборки. В районе Таганрога я уже дроф не видела, они перевелись совсем, а там я видела несколько выводков. Я гонялась за ними с двустволкой, но ни разу подстрелить не удалось. Поразило огромное количество шулик, коршунов, вечером ими покрывались все ветки леса. Они питались главным образом полевыми мышами.

Сандра прекрасно играла на рояле, Миша — на виолончели (он умер в ноябре 1917 года от газовой гангрены — последствие раны, полученной в бою под Ростовом). По вечерам устраивали концерты.

## ЗАДОНСКИЕ

Ездили в соседние имения родственников Задонских. Сестра моего дедушки Петра Васильевича Неклюдова Екатерина Васильевна вышла замуж за Андрея Воиновича Задонского, очень богатого помещика.

Дом и церковь на горке были построены архитектором Растрелли. Виды дома с колоннадой и церкви тоже были замечательны. Отец Андрея Воиновича был привезен четырех лет в кадетский корпус и не имел никаких родственников. О своем происхождении он не знал ничего, никаких родных не имел. На него были записаны богатые угодья в Волчанском уезде. Это он построил дом и церковь. Он был очень красив, также и его сын Андрей. Второго сына звали Иван.

Моя двоюродная бабушка Екатерина Васильевна, овдовев, наследовала большое богатство. Дом походил на дворец. Анфилада комнат, обставленных дорогой старинной мебелью. Дом двухэтажный, комнат, если не ошибаюсь, сорок. Прислуги — целый штат. При доме еще в нижнем этаже церковь в большом зале.

Детей у нее было трое: сын Василий и две дочки — Ольга и Екатерина. Ольга вышла замуж за князя Вадбольского, уже обедневшего, а Екатерина — за помещика Куколь-Яснопольского.

\*       \*

Куколи — два сына и четыре дочери — после революции эмигрировали. Сыновья Володя и Коля — в Париж, где Коля работал всю жизнь шофером, вначале у одного маркиза, а после его смерти таксистом. Днем он был шофером маркиза, а по вечерам его другом. Коля окончил императорское училище правоведения и владел многими языками. По вечерам он и маркиз много беседовали о политике и о религиозных вопросах. Много читали и делились мнениями. Женат был Коля на бывшей смолянке, но счастлив с нею не был, т. к. она ничего не умела и была капризна. Она его пережила и умерла недавно. Коля учился в одном классе с моим братом Васей. Был мягкий, добрый воспитанный человек. Он посетил нас в Мюнхене в 1953 году, когда возил по Европе одну богатую американскую старушку. Старушка отпускала его в 6 часов, и он приходил к нам. У нас тогда жила его сестра Елена Николаевна Хомицкая. Коля все желал этой 80-летней старушке долгую жизнь, потому что она каждый год приезжала в Европу и осматривала какую-нибудь страну. Его, как знающего английский, назначили ее возить. Жил он в Париже в бедной квартире в 15-м округе.

\*       \*

Кроме дочери Вадбольской и ее мужа, с бабушкой Задонской жила ее младшая сестра Юлия Васильевна — княгиня Гагарина, 74-х лет, а бабушке было 80, может и больше. Она была очень бодрая и сама вела

все хозяйство. Как сейчас помню, у нее на поясе висела большая связка ключей. Все семья была очень религиозна. Над ними даже подтрунивали из-за этого.

\*       \*

После революции образовались банды, и одна из таких банд подъехала на тачанках к их поместью. Бандиты ввалились в дом и сказали, что всех перебьют. Бабушка спокойно ответила: «Подождите, я должна к смерти одеться». Они уселись и сказали: «Хорошо». Бабушка надела лучшее платье, наколоу на голову, пришла и сказала: «Я готова, прошу убить нас в церкви». Согласились. Бабушка, ее сестра Юлия Гагарина, Вадбольские — муж, жена и два их сына 14-ти и 15-ти лет (младший Шура спрятался под кровать, и его не нашли), соседняя помещица графиня Генрикова 80 лет и ее компаньонка англичанка мисс Сесил, гостившие у них, были зарублены в домово́й церкви. Имение находилось около села Великий Бурлук. После расправы банда поехала в другое имение — «Среднее», принадлежавшее внучке бабушки Задонской Кате. Катя была замужем за много старше ее двоюродным дядей Николаем Михайловичем Неклюдовым. Ей было 25 лет, она была очень красива, прекрасно пела и играла на рояле. У нее было пять или шесть детей. Прислуга из Бурдука позвонила им о случившемся и сказала, что банда поехала к ним. Катерина Васильевна не растерялась: велела прислуге скорее накрыть стол на террасе, усталавила его закусками и напитками. Подкатали пианино, и, когда банда подъехала на тачанках, Катя их встретила, поклонилась в пояс и попросила к столу. Бандиты были голодные — уселись и стали пить и есть, а она стала играть им на пианино и петь. После ужина у них уже пропала охота кого-либо убивать, и они уехали. Таким образом Катя спасла свою семью.

При отступлении белых они приехали в Новочеркасск, где заболели тифом. Когда красные вошли в город и в их помещение, то больные и умершие лежали вместе, и их не тронули. Пережили тиф сама Катя, ее старший сын Андрей, второй — Алексей и грудной Николай. Муж, дочь и два сына умерли. Мать Кати была дочь пастора в Риге, где учился в Политехникуме ее отец Василий Андреевич Задонский. Мать Кати все звали тетя Молли, она умерла до войны, а ее брат, дядя Фридрих, в двадцать седьмом году выкупил свою племянницу с детьми, и они переехали к нему в Ригу. Во время второй мировой войны Николай и Андрей были мобилизованы немцами в армию. Андрей пережил плен у Советов благодаря знанию двух языков, был переводчиком у немецких пленных инженеров, строивших Волго-Донской канал, и вернулся на Запад. Николай был арестован французами, которые собирались выдать его Советам, но безукоризненный французский язык его выручил, и его освободили. Теперь, принявши сан священника, он живет в Америке, его мать, Катя, живет при монастыре, ей около 90 лет...

Вернусь к дяде Пете Неклюдову. Однажды ночью в «Цецорино» бандиты хотели его убить, но кучер Иван Чернов вывез его и спрятал. За это бандиты повесили Ивана на воротах конюшни. Сыновья его, Сашко и Никола, пошли в белую армию, отступили за границу и умерли: один в Канаде, другой в США, а сестра их Настя умерла от голода в СССР в тридцать втором году. Дядю Петю в девятнадцатом году зверски убили (банда «зеленых») под Новороссийском.

\*     \*  
\*     \*

К первому сентября 1916 года, к началу занятий, мы вернулись в Киев. Война была в разгаре, и наши отступали. В декабре убили Распутина. Тетя Маня

работала на кухне лазарета для тяжело раненных — как офицеров, так и солдат. Она потом рассказывала, что одна из сестер милосердия вбежала в палату с радостным криком: «Ура, Распутина убили!» — на что один из солдат ответил: «Один мужик дошел до царя, и того господу убили».

Фронт приближался, и дядя Вася решил нас и своих детей отправить подальше в тыл, в Таганрог. Там проживала с семьей сестра моего отца Екатерина Петровна Минаева. Это был прекрасный, необыкновенной доброты человек. Замужем она была за бывшим разжалованным казачьим офицером Иваном Ивановичем Минаевым. Вот его история.

В 1905 или 1906 году Минаев был послан с отрядом на усмирение бунтующих шахтеров в Донбассе. Он нашел, что рабочие правы, и увел свой казачий отряд в казармы. За это он был разжалован, сидел в Новочеркасске в тюрьме. О нем рассказывали тете казачьи офицеры Стариков и Полухин и просили ему помочь. Тетя поехала в тюрьму, поговорила с ним, влюбилась в него и написала Джунковскому письмо столь убедительно, что тот распорядился выпустить его без права работать в казенных учреждениях. Дядя Петя Неклюдов устроил его в земельный банк бухгалтером в Таганроге, где сам работал.

\*       \*  
\*

Итак, мы все переехали в Таганрог. Мы наняли квартиру в Итальянском переулке, угол Александровской, у грека Заниди, а Петя, Варя и Костя — у Минаевых. Летом они уехали к себе в Киев.

АЛЯ СЕМАШКО И ЕЕ ДРУЗЬЯ

1915/16 учебный год я провела в Новочеркасске, куда перевелась в свой прежний класс приходящей.

Устроилась на квартиру к маминой бывшей подруге по институту Семашко. Она вышла замуж за офицера, воспитателя кадетского корпуса Петра Семашко, имела четырех детей: очень красивую дочь Алю, впоследствии студентку-медиčku Петербургского университета, очень некрасивую Киру, затем сыновей — кадета Аркадия и гимназиста Диму. Аля была коммунисткой. У нее собирались: студент Сырцов (впоследствии большая персона, был, кажется, в 1924 году председателем Совета народных комиссаров), затем Костя Кирста, сын воспитателя кадетского корпуса, и другие. Кирсту казаки поймали впоследствии с Подтелковым и повесили. Аля Семашко при советской власти была послом в Вене. В 1936 году Сталин расстрелял Сырцова, а Аля попала в лагерь. Аркадий, четырнадцати лет, очень высокий мальчик, выдал себя за восемнадцатилетнего и пошел добровольцем в белый казачий отряд, и был убит при взятии Новочеркасска. Когда Аля, вступив с красными в город, пришла домой, то попала на похороны брата. Так вот, когда эти молодые коммунисты собирались в шестнадцатом году, они строили будущее, такое светлое, такое замечательное. Я их пропаганде не поддавалась, а Алин двоюродный брат гимназист Коля Кунаков говорил: «А я казак, мое дело будет вас разогнать», — и они на него накидывались. Кто мог тогда думать, что через полтора года в руках Сырцова будет жизнь и смерть тысяч людей и что он, этот строитель светлого будущего, будет подписывать на расстрел своих бывших товарищей: студентов, гимназистов и казаков из станиц, воевавших против красных. В 1936 году и он получил пулю от Сталина. Как говорит пословица, Бог правду видит, да не скоро скажет.

Институт я окончила в мае 1916 года и уехала в Таганрог. В феврале 1917 года меня пригласили на свадьбу Сандры Неклюдовой в Петроград. Она вышла замуж за мичмана Балтийского флота Дмитрия Ива-

новича Задонского, своего родственника. Сейчас же после свадьбы произошла Февральская революция.

## ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Всюду красные банты. Еду домой через Москву, там делаю остановку, чтобы повидать своих. Останавливаюсь у дяди Вани. Его жена и ее брат, Григорий Иванович Опарин, очень лево настроены, как и Михалковы, к которым я зашла.

Пошли с Гришей на Красную площадь, там уйма народу. Крестьянин около нас говорит: «Слышно, царем будет Михаил Александрович, и слава Богу, а то какая-нибудь рвань начнет нами управлять».

Вечером отправились в Художественный театр на «Синюю птицу». Играли «Марсельезу», многие были с красными бантами. Была в Третьяковской галерее, поразила картина Репина «Иван Грозный». Между прочим, все почему-то считали Ивана Грозного изможденным старцем, а когда большевики открыли все царские могилы, то оказался Иван Грозный великаном, что-то около двух метров роста, и такой тучный, что не влез в каменный гроб. Гроб должны были обтесать внутри. Андрей Боголюбский тоже оказался великаном и силачом. На костях скелета были видны многочисленные следы от ударов мечей, а кости — как у молодого, хотя ему было тогда за 60 лет.

В поезде домой все пассажиры были возбуждены и говорили о политике. Ехали матросы Балтийского флота, заверяли: «Мы поддержим Временное правительство». В общем, все думали, что наступит райская жизнь. Так что я даже, будучи против революции, начала сомневаться. Братья мои были на фронте в артиллерийском дивизионе, которым командовал мамин двоюродный брат Борис Аркадьевич Боголюбов.

(Он пережил войну и скончался в сорок лет в Краснодаре в декабре 1918 года от разрыва сердца. Его сын Боба проживает в Чикаго, по профессии инженер; родился через месяц после смерти отца. Мать его воспитала и вырастила одна. Окончил он в Мюнхене высшую техническую школу. Он был образцовый сын. Когда она заболела раком и была оперирована, он дома сам ухаживал за ней пять лет. По окончании войны они переехали в Марокко, где он открыл частное инженерное бюро. Только после смерти матери он женился и уехал в Чикаго. Я слышала, что у него четверо или пятеро детей. Жена его — русская из Югославии, как и он сам.)

Первым по окончании войны вернулся мой старший брат Сергей в чине прапорщика, затем Василий, которого солдатский комитет разжаловал из подпоручиков в канониры, с соответствующим билетом. Приехали два юнкера Миши Неклюдовы, один Петрович, другой Михайлович, ту семью мы совсем не знали.

Мы поехали дальше в Новочеркасск. На улицах Таганрога всюду кучки людей, рабочих больше у вокзала. Кавалерийский Заамурский полк стоит в городе: командир — грузин князь Микеладзе. Еще из воинских частей Киевское пехотное училище: командир — полковник Мастыка, видимо, белорус; училище эвакуировали в 1915 году, и оно там так и осталось.

## ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

В декабре 1917 года в Ростове под командой студента Сырцова рабочие начали восстание. Не могла вспомнить, как имя Сырцова, хотя и знала его лично по Новочеркаску, посмотрела в Советской энциклопедии — там его среди расстрелянных в 1937 году нет. На усмирение были брошены казачьи части из Новочеркасска и юнкера. Миша, сын Петра Алексеевича,

был ранен в ногу навывлет, ранение пустяшное, но началась газовая гангрена. Миша тихо скончался на руках своих кузин сестер Яновых. Мы поехали на похороны. Он был очень хорош собою, похож на прадеда Мартынова. Лежал в гробу — как спал. Еще в соборе стояли пять гробов казаков, убитых под Нахичеванью. Большевиков тогда разбили, и Ростов заняли добровольческие части.

Мы вернулись в Таганрог. Было беспокойно, по ночам стрельба. В Таганроге начали вербовать добровольцев. Офицеры Заамурского полка не пошли в белую армию. Завербовались гимназисты. Солдаты Заамурского полка бросили полк и разошлись по домам. Остались их лошади. За ними стали ухаживать гимназисты. Когда сформированная белыми часть поехала в Ростов, эти мальчики верхом на полковых лошадях уехали тоже, среди них и мой двоюродный брат Мока Лаврентьев. Он пошел кормить лошадей и не вернулся, так же, как и другие мальчики.

## ВЕРОЛОМСТВО КРАСНЫХ

На улицах толпы рабочих все росли, и в конце января началось новое восстание. Командир Киевской школы прапорщиков полковник Мастыка попросил ревсовет выпустить школу из Ростова без боя и гарантировал, что и школа уйдет из города без выстрела. Это согласие было подписано Мастыкой и главой красных Старниным. Утром школа в боепорядке выступила из гостиницы «Европейской», где она размещалась. Пошли не прямо из города, а повернули налево по Гоголевскому переулку, а затем направо по улице Кузнечной — тупику, который идет от Гоголевского. Когда вся школа повернула на эту улицу, с крыши углового дома красные начали стрелять из пулеметов вдоль улицы по колоннам юнкеров. Полковник

Мастыка был убит одним из первых. Очень много юнкеров пали мертвыми или ранеными, остальные стали разбегаться кто куда. Их хватали и тут же убивали. Добили всех раненых. Тем не менее, человекам пятнадцати удалось спрятаться. Надо полагать, что это были большей частью отличившиеся на войне солдаты, которых хотели сделать офицерами, были и молодые люди, из которых хотели сделать прапорщиков. Мои братья остались дома и не ушли с белыми, т. к. отступление было внезапным.

На другой день после избиения юнкеров к нам пришел иеромонах греческого монастыря и сказал, что у него прячется семья убитого полковника Мастыки: вдова, ожидающая ребенка, дочка лет восьми, пятилетний сын и их няня. У себя он их держать не может, так как не гарантирован сам. Мы согласились, чтобы они пришли к нам. Ночью стук в дверь. Открываем. Стоит юнкер, просит: «Монах сказал, что семья полковника у вас, спасите и меня». Мы его впустили. Мастыка его хорошо знал, звали его Петя Репик. Вдруг он упал, у него изо рта пошла пена, и он потерял сознание. Я побежала за доктором Исааком Яковлевичем Шамковичем, который жил через несколько домов и хорошо нас знал. Он пришел, осмотрел Петю и сказал, что это падучая. Шамкович нас не выдал. Мы боялись оставить Петю в квартире и устроили его на маленьком чердаке, дверца которого выходила в пролет окна в потолке, выходившего на крышу шахтой. На стекло окна он набросал сора. Ночью он спускался в квартиру, а на день забирался на чердак.

## ОБЫСКИ

Тут начались обыски. На нас донесли, что у нас офицеры. С первым обыском пришел сам Старнин (в просторечии Стервин), искали оружие, а я спрятала

его на чердаке соседнего дома: маузер, большой и малый браунинг, парабеллум. Наш отец любил оружие, и были еще две малых винтовки «винчестер». Я хорошо запрятала их под обшивку. В этом доме был амбар, и там никто не жил. На семью Мастыки они не обратили никакого внимания. Братья показали свои удостоверения — один бомбардир, другой прапорщик. Не найдя оружия, они дали ордер, на котором было написано, что обыск произведен, все в порядке и больше обысков не производить.

Не прошло и недели, как опять обыск, и опять сошло благополучно.

В это время из учеников коммерческого училища организовалась группа по спасению оставшихся в живых юнкеров. Военкомом города был матрос Канунников, добродушный веселый парень. К нему секретаршей поступила очень интересная эстонка. Она украла у него печать и бланки. Сделали удостоверения: «Солдат такого-то полка едет домой, или в отпуск, или в командировку». Такой документ дали Пете Репику и устроили его на квартире священника. Находили юнкеров под опрокинутыми лодками, на чердаках — всего спаслось из всей школы не больше десятка. Мадам Мастыка стала беспокоиться: она торопилась уехать в Новочеркасск, где у нее была знакомая. Кроме того, будучи студенткой, она дружила, как она говорила, с Колькой Крыленко. Надеялась связаться с ним и думала, что ради старой дружбы он ей поможет. Денщик умершего дяди Бори Боголюбова Никитин, который жил у них в доме, согласился вместе со мной их сопровождать. Для них тоже сделали документы на чужое имя, и Канунников не читая подписал. Он все подписывал не читая — верно, был малограмотен.

Мы благополучно доехали до Ростова, там усадили их в поезд на Новочеркасск. Мадам Мастыка поблагодарила нас и сказала, что теперь доедет сама,

а мы можем возвращаться домой. Мы попрощались и пошли искать поезд. Вдруг объявляют: поездов на Таганрог не будет, т. к. наступают немцы. Мы с Никитиным сидим на вокзале и думаем, что нам делать. На скамейке против нас расселась какая-то красная делегация, человек шесть. Все очень хорошо одеты, хотя видно — рабочие. Один из них, как раз против меня, снял новые желтые ботинки, видимо, тесноватые, и расправляет пальцы. Я смотрю на его ноги и вижу: ботинки вдруг испарились, будто их никогда и не было. Он хочет их надеть, туда-сюда — их нет. Смотрит под лавку — нет. Он вскакивает, оглядывается, начинает страшно ругаться и идет гусиным шагом в носках — никогда этой картины не забуду.

Вернулись мы домой в два ночи. Я постучала, мама с опаской открыла и страшно мне обрадовалась, никто не ложился спать. Никаких немцев и близко не было. В городе развешен приказ: после шести вечера никого не пускать в дом, т. к. под видом обыска приходят грабители. В город вступила латышская дивизия Сиверса. В шесть вечера звонок. Перед домом стоит грузовик, полный солдат. Мама говорит: «Есть приказ никого не пускать». Стоящие у двери отвечают: «Нам донесли, что здесь скрываются белые офицеры». Тогда они еще не взламывали дверей.

Мама посылает меня через черный ход, который выходил на другую улицу и на которой был государственный банк и стояла стража из местных рабочих, называемых тогда красногвардейцами. Я решила обратиться к ним за помощью. Только я выскочила из ворот и побежала к банку, как солдаты меня увидели и закричали: «Стой, стрелять будем!» Я остановилась, несколько латышей подбежали, стали тыкать мне в нос ружьями. Я не испугалась и говорю: «Ишь, какие храбрые — на одну девочку сколько набежало. А как было на фронте? Вишь, все уцелели, верно под кустами отсиделись». И вижу среди них русского Ваньку,

говорю ему: «Помогай, помогай русских уничтожать». Он сказал своим: «Ну чего вы, это ведь женщина, а не офицер».

В это время подошел еще один военный, которого называли «товарищ капитан». Он сказал им: «Сейчас разберемся», — а мне: «Видите ли, к нам в штаб пришло заявление, что в вашей квартире прячутся белогвардейцы, и мы приехали их арестовать, пустите нас в квартиру». Я говорю: «А приказ никого не впускать без ордера? Где ваш ордер? Его у вас нет». Тогда он говорит: «Давайте позвоним в ревсовет по телефону». Пошли в аптеку, тут же на углу, Трахтенберга. Аптекарь испугался и делал мне знаки, зачем я так резко с ним говорю. Не дозвонились — там все пьяные. Тогда капитан говорит: «Пустите меня и двух товарищей в вашу квартиру осмотреть и проверить, и если пахнет калединым духом, то арестовать». Я согласилась. Идет он, русский Ванька и солдат-латыш. Идем с черного хода. Стучим — подходит мама. Говорю: «Открой». Пети Репика тогда у нас уже не было. Капитан попросил документы, а латыш и Ванька начали делать обыск. Капитан говорит: «Идем, товарищи, здесь одна семья, никто не прячется. Если бы здесь пахло Калединым, я бы не стал возиться, тут же бы их расстрелял». Вижу, он за нас стоит, но мало имеет власти. Ванька с ним согласился, а латыш уперся. «Бомбардир этот (брат Вася), — говорит, — может остаться, а прапор — это офицер, его заберем». Едва-едва капитан уговорил его уйти, мы уже думали, что Сергей пропал: если б его забрали, то, ясно, латыши бы расстреляли не думая. Наконец ушли. Только этому капитану мы были обязаны жизнью. Латыши хватали бывших офицеров и расстреливали всех без разбора. Аптекарь Трахтенберг на другой день мне говорил, что, пожалуй, и верно было не показывать перед ними страха: «Кто не боится, тот не виноват. Я же думал, что вся ваша семья уже погибла».

В 1920 году был десант белого полковника Назарова около села Голодаевки. В сельскую больницу привезли раненого казачьего офицера Сальникова. В той же битве был ранен красноармеец Федоров, который попал в ту же больницу. Он скончался, и тогда врач больницы, поляк Бризичский, поменял их документы — таким образом казачий офицер стал красноармейцем. Он выздоровел, остался в селе, женился на учительнице тамошней школы и стал там преподавать. Его жена и дети узнали о том, кто он на самом деле, только когда пришли немцы.

## СМЕНА ВЛАСТИ

Офицеры не ушли с белыми, это им в заслугу не засчитали. Их убивали, как цыплят. Опять обыск, уже днем с ордером — забрали игрушечную саблю маленького Алеши. Поползли слухи, что немцы приближаются, и вдруг красные в панике убегают и сущей, и морем, и тянут за собою что попало. Мы с Васей лезем на крышу и видим: на дороге за городом еще колонны войск. Всюду кричат: «Немцы! Немцы!» — вот они, вчерашние враги, вступают в город как освободители. Я лезу на соседний чердак и извлекаю все запрятанное оружие. В нашем дворе разместились кавалеристы, вюртембергские уланы. Фельдфебель назывался Эрнштайн. Они старались поделить продукты и начали ухаживать за нашей прислугой Анютой. Их офицер, какой-то граф, стоял в доме рядом.

Внезапно в одно утро начинается стрельба. Красные обстреливают город с другого берега залива. Снаряды, не очень частые, рвутся в городе, и уже несколько человек убитых. Красные идут на немцев, будет наступление. Немцы строят свои войска и покидают город, слышна стрельба. К вечеру немецкие войска опять вступают в город. Оказывается, красные

высадили морской десант в селении Поляковка. Это имение принадлежало имперскому дворянину Соломону Яковлевичу Полякову. Красные высадились на берег со многих барж, пароходов и катеров и решили оттуда повести наступление на Таганрог. Немцы артиллерией потопили баржи, а десант расстреляли из пулеметов, не беря пленных. Так почти все красное войско там и полегло. Очень мало кому удалось спастись.

В 1923 году оперировали одного раненного в голову красногвардейца, и тогда выяснилась его история. Он лежал в куче трупов, и когда крестьяне начали складывать в братские могилы убитых, то увидели, что еще жив, и взяли его домой, где он и поправился частично. Он рассказал, что красные мобилизовали всех мужчин и вооружили чем попало, посадили на баржи и перевезли на другой берег, где немцы их расстреляли. Все же и у немцев оказались потери — десятка два солдат. Немцы их похоронили на городском кладбище, и кто-то держал эти могилы в полном порядке до второй мировой войны. Во все время пребывания немцев жизнь была спокойная.

Затем власть перешла к донскому правительству. В конце мая вернулись, кто уцелел, ученики, которые ушли с белыми. Однажды они собрались, человек пять-шесть, и, взяв оружие, отправились в поселок Вареновка убивать вернувшихся после войны матросов, и только за то, что те были матросами, застрелили двух или трех парней. Матросы эти как раз и не делали революцию, а вернулись домой, к мирной жизни. Хотела бы я знать, раскаялись ли когда-нибудь эти люди в своих бессмысленных убийствах.

Красные убивали за то, что ты был во время войны офицером, белые — за то, что ты был матросом. Мне кажется, все содеянное зло имеет возмездие здесь, на земле. Сто лет назад многие помещики издевались над крепостными — за это ответили внуки. В Америке

белые угнетали негров — теперь отвечают за это их потомки. Евреи-комиссары во время революции уничтожали целые классы русских — теперь это пало на их невинных потомков, которые отвечают за эти притеснения и уничтожения, хотя не имеют со своими отцами ничего общего, даже наоборот — осуждают их. Не поймешь, но, видно, так устроен мир.

## СУДЬБА МОИХ БРАТЬЕВ

Мои братья пошли в белую армию: Василий — добровольно, в отряд Дроздовского, а старшего брата Сергея мобилизовали в Донскую армию, и он осенью 1918 года уехал в свою часть, которая стояла в хуторе Ляпичеве. В феврале 1919 года красные пошли в наступление. Все бросились бежать, но Сергей не поддался панике, стал запрягать лошадь в телегу с денежным ящиком, был отрезан красной конницей и единственный из своей части попал в плен. Случилось это 5 февраля 1919 года по старому стилю. Этот хутор лежал выше Калача.

В 1934 году, будучи в этих местах с мужем в археологической экспедиции, я пыталась узнать у стариков, что тогда случилось, но они боялись об этом говорить. Хочется думать, что его зарубили сразу. Его денщик, который спасся и привез нам его вещи, говорил, что видел его бегущим к Дону: будто бы Сергей нагнулся и поднял брошенную винтовку, а конница сомкнулась и отрезала его. Все же часть достигла камышей и спаслась.

Мои двоюродные братья Петя и Костя приехали из Киева с четырьмя другими гимназистами и поступили в подрывной отряд. Они должны были взрывать железнодорожные пути. Этот отряд состоял из Саши Своеохотова (умер в США), Юры Киречинского и еще двух мальчиков, не считая наших. Я пошла рабо-

тать в лазарет, который устроили в женской гимназии.

Однажды Петя и Костя привезли Юру со страшным ранением лица. Оказывается, на отдыхе в хате после ужина у них зашел разговор — что делать, если грозит плен. Юра сказал: «А ну посмотрим, можно ли застрелиться из винтовки». Он взял свою винтовку, засунул дуло в рот и потянулся к собачке, верно, нечаянно надавил и — последовал выстрел. Юре вырвало правый глаз и разворотило всю скулу. Ранение ужасное. Через несколько дней Юра скончался.

Мрачные поехали Петя и Костя в свою часть.

Началась эпидемия тифа. Белые армии отступили на юг. В декабре 1919 года привезли Костю в сыпном тифу. Его поместили в больницу. Фронт приближался. Надо эвакуироваться. Приезжает тетя Маня Неклюдова, мама Пети и Кости, с младшим Павлом и Варей, которая уже была замужем за Вакаром. Наши родственницы Боголюбовы укладываются, мы тоже. 16 декабря я провожаю маму с Алешей на вокзал. Не помню, почему я не поехала с ними, а еще осталась в городе — это было очень неблагоразумно. Двадцатого я выезжаю с тетей Маней. Поехала еще ее сестра в салон-вагоне. Ее муж был путейцем высокого ранга. На вокзале встретили выздоравливающего Петю. Их лазарет грузили в поезд. Костя был еще очень слабый. Тетя Маня хотела взять их в свой вагон, но ее сестра Прокофьева не позволила — боялась заразиться. Тетя Маня взяла их из лазарета и погрузила в какой-то поезд. Это была роковая ошибка. Лазарет добрался до Армавира, а Петя и Костя пропали навеки.

В наш вагон влез больной тифом офицер и все равно всех заразил, т. к. он был во вшах, которые расползлись по вагону. Я договорилась с мамой, что на больших станциях она будет писать у кассы, куда они едут. Я вылезла на станции Тихорецкая. Нигде никакой надписи не было. Куда ехать? В это время

подъехал бронепоезд «Мстислав Удалой». Я спросила у офицера, нельзя ли с ними подъехать до Екатеринодара. Офицер оказался соучеником моего брата Васи по училищу правоведения, его отец был священником в Аргентине (Гавриил Изразцов, если не ошибаюсь). Я доехала с ним до Екатеринодара.

На вокзале лежат вповалку тела: живые, и мертвые, и тифозные. У кассы никакой маминой надписи не нашла. Вдруг, о радость, встреча — Кока Лаврентьев из семьи Боголюбовых. От него узнаю, что наши поехали в Новороссийск и моя мама тоже. На вокзале, на километры, все пути забиты составами. Я записала номер вагона в Таганрог, нахожу таковой, влезаю и — никого. Проверяю: номер тот, но другой дороги. Опять ищу и вдруг встречаю Варю. От нее узнаю, что наши тут.

Какое счастье, когда, вскочив в вагон, вижу маму, которая что-то варит на примусе. Встречаю и тетю, которая говорит, что к ним в Екатеринодаре присоединился дядя Вася, но заболел тифом, и она его там похоронила. О Пете и Косте — ни слуху, ни духу. Боголюбовы все женщины: бабушка Александра Степановна, ее дочери — Ксения Кутепова с дочкой Ирой (не родственница генерала), вдова, больная туберкулезом; Надя Ратькова-Рожново, вдова (муж убит под Екатеринодаром); Шура, незамужняя, бывшая классная дама Смольного института; Таня, одна с мужем; вдова Бориса Мария Григорьевна с малым сыном Бобой.

## ТИФ

У меня начался озноб — первый признак тифа. Моя мама решила остаться. Она думала — может, Сережу не убили, и он найдется. Тетя Маня тоже почему-то решила остаться, хотя ее дочь Варя с мужем могли

их с Павлом взять. Как вдове начальника пути, тете Мане дали вагон, который прицепили с поезду на Армавир. Там мы выгрузились, нашли за большие деньги комнату без отопления. Я уже разболелась совсем, и меня отвезли в тифозную больницу. Там, кроме камфоры, других лекарств не было. Лежали вповалку мужчины и женщины и на кроватях и на полу. Мне досталось место на кровати.

Услышав стрельбу, я решила, что вступают красные, и решила убежать к нашим. За мной кто-то погнался, меня догнали и привязали к кровати. Я думаю: «Живой красным не дамся». Высвободила руки, оторвала край простыни, скрутила, привязала за спинку кровати и за горло петель. Думаю: потяну со всей силы, будет ужасное удушье, но надо дальше тянуть, и потянула, и что же — никакого удушья. А я выскальзываю из тела и лечу вверх: вижу свое тело, которое мне противно, как старое выброшенное пальто. Лечу в состоянии невыразимого блаженства и чувства свободы. Вдруг — стоп, лечу назад вниз. Вижу свое противное тело, сейчас в него войду. Мысль: не ошибиться и не попасть в чужое, тогда сочтут за сумасшедшую. Это мое тело, это мой эмалевый крестик. Вошла, хочу задержать дыхание, какой ужас: открываю глаза — надо мной склонились двое в халатах, говорят: «Фу, слава Богу, откачали!»

Я впадаю в бешенство и бью направо и налево, они падают, хочу бежать, да ноги привязаны. На меня наваливаются и прикручивают к кровати. Вдруг вижу: какой-то человек подходит ко мне. Я прошу: передайте моей матери, что меня здесь держат насильно, где я? Ответ — в больнице. Тут я вспомнила, что заболела тифом, и прошу развязать. Сестра говорит: «Вы меня так страшно ударили — что же это, за нашу трудную работу?» Прошу: «Отпустите домой». Появился доктор, говорит: «Идите, ваша мать как раз здесь».

Меня одели, я шатаясь вышла. Мама, взволнованная, говорит: «Что ты наделала? Я принесла тебе передачу, вареную курицу, вдруг вбегает сестра и говорит «Николаева повесилась»\*, а потом, что тебя привели в себя и что ты ударила сестру и доктора. Доктор согласился тебя отпустить домой».

Взяли извозчика и поехали. Алеша мне страшно обрадовался, но на другой день я его огорчила. Он где-то набрал целый мешок патронов, а я их выбросила в уборную. Я боялась, что вступят красные и за патроны могут нас перестрелять.

## КИСЛОВОДСК

В Армавире мама встретила знакомых по Таганрогу — семью присяжного поверенного Ивана Ивановича Корсуня, которые ехали в Кисловодск, где у них было два маленьких дачных домика. Они предложили жить там у них. Мы согласились, и опять моей тете Мане дали вагон, который прицепили к поезду на юг. Еще раньше мы сделали себе паспорта на фамилию Николаевы. Тетя Маня стала Накатова. Мы поселились у Корсуней, а тетя Маня сняла помещение рядом — в доме Велецких, которые уже уехали за границу, оставив прислугу. Корсунь предложили готовить вместе, но это скоро нам стало не под силу, т. к. мы жили на продажу золотых вещей. Большевики заняли Кисловодск без боя и установили советскую власть.

В Кисловодске мы познакомились с супругами Плетневыми. Евгений Дмитриевич — родной брат Дмитрия Дмитриевича, профессора, специалиста по сердечным болезням. Евгений Дмитриевич — прокурор. Его жена Мария Дмитриевна — передовая жен-

---

\* Мы жили тогда под чужим именем.

щина, очень интересная и умная, с университетским образованием, увлечена революцией. Поступает секретарем к председателю исполкома, рабочему, коммунисту. Он устраивает Евгения Дмитриевича следователем по гражданским делам, а тот берет маму делопроизводителем. Ее сестра Евгения Дмитриевна замужем за Николаем Николаевичем Красновым-старшим, эвакуировалась с мужем за границу.

Мария Дмитриевна помогает своему главку наладить работу, и на партийном собрании ее начальник сказал: «Смотрите и учитесь у нее, как надо работать». Мария Дмитриевна уверяла, что старый режим сгнил и теперь дорога новым народным силам.

Вскоре, как только наладилось движение, они уехали в Москву к брату-профессору. Его вскоре назначили в кремлевскую больницу, и никто не мог предугадать его падения, всенародного оплевывания и лживых позорных обвинений в сексуальных извращениях и прочей мерзости. Что случилось с Марией Дмитриевной и Евгением Дмитриевичем — не знаю. Думаю, что уничтожили и их заодно с братом.

Пока же Мария Дмитриевна, ее муж и моя мама получали пайки, а я размышляла, что делать дальше. Надо искать работу. Какую? Я думала, что советская власть не продержится долго, надо как-то пока прожить. Я пошла в отдел труда. Там оказалось место сторожихи в школе. Я взяла эту работу. Мы все переселились в маленькую, метров восемь, комнату. Нас трое: мама с Алешей на одном топчане, я на другом. В школе начались занятия. Учителей двое. Заведующий и учительница. После занятий я объявила ученикам, что теперь рабов нет и что прибирать школу надо всем вместе. Так что моя работа не была трудной.

Я пошла на уборку огородов и получала ведро картофеля в день. Заработала на всю зиму, картофель сложили под кровать. Я достала маленькую желез-

ную печку, трубу вывели в окно. Рядом жил жестянщик, хромой после ранения в японскую войну. Я с ним подружилась, он интересно рассказывал о японской войне. Большевиком не был и не ждал от них хорошего. Он нам и печь установил. Топили сначала перилами от балконов: добывали их, когда было темно. Но матрос переделал нам печь на форсунку, и мы ходили с Алешей собирать мазут под цистернами, которые стояли на вокзале. Мы черпали ложкой в жестянки.

Еще я заработала кило сахара на всесоюзной переписи населения. Был тогда голод, хлеба не было, но давали в столовой пшеничную кашу. Надо было долго стоять за нею. Весной я на Пятницком базаре выменяла у карачаевских татар козу. Через неделю она привела козленка, и я стала ее доить; давала пол-литра в день. Утром надо было отвести ее в стадо, которое пас мальчик. Вечером она сама приходила домой.

Плетневы уехали, маме надо было искать другую работу. Она устроилась вести хозяйство в детском доме. Мы нашли комнату около Корсуней на Ребровой балке, и я пошла работать подмастерьем к сапожнику Полянкину. Четыре сына Полянкина были коммунисты, и по этой причине он был очень важным и любил пофилософствовать. Я очень любила работу с кожей, еще в Таганроге я прошла курсы сапожного мастерства. Раз Полянкин говорит: «Знаете, Иван, дворник Корсуней, он такой садист, вечно мне досадить хочет». Оказывается, петух Полянкина зашел на двор Корсуней и подрался с петухом Ивана; тогда собачонка Ивана стала оттаскивать чужого петуха за хвост и почти весь его выдрала.

В Кисловодск наехало множество посланных на поправку коммунистов, «сердечных» и больных нервным расстройством. «Сердечным» климат оказался вредным, и они стали умирать в большом количестве. Что касается «нервных», то я наблюдала такую сцену на Виноградской аллее. Один человек падает в конвульсиях, пена изо рта, и бьется. Сейчас же, как по сигналу, начинают падать и так же кричать то там, то тут другие больные, и так человек с десять. На одном митинге оратор упал в конвульсиях, и среди толпы начали падать люди таким же образом. Среди народа это явление называли «болезнью чекистов».

В Кисловодске богатые люди почти все уехали, остались мелкие лавочники и кустари-рабочие, поэтому террор не чувствовался. Оставшаяся интеллигенция, учителя, приступила к работе: они были нужны, и их пока не трогали. Террор обрушился на казачьи станицы, там расстреливали массами. Горцев пока не трогали. Даже князья Тамбиевы тогда не были арестованы. Трогательная была семья князей, живущих по другую сторону балки. Муж и жена — глубокие старики. Каждый день они одевались к обеду, накрывали на стол, ставили приборы и бокалы, клали на тарелки кукурузную или пшеничную кашу, наливали нарзан — и так каждый день.

Мы познакомились с австрийским пленным доктором Емельяном Савицким — галичанином. Он и его брат принадлежали к партии русофилов и перешли к русским. Брат в Ростове женился на дочери богатого купца Пивоварова. Когда мы убежали с немцами в 1943 году, мы встретили старика Пивоварова, который рассказал, что едет в Станислав, где живет его дочь с мужем-судьей, что при занятии Галиции в 1939 году красные арестовали и увезли сына дочери, его внука, и он пропал.

## НОВЫЕ ГОСПОДА

Событие: в Кисловодск приезжает Коллонтай с мужем Дыбенко. Пока приехал ее выезд — экипаж, запряженный парой золотистых лошадей, с матросом на козлах. Затем пожаловали сами супруги, которые поселились на даче Белецких. Он облазил все. Осмотрел все шкафы. Даже под шкафы и за ними заглядывал. Мы надеялись, что вещи уехавших достанутся нам. Одежду, шубы — все себе забрали, ничего не забили. Вот какие новые господа!

Прошло некоторое время, и Аннушка сильно простудилась. Коллонтай сразу отправила ее в больницу. «Подумайте, — говорит Анюта, — раньше, бывало, заболело: барыня меня спрашивала, как себя чувствуешь, ухаживала за мной, а эта сразу в больницу и взяла другую». Часто после обеда Коллонтай с мужем-матросом, с матросом-кучером на козлах на паре прекрасных золотистых лошадей выезжала в экипаже на прогулку в горы.

Вскоре появилась еще одна госпожа. Выяснилось это быстро. На горе Ребровой балки находилась огромная дача генеральши Юнаковой, чекисты ее реквизировали и всех выселили. Причем не только из этой виллы, но из всех соседних домов, почти всю балку, выселили и сапожника Полянкина. Дачу заняла жена Троцкого Седова. Ради столь высокопоставленной особы всех и выселили.

## ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Однажды я иду в пятницу на базар. Слышу страшный гул, как будто по деревянному мосту едут машины — такой странный рокот, а ничего не видно. Люди выскакивают из домов и смотрят на небо. Небо ясное, оказывается, это было землетрясение. На базаре

карачаевцы падают ниц и кричат: «Большевики разгневали Бога, теперь все пропадем». Здания дали трещины, да развалились трубы. На другой день веду козу в стадо и — что такое? По всей улице, завернувшись в одеяла, лежат люди и спят. Это они боялись землетрясения. Мы оставались дома. Часто рокотало под землей, и качались посуда и вещи. Так продолжалось с месяц.

Как-то под вечер иду отнести знакомым их топор. Бегут люди, кричат: «Облава! Спасайся кто может!» Я кинулась назад, бегу через мостик речки и проваливаюсь вниз. Удастся зацепиться за край доски. Перебрасываю руку на другую сторону и, слыша топот, остаюсь висеть под мостом. Погоня протопала надо мной. Внизу камни, и бушует речка. Топор мой лежит в воде, но там мелко. Спускаюсь и достаю топор. Все тихо, но с опаской иду домой. Оказывается, был налет казаков, которые спустились с гор и опять ушли.

Я заболела брюшным тифом и лежала дома. Думаю: мне умирать нельзя, надо выдержать диету. Пью только ячменный процеженный кофе с молоком, и больше ничего. Болезнь была очень тяжелой, жар до 41 градуса, но выдержала; тянулась болезнь шесть недель, потом первое время не могла стоять на ногах. Лечил меня доктор Савицкий. Он просил называть его Эмиль Эмилевичем, а не Емельяном, что по-русски плохо звучит.

## ГОЛОД И ТОВАРООБМЕН

Когда я поправилась, с едой было плохо, голод, и мы решили ездить в аулы за кукурузой. Савицкий, его знакомая учительница, за которой он ухаживал, я и знакомый доктор барон Эльснер составили компанию и поехали в аулы. Надо было поездом ехать до Эльхотово, оттуда пешком или, если попадалась, на

подводе до аула Новохристиановского или Алагиря — думаю, километров около двадцати. Дивная природа: горы, сахарная голова Эльбруса, затем леса и равнина, на которой аул. С гор тянутся десятки потоков чистойшей ледяной воды. Воздух чистый, прозрачный. Мы бредем с мешками за спиной. Это вещи, которые мы будем менять на кукурузу.

Аулы были осетинские. Поразили их нравы и обычаи. Семен все равно назывался Султаном, Александр — Али. Православие было только официальным. Выйдя замуж, женщина год не имела права показываться на улице. В присутствии родителей не могла взять на руки ребенка. Было высшим неприличием спрашивать, как зовут ребенка. Перед двенадцатилетним деверем вставала и не смела говорить, и многое в этом роде.

Однажды мы были в Алагире, к нам подошел пожилой человек в большом горе и рассказал свою судьбу: он молодым попал в Германию, стал инженером, женился на немке и уехал в Америку, где очень хорошо устроился. Услышав о революции и о том, что в России наступил рай, он вспомнил Алагирь, сады и горы, и его потянуло опять на Кавказ. Он все продал и с женой и двумя американскими детьми 16 и 14 лет прибыл пароходом в Новосибирск. Там у него отобрали золото и доллары и доставили без всего в Алагирь. «Мой жена был такой неapolитичный, — сказал он, когда женщины стали ее осматривать и дергать, а она стала протестовать. — Теперь я завишу от брата, который пока еще дает нам кукурузу. Дети боятся выйти на улицу. Мы сидим и плачем. Как я мог забыть о здешних нравах?» Нам было очень жаль этого бедного инженера, ему было около 50 лет. Его жену и детей мы не видели.

Питались осетины так. Утром пекли лепешки из кукурузной муки, в обед каша, иногда баранина, но, в общем, опять кукуруза. В бараний суп клали столько

перца, что мы не могли есть — обжигало рот, а их маленькие дети ели не морщась. Настроены все были по-большевистски, им еще не запретили тогда носить кинжалы и не отняли оружие. Наоборот, в станице Николаевке, через которую надо было проехать на станцию, терские казаки (между прочим, много беднее осетин) считали, что это горе и наказание Божье: многие из них ушли в горы в отряды «зеленых».

Трудно было ходить по дворам, выменивать вещи на кукурузу, еще труднее благополучно довести домой. Всюду стояли заградительные отряды из красноармейцев, надо было их миновать. Назад мы нанимали осетин, которые переправляли нас мимо отрядов. Однажды мы не нашли таких проводников и пошли прямо через мост. Просим пропустить, солдаты согласны при условии, что мы сварим им баранину. Мы сварили им густой суп с черемшой. Из-за этого мы запоздали, пришлось остаться у них ночевать в сторожке. Солдат было 10 или 13 человек. Все легли спать на полу, и, надо сказать, ни один из них не позволил себе в отношении меня и молодой учительницы что-либо неприличное. Они даже при нас не ругались. На другое утро они помогли нам перетащить мешки через мост. Мы их кое-как дотянули до станции Даркох.

Теперь проблема сесть в поезд. Поезда ходили только товарные, раз в сутки или реже. Мы стоим с нашими мешками на перроне. Вдруг прибегают два солдата и спрашивают: «Куда вы едете?» Мы называем им наш адрес. Они хватают наши мешки, бегут к товарному вагону, бросают мешки в вагон и мчатся за остальными.

Нас приветствует молодой курчавый брюнет, обвешанный патронами и с револьвером в кобуре. Очень любезно представляется. Он начальник северокавказской ЧК и уже три месяца находится в обществе хамов, он так и сказал, и, увидев нас, ему захо-

телось хоть немного поговорить с интеллигентными людьми. Я думала: «Такой ужасный человек и — такой милый, любезный и веселый». Он трунил над своими помощниками, рассказал со смехом, как они залезли в стог сена, прячась от казаков, сообщил, что многим вооруженным отрядам удалось пробиться в Турцию или Персию. Угостил нас хлебом с колбасой.

Они доехали до Георгиевского умирять восставших там казаков. Воображаю, что они там натворили. Через каких-то 20 лет его портрет появился повсюду. Он сменил Ежова. Это был Берия, и я его сразу узнала, только что он постарел. Тогда же, в 21-м году, я не обратила внимания на его фамилию, но потом долго думала, как может быть палач таким симпатичным и даже обаятельным.

В другой раз с нами был такой случай. Нам удалось влезть в товарный вагон, предпоследний. В этот вагон пускали за деньги два солдата, которые везли в Ростов на суд белого офицера. Его ожидал расстрел. В те годы все было еще по-домашнему, и мы могли с ним разговаривать. Отъехав от Даркоха и поднимаясь в гору, я вдруг заметила, что наш вагон отцепился и покатился вниз к бушующему Тереку. Покатился и последний вагон. Люди стали выпрыгивать из вагона, их мешки, падая, лопались. Оба красноармейца спрыгнули тоже. Поддавшись панике, мои спутники тоже хотели прыгать, я едва уговорила их остаться — жаль было с таким трудом добытой кукурузы. Ведь не обязательно, что наш и последний вагоны должны будут сойти с рельс на мосту. Таким образом, остались мы и арестованный. Вагоны резко начали замедлять ход и остановились. Какой-то пассажир из соседнего вагона, догадался вылезти на крышу, оттуда он спустился на площадку с тормозом и остановил вагоны. Примерно через час приехал с Прохладного паровоз и зацепил нас. Едем по дороге, смот-

рим — лежат разорванные мешки, около них несчастные хозяева. Машинист любезен и подбирает их. Приехали в Прохладную. Дальше поезд не идет. Идем по перрону и думаем, что делать. Внезапно нас окликают солдаты, что охраняли офицера. Спрашивают, что мы о нем знаем, мы говорим, что он, верно, ушел в горы к «зеленым». «Ну и мы пойдем туда же, — говорят солдаты, — а то и нам теперь не сдобровать, пулю получим». Мы примостились сбоку поезда с цистернами, свесили ноги и так доехали до Минеральных Вод, где опять была трудная пересадка. Когда приехали домой и я приволокла свои два чувала с кукурузой, около 100 килограммов в обоих, то такого счастья я ни раньше, ни потом не испытывала. Эти два мешка значили, что мы можем прожить не голодая месяц с лишним.

С этими поездками были всегда какие-либо приключения. В другой раз мы приехали на Даркох поздно и решили переночевать в отцепленном вагоне. Наутро мы увидели в углу вагона сложенные трупы умерших, верно, от голода или тифа. Вот такие были поездки, почти через каждые две или три недели, и мы поэтому в буквальном смысле не голодали. Один мешок съедали сами примерно за месяц, а на другой выменивали продукты. Я забыла сказать, что еще эту кукурузу надо было смолоть. Я несла ее за город и молола на маленьких кустарных водяных мельницах. На жернова кукуруза попадает по зернышку, очень долго длится потом помол, но я молола небольшими порциями. У нас, кроме козы, была еще и кошка и ангорская крольчиха. Ей выменивали ячмень, который держали в форме от пасхи. Крольчиха становилась на задние лапы и ела из формы — на фоне свечи, точно дама в кринолине. Мы ее чесали, и из ее шерсти мама связала рукавицы. Так жили до мая 1922 года, когда решили вернуться в Таганрог.

Почему-то опять вперед поехала мама с Алешей. Мама ехала очень долго, остановилась у сестры моего отца Минаевой. Ее муж как бывший офицер, но пострадавший при царизме, еще не преследовался и работал где-то бухгалтером. Их из своего дома выселили, и они жили в трех маленьких полутемных комнатах, выходивших во двор, где в развалинах разрушенного дома жильцы устроили свалку и помойную яму. Семья состояла из мужа, жены и трех детей — Петя 10 лет, Оля 8 лет и двухлетний Вася. Бабушка, мать моего отца, жила с ними и в 1920 году умерла.

Тетя Катя (сестра моего отца) приняла нас очень хорошо и поделилась всем, чем могла. Рядом в доме нашли комнату и туда перебрались. Я открыла мастерскую починки обуви, меня завалили работой. Брат Алеша пошел в школу. Голод окончился. Взошла и дала урожай пшеница, которую два года назад посеяли и которая тогда не взошла. Мама говорила, что когда они приехали в Ростов и ждали поезд на Таганрог, то вокзал был завален жареной рыбой, всюду ее носили торговки и продавали. Мама говорила, что за всю жизнь не ела ничего вкуснее. Весь Таганрог был завален рыбой: сазаны (это карпы), лещи, чебаки и сулы (это судаки). Мы отъелись рыбой. Начался нэп, всего стало много. Я думала: да, наступило народное благосостояние, ничто не сможет свалить советскую власть.

Я — ОПЕРАЦИОННАЯ СЕСТРА

В мае 1923 года подъехал на своем экипаже хирург доктор Зак. У него была собственная больница (которой его сделали заведующим) на 70 коек. Мы его

знали давно, и он очень дружил с Боголюбовым. Он предложил мне работать у него операционной сестрой. Я сказала, что не имею никакой подготовки, что работала в лазарете, как и другие, просто так. Он ответил, что я скоро научусь, главное — он знает мою семью, и мне можно доверять.

На другой день я пришла в операционную. Была операция остеомиелита. Доктор колотил по зубилу молотком, и кругом летели осколки из ноги пациента. Мне стало горячо в ушах, я подумала — не смогу, но на другой день он меня поставил на инструменты, а рядом стояла сестра, которая уходила с этой работы, т. к. она стала женой влиятельного коммуниста на кожевенном заводе Самуила Самойловича Перцовского, родной брат которого работал у Зака. Доктора были: Вениамин Владимирович Зак, Абрам Самойлович Перцовский, Марк Абрамович Лившиц, Лондон-Рахман и Сергей Иванович Петров. Фельдшерица Фанни Ефремовна Едельсон работала уже с основания больницы — с 1906 года. Еще были фельдшерица Ольга Алексеевна Лукина — вдова офицера, Елена Алексеевна Муругова — сестра и еще несколько. Кухаркой была вдова генерала Семилетова, а кастиляншей — Наталья Андреевна, вот и весь персонал. Больница помещалась в двух зданиях на улицу: одноэтажное — гнойный корпус, и двухэтажное: на втором этаже операционные и палаты, а внизу рентген, канцелярия, четыре маленьких палаты на две койки и дежурка с аптечкой. Еще шесть санитаров и швейцар, он же полотер.

Через две недели операционная сестра ушла, и я осталась одна с санитаркой Фросей, красной партизанкой в гражданскую войну. Так как доктор Зак не доверял аптекам, то все для операций должна была готовить я. Я разводила и стерилизовала камфору и морфий, новокаин и физиологический раствор. Стерилизовали все в автоклаве, который нагревался дву-

мя примусами. Там же ставили коробки с бельем. Примусы горели плохо, забивались. Я шла в 8 утра, а возвращалась не раньше 8-10 вечера. За месяц потеряла 6 кило, не будучи никогда полной (предельный мой вес при 164 см роста был 58 кг).

## БОЛЬНИЧНЫЕ БУДНИ

Скоро я освоила эту работу и могла подавать инструменты по ходу операции. Я уже знала, когда и что надо давать хирургу в протянутую руку, без его указания. Работать приходилось очень много, иногда по 16 часов. Бывало, только заснешь — кучер с линейкой, срочная операция, вот и едешь и уже не вернешься домой до следующего вечера. Первые годы выходным считалось воскресенье, после ночного дежурства с субботы на воскресенье. Работа была интересной.

Однажды в воскресенье привезли почти голого окровавленного человека. Привезли его гедеушники, оставили при нем стражу, сами бежали звонить по телефону. Раздавалось: «Катера послать по заливу, конному отряду обыскать Поляновку и весь берег до нее. Диверсанты скрылись в этом направлении. Одного мы поймали, трое ушли». Раненого, бывшего без сознания, положили на стол. Ранения были ужасны. Почти перебиты кисти рук и ноги. Все в грязи. Что можно, сделали. Во время операции чекист стоял рядом и смотрел, только надели на него халат. После операции выкатили раненого в предоперационную. Чекист сидит рядом, а я перетираю инструменты. Раненый просыпается, хочет подняться. Чекист настораживается. Раненый вдруг начинает страшно стонать и ругаться. Выясняется: он никакой не диверсант, а секретарь парткома авиазавода. Он был в Поляновке у родных на именинах, хорошо там выпили, а жил

он в доме авиазавода. Он решил сократить дорогу, было уже под утро, и пошел полем напрямик. В него начала стрелять охрана завода, он кинулся бежать, его ранили. «Почему же ты не сказал, кто ты?» — с горечью сказал чекист. «А кому сказать? Стреляли, а когда я упал, то начали бить прикладами, а потом я ничего не помню». Пришло еще начальство: а где же еще четыре диверсанта, которых ищут и на море и на суше? Всех чекистов отозвали, не знаю, что им сказали, но уж, верно, не правду: что все выдуманно и подстрелили своего коммуниста, да еще большого ранга. Он пролежал у нас с год, едва перенес tetanus, спасли его большими дозами морфия. Он остался калеккой, из партии его выгнали, и он с горя женился на нашей сиделке Михайловне.

Как-то привезла милиция беспризорного лет двадцати, раненного в легкое ножом. Назвался Лоренсом — конечно, выдуманная фамилия. Почему-то при нем остался на страже милиционер. Лоренс спрашивает милиционера: «Сколько ты в месяц получаешь жалованья?» Тот отвечает: «Шестьдесят рублей». — «Тьфу, я только раз по улице пройду, больше соберу. И ты себя еще человеком считаешь!» Лоренса ранили ножом его же дружки при дележке краденного. Он начал поправляться. Сестра Елена Александровна всегда читала ему мораль, а он смеялся. Вскоре милиционера убрали.

Однажды в комнату Елены Александровны забрался вор и сложил ее вещи в мешок. Сосед увидел, поднял крик и погнался за вором, тот бросил мешок. Елена Александровна, возмущенная, на другой день приходит к Лоренсу и начинает отчитывать: «Вот мы вас от смерти спасли, а ваши же последние мои тряпки хотели украсть. Где бы я могла эти вещи опять приобрести?» Лоренс в ответ: «Так-таки ничего у вас не взяли?» — «Нет». — «А про ножнички забыли?» Оказывается, вор хотел ножницами отвинтить от подстав-

ки ее швейную машину, да услышав, что кто-то идет, положил ножницы в карман. Лоренс лезет в тумбочку и подает ей ножницы. Загадка: никто не видел, что кто-то у него был, но факт налицо.

Как-то вызывают на срочную операцию. Пациент, видимо, беспризорник — голый, грязный. Он без сознания, на голове кровоточащая рана. Его быстро кладут на операционный стол. Рана оказывается неопасной. Больной приходит в себя. Что же мы слышим? Это совсем не беспризорный, а полярный летчик Попов. Он поехал поездом принять самолеты в Батайске под Ростовом-на-Дону. В Харькове купил на вокзале колбасу. Съел, и стало ему плохо. Упал с верхней полки и разбил голову. Пассажиры в вагоне сняли с него одежду, разули его, забрали чемодан и все бумаги. Его спасло то, что попал он в больницу. Если бы он умер в поезде, его бы похоронили в общей могиле, и никто бы никогда не узнал, куда пропал летчик Попов.

Однажды ГПУ решило устроить в городском саду народное гулянье с лотереей. Присутствовал начальник ГПУ товарищ Бухбант с женой. Он был из пленных солдат, австрийский еврей, а она — из России. Ее у нас в больнице оперировали — кажется, был аппендицит. Я взялась у нее ночью дежурить, она осталась довольна и утром сказала: «Я знаю, сестра, какое теперь время, если что — придите к нам с черного хода, я вам помогу». Так вот, было гулянье, и пушки фейерверк. Этим воспользовались бандиты, решившие освободить из подвала ГПУ (оно тогда еще находилось на Греческой улице) своих арестованных товарищей. Из охраны остался только татарин солдат Рафиков. Они на него напали, выстрелили ему в спину, верно, разрывной пулей, т. к. ранение было рваное, но они не смогли найти ключи от погреба, где сидели арестованные. За это нападение тогда же расстреляли всех, кто был взят, и всех, кто там сидел.

Кровь вытекала из-под ворот. Люди из соседних домов слышали много залпов, а о том, что всех расстреляли, рассказал мне потом Рафиков, который долго лежал у нас в больнице. По выздоровлении его демобилизовали и наградили орденом Красного Знамени.

Доктор Зак очень дружил с Бухбантом, за это и его в 36-м году забрали, и он по дороге этапа умер, а Бухбант попал на Соловки — тоже как зек. Его там встретила арестованная и потом отпущенная Татьяна Ивановна Лебедева. Когда в 1930 году Татьяну Ивановну арестовали, ее старушка-мать Ольга Васильевна повесилась на поясе от халата. Я, идя к ней, случайно встретила дроги, на которых валялось ее раскинутое тело. Седая голова моталась, а возчик гнал лошадь вскачь и улюлюкал. Татьяна Ивановна пережила ссылку и в 1940 году написала нам, что ее поселили где-то на Волге в доме выселенных немцев-колонистов. О страшной смерти матери я не сообщила.

Так вот, вернемся к Бухбанту. Этот австрийский пленный солдат, став таким начальником, решил выписать из Вены своего брата Генриха. Он думал и его устроить в ГПУ. Молодой, милый и красивый Генрих (он потом снял комнату в нашем дворе и сам мне все это рассказал) пришел в ужас от того, что там увидел. Поссорился с братом и ушел на частную квартиру, поступив на завод рабочим.

## ПОРЯДКИ НОВЫЕ

Еще одна судьба. Красный партизан, раненный в гражданскую войну и хромой, решил поправить вывихнутое бедро и лег на операцию. Его звали Стулов. Операция была очень тяжелой, сделалось нагноение, и я взялась у него ночью дежурить. Мучимый бессонницей и болью, он рассказал, что жил в Сибири, был бандитом. Что они находили там красивых де-

вушек в селах, крали их и продавали в чайные дома в Китай — и прочие похождения, грабежи и убийства. Хотя он был коммунистом, он считал, что это Бог наказывает его за прошлые грехи. Лицо у него было как у питекантропа, рост небольшой, но сам кряжистый и очень сильный. Пролежал он у нас в больнице с год, остался хромым. Его назначили заведовать картофельным ларьком на базаре. Когда в тридцатых годах наступил голод и я становилась в очередь за картофелем, он с неподражаемым жестом презрения отстранял очередь, приглашал меня вперед и выбирал картофель получше. Очередь не протестовала.

В 36-м или 37-м году я хотела навестить маму. В Таганроге на вокзале обгоняю знакомую хромающую фигуру — Стулов. Он меня, конечно, узнал, полез в карман и высыпал в мою кошелку горсть шоколадных конфет — «мишки» и «трюфели». Одет он был очень хорошо. «Где работаете?» — спросила я. «А вот увидишь». Мы вышли из вокзала, и подъехал автомобиль. «Секретарем горкома», — сказал мне Стулов и, важно усевшись, покатил. Неужели правда, подумала я. Секретарем, я знала, был Варданьян, сын бакинской комиссарши, воспитанный в Англии, очень культурный и добрый человек. Он многим помог и многих спас. Дома у мамы я узнала, что Варданьян арестован и обвинен в том, что он якобы передал за границу чертежи с авиазавода — чертежи тех самолетов, которые во время войны называли кукурузниками и которые немцы сразу сбивали. Варданьяна расстреляли. Его заменил Стулов, бывший бандит, малокультурный, малограмотный, но после такого возвышения преданный Сталину как собака.

Еще один случай в больнице. Лег на операцию грыжи рабочий металлургического завода Зайцев. Это было при нэпе. Разглагольствовал, какие замечательные наступили времена, что его сын поступит в ФЗУ (фабрично-заводское училище), что туда прини-

мают только детей рабочих, как раньше дворян в лицей; что теперь, мол, мы, рабочие, — дворяне, и в таком роде. Выздоровел, выписался. Кто мог тогда думать, что через девять лет (я уже тогда работала при отделе труда в кабинете психотехники) этот гордый пролетарий будет облизывать мою тарелку. Мы с доктором Васильевым должны были проверить питание и установить, сколько калорий получает в день рабочий. Обследование проводили на металлургическом заводе. Получали обед в столовой ИТР (инженерно-технические работники). Так вот, встретил он нас и, узнав, пошел за мной и доктором и облизал наши тарелки. Правда, мы оставили на них немного каши. Количество калорий оказалось таким, что доктор приписал еще тысячу от себя и сказал, вполне справедливо, что, если мы напишем правильный результат, нас обвинят во вредительстве и клевете, что по нашим сведениям получается, что рабочие голодают и от такого питания падают в обморок (а они падали). Им выдавали килограмм хлеба, но большинство были крестьяне и приходили на работу за десять верст от слободы Николаевки. Они имели семьи, жен и детей, которым как деревенским паек не полагается, и отцы делились этим килограммом со всей семьей. Заводского обеда — тарелки перловой каши — было мало. В столовой ИТР к каше давали кусочек мяса и еще тарелку жидкого супа. Всего было пять столовых: для обыкновенных рабочих одна каша, для особо тяжелого труда прибавляли пол-литра молока, для квалифицированных, ИТР и для начальства были другие нормы. Мы имели такие карточки: мама получала 400 граммов хлеба, я и брат — по 600 граммов. Еще иногда полугнилой картофель. Доктор Васильев как зав получал 800 граммов хлеба. Вот с таким питанием пережили три голодных года. Правда, иногда можно было достать рыбу — купить тайком у рыбаков.

В эти годы мы встречались с родными Минаевыми, с сестрой мамы тетей Верой и ее сыном Володей и с подругой мамы по институту учительницей Александрой Алексеевной Кирпичевой. Она жила со своей сестрой Софьей, замужем за Фоти, банковским бухгалтером, и с двумя их сыновьями: Костя работал почтальоном, был очень религиозный, всегда заходил в церковь помолиться. Шура — уже передовой современный юноша. Еще было три незамужних сестры Кирпичевых и одна замужем за Мигриным, с двумя дочками. До революции это были очень богатые помещики. Все они занимали целый этаж углового дома на Чеховской улице, угол Депальдовского. Это были очень культурные и образованные люди. Когда-то Александра Алексеевна и Надежда Алексеевна, будучи бедными, служили у баронов Врангелей и князей Куракиных воспитательницами их детей. Много с ними ездили и жили в Италии и Франции, прекрасно владели французским и итальянским языками. После революции продолжали переписку с ними. Те им иногда присылали КЭР\*-пакеты.

Как-то после работы я зашла к ним посидеть. Вдруг стук в дверь, и входят геппеушники — будут у Александры Алексеевны производить обыск. Александра Алексеевна как раз написала письмо Куракиным, она испугалась и дала его мне, я засунула его в валенок. Нас всех согнали в одну комнату, и начался обыск. В комнате с нами сидел солдат с ружьем; потом начали выводить по одному в другую комнату и обыскивать, раздевая догола, с ними пришла для этого женщина. Я не знаю, что делать с письмом. Беру в руки книгу и, глядя солдату прямо в лицо, вкладываю письмо в книгу, а после обыска опять прячу

---

\* CARE (Cooperative for American Remittances to Europe) — союз американских благотворительных учреждений и организаций, которые посылали в Европу после Второй мировой войны посылки с едой, одеждой и медикаментами.

его в валенок. Обыск продолжался до трех часов утра. Когда он окончился, Александре Алексеевне сказали: «Вы идете с нами», — а мне: «Нам по дороге, мы вас проводим». Идем ночью, а следователь острит и рассказывает анекдоты. Я не знаю, арестована я или нет, мы подходим к моему дому, и я прощаюсь — меня не задерживают. Мама и брат Алеша не ложились в тревоге за меня.

Через две недели Александра Алексеевна постучала к нам в окно, ее отпустили. Она была страшно напугана и не хотела ничего рассказывать. Я отдала ей письмо, она его порвала. Что случилось с этой семьей в дальнейшем?

Обрусевшие греки Фоти были арестованы за фамилию и пропали. Софья Алексеевна так ничего о них не узнала, это было в 36-м году. Мигрины, мать и дочери, умерли во время войны от голода. Таганрог был блокирован, и не было продовольствия. Остальные сестры Кирпичевы тоже умерли от голода. Александру Алексеевну после занятия города советскими войсками опять арестовали, и она не вернулась оттуда.

Двоюродный брат Володя Кунаков рассказал в обществе, что на пирамидах в Египте нашли записи рациона рабочих. Он эти записи (сколько давали хлеба и пр.) запомнил и рассказал — за это и был арестован. Никаких вестей его мать о нем не получила. И. И. Минаев рассказал Сутулову, своему бывшему казачьему командиру полка, пародию на пушкинское «Лукоморье», и тот, как оказалось, став сексотом, донес ГПУ. Иван Иванович еще милостиво получил пять лет Беломора. Там ему повезло. Когда их этап пришел, то их встретил пьяный начальник и командовал: «Ну там, которые честные, офицерье, попы и прочая белая банда, выходи вперед!» Иван Иванович попал бухгалтером, а священника назначили хранителем склада. Оба они через пять лет вернулись, но через 6 месяцев их опять арестовали и сослали неизвестно куда.

У Минаевых мы познакомились с Владимиром Владимировичем Бурлаковым. Это был сын коменданта Выборга, офицер сводно-гвардейского полка. Он перешел на сторону красных и за взятие Кронштадта получил орден Красного Знамени. Устроился начальником пожарной команды, которую вскоре взяли под ведение ГПУ и дали ей соответствующую форму. Он часто бывал у нас, и соседи, видя какое у нас знакомство, не стали доносить, хотя все же между 1923 и 1930 годами у нас было три обыска. Во время одного обыска вдруг стук в дверь и возглас: «Хозяева дома?» И входит Бурлаков в форме ГПУ. Потом он разузнал и рассказал, почему был обыск. У доктора Зака Боголюбовы, уезжая, оставили чемодан с платьем. Зак велел кучеру отвезти этот чемодан нам, и тут же поступил на нас донос, что, верно, в чемодане бомбы. Именно Владимиру Владимировичу Бурлакову мы обязаны тем, что нас не арестовали.

Потом в 1930 году Бурлакова куда-то перевели, и я не знаю, что с ним случилось. В 24-м году я крестила его дочь Таню. Еще у него был мальчик постарше, Андрюша. Когда родилась Таня, Андрюша это очень переживал и просил меня взять с собой Таньку и где-нибудь ее бросить. Боюсь, что эта милая семья вся потом погибла. Жена Бурлакова, Ольга Андриановна, была школьной учительницей. Очень милый и порядочный человек. Их судьба сложилась помимо их воли. Тех офицеров его полка, которые отказались служить в Красной армии, тут же расстреливали. Он согласился. Правда, нося форму ГПУ, он работал начальником пожарной охраны. Не думаю, чтобы морально он чувствовал себя хорошо.

Рядом с нами жила семья коммунистов Валуйских. Он — заводской слесарь, она — дочь деревенского лавочника. С ними жила ее сестра Женя Демина с мужем и малым сыном. Демин был предан коммунизму до безумия. Он сидел и учил наизусть целые страницы сочинений Ленина. Сам он был сыном повара у каких-то князей. Демин выписал к себе в Таганрог отца и сестру. Отца он устроил поваром в заводскую столовую. Старик был очень представительный и умел себя держать, видно, что служил в хорошем доме. Он походил с неделю на работу и велел дочери собираться домой. Он пришел попрощаться с нами и сказал: чтобы сварить перловую кашу, не надо быть поваром, и вообще — готовить такую дрянь он не согласен. Было это, кажется в 1930 году.

Не ушел с белыми, а остался и казачий генерал Иван Константинович Хрящетитский. Его, конечно, арестовали и посадили в ГПУ. Следователем ему попался некто Гончаров, русский сверхидейный коммунист. Он до революции был знаком с моим мужем. Иван Константинович поразил его своим бесстрашием и благородством. Когда Ивана Константиновича перевели в общую камеру, то он сказал сидевшему там архиерею: «Владыка, давайте покажем пример и вынесем парашу». На допросах он держал себя с необычайным достоинством.

Потом, когда Гончарова уже исключили из партии и выгнали с работы, он нам это рассказывал. Так вот, Гончаров вызывал его на допрос, чтобы поговорить с ним и подиспутировать, чаще, чем надо, и добился его освобождения, так как Гончаров сумел доказать Бухбанту, что человек, который добровольно остался и никогда не был в Белой армии, не подлежит аресту. Хрящетитский и его жена умерли от недоедания в 1930 году. У них был сын, который эми-

грировал в Париж, и очень красивая дочь, замужем за красным командиром, но они родителям не помогали, а может быть, и не могли.

Очень интересным человеком, можно сказать — святым, была Мотя Алексеевна Сергеева. Муж-рабочий, как и полагалось, запивал. Детей она нарожала двенадцать, из них в живых остались две дочери — Поля и Луша. Она служила прачкой у Боголюбовых (старик Боголюбов был председателем суда в отставке, бывший правовед). Так вот, эта Мотя, или Алексеевна, после революции стала ухаживать за одинокими старыми дамами, «недорезанными буржуйками». Она бесплатно стирала им белье, ухаживала за ними, когда они болели, и хоронила их. Мотя осталась жить в боголюбовском доме. Дом был большой, и в него вселилось много народа и один коммунист, отвратительный человек, которого все боялись и ненавидели. Так вот, в 38-м году встречаю ее с узелком, остановились, разговорились. Спрашиваю, куда она идет. Отвечает: несу передачу в НКВД. Я испугалась, думала, дочерей ее посадили. Нет, она несла передачу этому коммунисту. Говорит: «Ну кто же такому отнесет? Все рады, что он сидит, родных у него нет, вот я и думаю, что надо и ему снести пышек, хоть он меня за веру в Бога и ругал и грозил мою икону спалить». Икону эту она прикрепила к дверце буфета с внутренней стороны. Когда молилась, то открывала буфет. Боюсь, что она пострадала, когда советчики опять вернулись в 1944 году. Позже, в 1955 году, я написала ее дочери и спросила о матери, та лаконично ответила: «О ком спрашиваете, нет в живых», без подробностей — значит, подробности были плохие.

Ходил по улицам, как нищий, и просил подаяния старик, бывший купец по фамилии Кроткий. У него всё отобрали, но самого не тронули. Мне было жаль старика, и я ему разрешила стучаться в окно, когда он будет голоден. Мы жили в полуподвале, окна вы-

ходили на улицу. Раз у нас сидел знакомый инженер. В окно постучал Кроткий. Мама открыла форточку и что-то ему дала. Он поблагодарил и ушел. Инженера вскоре арестовали, он просидел два года. Когда его освободили, он рассказал, что сидел по доносу Кроткого, который услышал в окно какой-то рассказанный им анекдот, дождался его на улице, а потом донес. Инженер был из местных, и Кроткий знал его семью.

Архиереем в Таганроге был епископ Арсений. У него был прислужник — послушник Ваня, будущий епископ Иосиф. Арсения арестовали, он просидел в ГПУ, а затем его выслали в Соловки. Это он сидел вместе с генералом Хрящевитским в одной камере. После его ареста церковь стала Сергиевской живоцерковной. Только одна маленькая Никольская церковь не подчинилась — она держалась рыбаками и находилась в так называемой крепости. Архиереем назначили женатого священника и, чтобы сделать его популярным, разрешили ему устраивать открытые диспуты с атеистами. Такой диспут был один раз в цирке. На арене стояли скамьи, на которых сидел епископ Александр и все священники, человек десять, и с ними спорил выделенный оратор из парткома. Цирк был заполнен до отказа. Александру, видимо, было позволено разбить все аргументы атеиста, который говорил, что мир и все живое произошли из чего-то, что плавало в воде. Это было в 1924 году. Вскоре Александр снял сан и поступил на кожзавод бухгалтером, а собор разломали. Николаевская церквушка, хоть и закрытая, продержалась до немцев, при которых в ней служил епископ Иосиф, бывший служка Ваня. Я полагала, что по возвращении советской власти епископа расстреляли, но потом в журнале Московской патриархии прочла, что в Казахстане находится епископ Иосиф; может быть, это был он. Между прочим, после десяти лет лагеря епископ Арсений был обвинен в том,

что хоронил в 1918 году юнкеров, хотя до этого хоронил и убитых большевиков, но будто бы тогда он пел хуже. Это рассказал Иосиф, который сидел с Арсением в Соловках и которому удалось бежать и скрываться у рыбаков на Белом море.

Относительно моей работы в больнице. В городе было человек десять морфинистов, все бывшие работники ЧК, нервы которых не выдержали такой работы. Они были на пенсии, хотя далеко не старики. Им почему-то официально разрешили употреблять морфий, и они ходили по докторам и больницам и кланчили, чтобы им дали морфий. Обычно их желание удовлетворяли сразу, иначе они устраивали страшный скандал, начинали кататься по полу, бить все вокруг, ломать мебель. К 30-му году их осталось трое; один из них — Демин. Вот идет у нас в больнице операция. Врывается Демин, катается по полу, затем вскакивает. Я хватаю баночку с раствором морфия, граммов сорок, и ставлю на стол рядом. Руки мои уже не стерильны, он хватает и залпом выпивает все. Вытирает рот, отдает мне честь и весело, как ни в чем не бывало, уходит. Этим количеством можно было бы умертвить с десятков людей, он же так привык, что яд его не брал.

Я получала 50 рублей в месяц, доктор — 150. Под конец моей службы я стала получать 190 рублей, а доктор — 450. Это было страшно мало, и у всех была еще работа на скорой помощи. Наши все там работали. Кроме того, подрабатывали абортами. Хотя они были разрешены, многие женщины избегали гласности. Наши сестры делали аборт у себя на дому, и я иногда им помогала. Материал брали из операционной. Делали хорошо, ни разу не было осложнений. Делали без наркоза — и дома, и в больнице. На эту операцию наркоза не полагалось.

В 1928 году мой брат Алеша окончил среднюю школу. Ему очень хотелось продолжить учение в инду-

стриальном техникуме. Учился он очень хорошо, помогал неуспевающим, но по социальному положению (бывший дворянин) не имел права на специальное и высшее образование.

В мае, в жаркую погоду, к нам в больницу привезли начальника милиции: в погоне за правонарушителями он упал с лошади и сломал ногу. Я согласилась дежурить у него всю ночь. У него очень болела нога, и он не мог спать. Я обтирала его спиртом, сидела и веяла на него воздухом, т. к. жарко было даже ночью. Так провозилась с ним всю ночь. Наутро ему стало лучше, и он стал благодарить меня: «Ах, спасибо, спасибо, что бы и я мог сделать для вас, сестра?» Я отвечаю: «При всем желании вы не можете устроить моего брата в техникум. По социальному положению он не имеет права туда поступать». — «Дайте бумагу», — попросил он и написал: «Товарищ Третьяков, прими в техникум брата медсестры Неклюдовой». Третьяков был заведующим техникума. Алешу без разговоров приняли, он смог стать техником и поступить сначала на завод, а потом на заочный в Новочеркасский авиационный институт, который и окончил в звании инженера.

## КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ

В феврале 1930 года хирурга Марка Абрамовича Лившица и меня послали на сорок дней на коллективизацию на Кубань в станицу Канеловскую Старо-Минского района. Поместились мы с М. А. Лившицем вместе в дежурке при больнице. Обедать договорились за плату у жены счетовода. Еда у нее была замечательная: началась коллективизация, и хозяйка постаралась поскорее сократить размеры своего птичьего двора. Завтракали яйцами и салом, хлеб покупали на базаре. Пока отнимали только зерно, а муку не

трогали. Молотъ уже запретили. Отобрали лошадей; много лошадей бродило беспризорно, т. к. для них не было готово помещение. Сразу для такого количества скота не могли выстроить сарай.

До обеда мы проводили одну операцию: на большее я не могла приготовить материала. Обычно оперировали грыжу или аппендицит. Ассистировали местный врач и его жена. Они были из Новочеркасска; если не ошибаюсь, по фамилии Дувакиных — известная в Новочеркасске фамилия. У них была когда-то частная женская гимназия. Они держали крючки, я подавала инструменты, привезенные нами, а Марк Абрамович оперировал. Особым мастером он не был, но справился, и никто из пациентов не умер, а то бы нам с ним была беда.

После обеда мы оба должны были проводить беседы на медицинские темы по нашему выбору. Например, о тифе, о чесотке или сифилисе. Между прочим, с фронта занесли в станицу сифилис. Станичный пастух заболел этой болезнью, а так как он по очереди обедал по хатам, то и разнес ее по всей станице.

Кроме бесед с населением и лекций, мы оба должны были уже под вечер сопровождать бригаду, которая раскулачивала зажиточных казаков. Командовал ею рабочий-десятитысячник из города по фамилии Пивень (десятитысячник — это городской коммунист, которому власть поручила проводить раскулачивание). Бригада состояла человек из десяти, включая доктора и меня. Все местное начальство было в бригаде.

Мы ходили по хатам. Всюду нас провожали глаза, полные ужаса. Лезли из кожи вон докторша и уборщица. Они поминутно кричали: «Смерть кулакам! Уничтожить их как класс!» Более отвратительного зрелища я за всю жизнь не помню. В хате нас встречал хмурый хозяин, плачущая жена и испуганные глаза детишек, теснившихся в углу. Уборщица кричала:

«Отдайте все зерно!» А докторша: «Скажите, если знаете, кто из соседей и где закопал, тогда вам ничего не будет. Пойдете с нами отбирать».

Около другой хаты стоят сани, на них сажают семью кулаков, малых детей пяти-шести лет. Все молчат, никто не плачет, только жмутся друг к другу. И вот десятитысячник Пивень подходит и снимает со всех теплые шапки. На улице мороз, а повезут их в Сибирь. Вечером Марк Абрамович говорит мне: «Татьяна Александровна! Жид с жида на морозе шапку не снимет, а что сегодня православные христиане делали?» Я ответила: «Вы совершенно правы. Большой жестокости нельзя себе и представить». Пивень выслуживался перед партией. Хорошо, что мы были молчаливыми свидетелями и от нас не требовали каких-либо заявлений. За всех старались докторша и уборщица.

Женщина, у которой мы обедали, рассказала нам следующую историю. В станице жил сирота-пастух. Однажды он подобрал жеребенка, которого хозяева как больного выбросили на свалку. Пастух его выхаживал, выкормил, и получилась прекрасная лошадь, на которой он пас станичное стадо вместе с другим пастухом. Его вызвали в сельсовет и потребовали сдать лошадь в колхоз. Он отказался, говоря, что пастуху полагается лошадь, пусть, мол, эта лошадь ему и останется. Ответили отказом. Наутро исчезли и пастух, и лошадь — верно, поскакали в горы, чтобы пристать к «зеленым».

Между прочим, в 1930 году горцы подняли восстание. Их моментально усмирили, забросав бомбами, начиненными удушливым газом. Об этом я случайно узнала от одной медсестры. Она была при этих карательных отрядах и говорила, что погибли все — и люди, и животные. То же самое рассказал моему мужу его бывший ученик Гречко. Мой муж преподавал в селе Голодаевка и дружил со старшим братом

Иваном Антоновичем Гречко, а Андрей был тогда еще учеником. Ивана Антоновича как эсера арестовали и сослали, а младший, Андрей, сделал позднее карьеру.

Еще один случай рассказала нам наша хозяйка. Раскулачили семью. Мужа забрали, все вещи тоже. Осталась женщина с детьми в пустой хате, сохранили только миску и ложки. Так вот, пришел коммунист из сельсовета и стал отбирать последнее — ложки и миску. Тогда 12-летний мальчик, сын раскулаченных, схватил вилы и проткнул мародера. Тот от ранения умер, а женщину с детьми увезли неизвестно куда. Мальчик же, убийца, куда-то убежал. Вот такие можно было услышать истории. Виктор бы Гюго послушал!..

В мае 1931 года я уже работала у доктора Васильева в его бюро психотехники при отделе труда. Учеников фабзауча (фабрично-заводское ученичество) и меня, как медсестру, послали на сельские работы в колхоз под Таганрогом, что находился в 30 километрах от города. Еду привозили из города в термосах. Расселили по хатам. Утром гнали на прополку. Бурьян-осот колючий да будяки ранили руки, а перчаток ни у кого не было. Привозят обед — синеватую невкусную перловую кашу. Никто не избалован, но есть ее не хотят, один только пайковый хлеб. Приходят с соседнего поля две худенькие девочки и просят отдать им кашу. Вот вкусная, говорят. Я спросила, откуда они, и услышала их историю. Они с Кубани, дети арестованных кулаков-казаков. Их, девочек, собрали и привезли сюда, поместили в строении полусгоревшего имения. Им примерно от 8 до 16 лет. Они должны работать в колхозе. Кормят их так плохо, что они превратились в живые скелеты. Перед обедом им читает назидания политчасть: они должны благодарить своих родителей, что им так плохо теперь, они — кулацкое отродье. По очереди они должны выступать

и проклинать своих отца и мать. Ночью им холодно спать, одеял нет; они думают, что, когда наступит зима, все они умрут. Сейчас лето, так что пока можно терпеть. Я тогда еще не знала о таких детских концлагерях, но вот — сама убедилась.

Крестьянин в хате, где я спала, был мрачен. Он начал заделывать окно в хате, выходящее на улицу. Я спросила, зачем. Он ответил, что прошел слух, будто за каждое окно, выходящее на улицу, будут брать налог. Вот до чего дошло! Крестьяне от советской власти ждали только плохого. Во дворе ходил поросенок. Хозяин сказал: взял его для колхоза, чтобы матери и жене было занятие, а то все отобрали, даже кур. Так пусть хоть за чужим поросенком смотрят. В некоторых местах отобрали кур, сгрузили на подводы и повезли в колхоз. Почти вся птица дорогой передохла. Многие коммунисты не знали, что бы еще придумать, чтобы выслужиться. Когда мы ехали на работы, нам сказали «на две недели», а пробыли там больше месяца. Потом срок все прибавляли. Комсомолка Анна Шилова разрывалась на части, подбадривая, угрожая — я прямо диву давалась, глядя на нее. Обманывала детей и лгала им, не краснея.

У нас был один случай острого аппендицита, и ученицу отвезли в город. Мой диагноз оказался правильным, что расположило в мою пользу зава ФЗУ и пригодилось в дальнейшем. Он так хорошо охарактеризовал мою работу, что мне прибавили жалованье. Я целый день только и делала, что примачивала раствором марганца натертые пузыри и, сильно разбавив, поила им от поноса — и с успехом. Кроме бинтов и марганца, лекарств у меня не было.

Когда отпустили домой, рады все были необычайно.

...В то время мы жили в Таганроге в старинном двухэтажном каменном доме, принадлежавшем до революции богатым греческим купцам. Наша кварти-

ра находилась в полуподвальном этаже, где раньше была кухня и помещения для прислуги. У нас было всего две комнаты: маленькая угловая и большая проходная, но зато две кухни — чистая, где готовили и держали продукты, и «черная», где стояла бочка с дождевой водой и лежали дрова. И еще была настоящая русская печь. Прочитав несколько лет тому назад описание дома, в котором Александр Пушкин останавливался по дороге на Кавказ (эта история была опубликована в журнале «Неделя»), я убедилась, что это был именно тот дом, в котором мы жили. Водопровода в доме, конечно, не было, умывались мы на кухне из жестяного умывальника.

Дом стоял на Греческой улице, которую переименовали в улицу Третьего Интернационала, но так как никто не мог этого выговорить, а тем более написать, то все называли улицу, как и при царе, «Греческой». У входа во двор росла роскошная шелковица, которой уже тогда было более ста лет. Двор выходил обрывом на залив. Внизу был кожевенный завод, отбросы которого выливались в море. Посередине обрыва был выкопан колодец, из которого ведрами черпали воду. На улице была водопроводная колонка, где старушка продавала воду: два ведра за копейку.

В июле 1932 года у меня родилась дочь. Как и всем новорожденным, ей написали химическим карандашом на лбу номер моей кровати. Лежала я в большой палате на 12 человек. Слушаю, как мило беседуют роженицы. «Обязательно окрещу, — говорит жена предгорсовета. — Это Настя, мой второй ребенок. Первый был мальчик и умер некрещеным. И вот снится мне: огромный зал, столы стоят, и за ними дети сидят, и мой там сидит. Входят ангелы и разносят угощения, а моего минуют. Хоть мы и партийные, а все равно окрещу. Мой-то и знать не будет».

Мою дочь Ксению крестили в последней еще открытой православной церкви — греческой. Через не-

сколько недель после этого комсомольцы убили на улице ксендза польской действующей церкви — на суде заявили, что не могли вытерпеть его вида в рясе.

Как-то под Новый год (1934) зашел к нам знакомый врач, мой бывший сослуживец. У него была просьба ко мне: «Подежурьте в новогоднюю ночь со мной на «Скорой помощи». Надо начать с восьми». Я согласилась и явилась в поликлинику. Там уже все были в полном составе: доктор, акушерка, санитарка. На дворе выпал снег. Весь наш транспорт был — лошадь, запряженная в сани. Вскоре прибежал в панике какой-то человек и попросил приехать к его жене, у которой начались роды. Через полчаса акушерка, которая отвезла роженицу в роддом, вернулась и рассказала, что дорогой к саням прицепился хулиган и всю дорогу колотил их по спинам. Во второй вызов у роженицы, сидевшей в тех же низких санях, хулиган на улице сорвал с головы шаль и унес. Тут раздался страшный стук в дверь. Доктор крикнул санитарке: «Не открывайте, это, верно, морфинист Демин». Но оказалось, это не Демин, а гражданин, который пришел сообщить, что его соседу плохо. Доктор идет к печке, берет лежащий там отрезок трубы с завинченной на конце гайкой и говорит: «Пошли». Гражданина он пропускает вперед. И вот движется шествие: впереди гражданин оглядываясь, за ним доктор с трубой, повторяя: «Вот как тресну, так не поздоровится», потом я с чемоданом «Скорой помощи», за мной санитарка. «Вы себе представить не можете, сколько раз уже на меня нападали, — объяснял мне доктор. — Вот так вызовут и либо на улице ограбят, либо же дойдешь, открываешь дверь, а в тебя летят бутылки». Идти оказалось недалеко. Дверь открыла заплаканная женщина. За столом сидел лишь один пьяный, а со шкафа выглядывали двое детей. Оказалось, этому гражданину не дали освобождения от работы, хотя он считал себя тяжело больным, и он

устроил дома такой дебош, что дети спрятались на шкаф. К нашему приходу он уже успокоился, и нам пришлось выслушать всю его историю болезни. Доктор дал ему валерьянку, и мы пошли назад. Всю ночь у нас было оживление: перевязывать пьяные рожи. Новый быт, новые нравы...

Вскоре я переехала в Ростов к мужу, который преподавал в университете, и поступила на работу в сануправление. Мы делали предохранительные прививки на дому. Целыми днями поднимались и спускались по лестницам, лифты — даже там, где еще существовали с царских времен, — не работали. Иногда, сделав первую инъекцию, я приходила через несколько дней и находила квартиру опечатанной. Это был 1936 год.

Как-то я пришла в комнату интеллигентной старушки, и мы разговорились. Оказалось, ее племянница замужем за начальником Ростовского военного округа. Открыв сундучок, старушка показала мне отрезы материй. «Если его посадят, — сказала она, — то я возьму их мальчика, и мы будем жить на продажу этих вещей».

Весною 32-го или 33-го года приходит в отдел труда деревенский мальчик. Его родители умерли от голода, он, уже сильно опухший, думает спастись, поступив в ФЗУ. Ему четырнадцать лет, а надо 15, так он себе грубо переделал дату в свидетельстве о рождении. Зав. проверял их и, увидев подчистку, порвал свидетельство из колхоза и накричал на мальчика. Тот, заплакав, пошел вон. Мне его стало жалко. Я вышла за ним и сказала: «Сиди и жди, пока я кончу работу и пойду домой». Взяла его с собою. Поместила, дав старое одеяло, под балконом, накормила сваренной картофельной кожурой и кусочком хлеба, думаю, что с ним дальше делать. Иду на другой день на работу, знакомый сосед подзывает меня и спрашивает, кого я подобрала. «Сейчас же гоните его вон, —

советует он, — на вас уже поступил донос, что вы спасаете кулацкое отродье. Мне об этом рассказал следователь, и так как он у вас в больнице лежал и вы за ним ухаживали, то он, если уберете мальчишку, положит донос под спуд. Я с ним учился в школе, и он просил меня вас предупредить».

Как выгнать Мишку Мирошниченко? Что он, бездомная собачонка? Я бегу на скорую помощь, где врачом работала Ида Ефремовна, родная сестра нашей фельдшерицы Фанни Ефремовны. Рассказала ей все и попросила взять Мишку как больного. Она сказала, чтобы он жаловался на боль в животе справа, и приехала за ним. Поместила в больницу. Через две недели заехала ко мне и просит забрать его, дольше нельзя держать.

На другой день ко мне на службу пришел зав ФЗУ и говорит: «Если наберешь мне не пухлых (это от голода) двадцать ребят, которые будут кузнецами, то получишь магарыч». Я говорю: «Хорошо, постараюсь, а вы мне за это возьмите одного в придачу без документов». Тот в ответ: «Ладно». Я в больницу, велела Мишке прийти в назначенный срок в отдел труда, и зав. сдержал слово, взял его с другими и поместил в ФЗУ в кузнечный цех. Таким образом, этому мальчику, хотя с трудом, удалось спастись от голодной смерти.

На этом кончаю свои записи прошлого. Все прошло снова перед глазами, и я почти от этого заболела.

...За эти годы я, кажется, все перенесла: гибель близких, и голод, и обыски, и жизнь под чужим именем, и наступил момент, когда чаша терпения оказалась переполненной.

В 1943 году мы с мужем ушли на Запад. И на этом можно поставить точку.

Литературная обработка *В. Нечаева*

# **Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»**

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика.

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

**A. Neimanis · Buchvertrieb  
8000 München 40 · Bauerstraße 28 · Germany**

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

**США: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztein),  
594 Chestnut Ridge Road  
Orange, CT. 06477, USA**

**Генеральное представительство  
«КОНТИНЕНТА»**

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB  
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany**

Дорогие друзья! Еще недавно считалось, что совершеннолетие молодых людей наступает в двадцать один год; в наши дни уже восемнадцать считается, тем волшебным возрастом, после которого человек созрел и может занять свое место в среде взрослых.

В журнальном мире, мне кажется, этот возраст — десять лет. К несчастью, многие журналы погибают еще подростками в первые годы своей жизни, а те счастливики, которые в детстве преодолели критический период, продолжают борьбу, чтобы доказать миру свою жизнеспособность. Но в конце концов наступает время, когда журнал получает право уверенно смотреть в лицо читающей публике, говоря: «Вот я, теперь я взрослый и отныне со мной необходимо считаться!»

Десять лет непрерывной деятельности, несмотря на все финансовые, политические и прочие проблемы, действительно свидетельствуют о духовном совершеннолетию журнала. Когда «Индекс цензуры» два с половиной года назад праздновал этот юбилей, редактор и редколлегия «Континента» направили нам теплое поздравление, в котором они выражали нашему журналу пожелание выпустить в ближайшее время номер, где в качестве объектов уже не упоминались бы Советский союз и другие коммунистические страны. К сожалению, этот день еще не настал, и в этом причина существования второго, вместе с нами, десятилетия «Континента». СССР и его союзники все еще остаются диктатурами, готовыми раздавить любой признак оппозиции и поэтому преследуют лучших писателей, поэтов, историков и ученых. «Континент», как и «Индекс», надо надеяться, всегда будет в этих случаях беспристрастным свидетелем обвинения. И, что, может быть, еще важнее, по-прежнему будет публиковать то, что невозможно напечатать «там».

В своей статье в честь нашего юбилея в 1981 году Владимир Максимов писал:

«Орвелловские фантастические максимы сделались минимумом для физической самозащиты от вполне реальной диктатуры. Поэтому только в независимом от предубеждений полете мысли мы обретаем свободу, основанную на культуре, ибо культура — единственный остров в тоталитарном мире, где мы можем ее обрести».

В заключение вот пожелание одного такого «острова» другому: пусть «Континент» продолжает оставаться с нами все время, пока это необходимо, успешно продолжая свою ценную работу, начатую им десять лет назад. От имени всех

сотрудников «Индекса» желаю вам, дорогие друзья, счастливого дня рождения и, пока еще продолжается в мире кошмар Орвелла, многих таких юбилеев.

*Джордж Тейнер,  
Главный редактор журнала «Индекс», Лондон*

# Обозрение

Владимиру Емельяновичу Максимову и всем сотрудникам «Континента» сердечный привет и поздравления от младшего собрата — «Обозрения».

Десять лет тому назад вы основали «Континент», обозначив новую веху в истории развития русской культуры. «Континент» быстро завоевал популярность и среди читающей России и в Русском Зарубежье. Журнал много способствовал распространению понимания событий происходящих в СССР на Западе. Чёткая позиция журнала по наиболее острым проблемам современности заслуживает уважения.

Желаем «Континенту» успеха во всех его делах.

*Александр Некрич*

Париж,  
май 1984 г.

27 апреля 1984 года трагически оборвалась жизнь Якова ВИНЬКОВЕЦКОГО.

Никто из нас все еще не может освоиться с мыслью о внезапной смерти этого, еще молодого, полного идей и творческих сил человека.

Яков Аронович Виньковецкий родился в январе 1938 года в Ленинграде. Там же окончил Горный институт, работал геологом, исколесил всю страну; защитил кандидатскую диссертацию. Параллельно всю жизнь занимался живописью, был художником. В апреле 1975 года уехал вместе с женой и двумя детьми из СССР и почти сразу получил значительный научный пост в крупной нефтяной компании. Жил в Хьюстоне (штат Техас), бывал в Париже.

Этот небогатый перечень дат и городов ничего не скажет постороннему о Якове Виньковецком, каким мы его знали. Виньковецкий был крупный и страстный человек во всем, чем бы он ни занимался. Участием Виньковецкого почти два десятилетия отмечались почти все крупные события неофициальной культурной жизни Ленинграда. Его научная жизнь не была, как у некоторых пишущих, лишь способом пропитания. Ученый Виньковецкий был постоянным источником новых идей. Мы, друзья, знали это прежде всего от него самого — он умел говорить с любым на свои главные темы, просто не мог иначе. Рядом с нами жил человек подлинно энциклопедической широты — из той породы, что принято относить к далекому прошлому.

Будучи поставлен перед необходимостью противостоять властям, отказываться на следствиях, не выходить из себя при обысках, Яков Виньковецкий разработал свой собственный метод поведения. Его статья по этому поводу «Письмо из России в Россию» («Континент» № 7) разошлась в самиздате, дала силы выстоять многим людям и пришлось весьма не по вкусу начальству. Как и во всем остальном, его позиция диктовалась умом, чувством и верой, которые не только не противоречили, но дополняли и подкрепляли друг друга.

...И вот его не стало. Висят у друзей его картины, звучат в ушах еще совсем недавние разговоры, вскоре выйдут новые статьи в журналах. Невозможно приготовить себя к уходу друга. Со смертью друзей умирает важнейшая часть тебя самого, и горе, что нас охватывает, — это еще и горе о том мире, которого становится все меньше.

*Юз Алешковский, Владимир Аллой, Радда Аллой, Раиса Берг, Иосиф Бродский, Игорь Бурихин, Елена Варгафтик, Анри Волохонский, Александр Гинзбург, Наталья Горбаневская, Эдуард Зеленин, Татьяна Зеленина, Ирина Иловайская-Альберти, Юрий Кублановский, Михаил Кулаков, Илья Левин, Алексей Лосев, Владимир Максимов, Владимир Мрамзин, Татьяна Мрамзина, Ефим Славинский, Алексей Хвостенко, Олег Целков*

# Религия в нашей жизни

Яков Виньковецкий

## ВРАТА РАЯ

«Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия.»

*Откр. 2.7*

Текст, переживанию которого посвящена эта статья, составляет третью главу книги Бытия, одну страничку лежащей передо мной карманной Библии. Текст, как узор на древней стене, испещренной следами взглядов тысяч людей. Простые слова, как бесконечно таинственные знаки. Связь между Богом и человеком выражается через боговдохновенный миф как высшее проявление знака. В истории не меняется истина, но меняется язык — всеобъемлющий, текучий мир нашей жизни. И неудержимо тянет взглянуть на миф снова, из того языка, в котором мы живем сейчас.

Речь идет о первородном грехе. Сразу после сотворения мира и человека совершается грехопадение. Оно происходит в раю. Изгнанием из рая начинается здешняя, земная история человека. Уже с древности, помимо буквального истолкования библейского текста, существовала традиция понимания грехопадения как духовного, метаисторического, довременного события, вызвавшего возникновение всего несовершенного материального мира и определившего место человека\*.

---

\* Автор благодарен о. Александру Меню за его замечательный

При изгнании Господь говорит слова, в которых определена антиномичная природа человека, принадлежавшего одновременно двум, казалось бы, взаимоисключающимся мирам: «Вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Человек, подобно Богу, обладает свободой и знает добро и зло. Но он смертен, он не живет вечно. В вечности могут жить чисто духовные существа. Человек, принадлежа духовному миру, в то же время является частью материальной, пространственно-временной природы, в которой все атомистично и конечно. В этой двойственности — сущность космической роли человека, в котором несомненно соединяются и взаимно проникают друг в друга диаметрально противоположные аспекты мироздания.

В райском саду были два особенных, главных дерева — дерево жизни и дерево познания добра и зла. Им суждено было стать главными вехами бытия. Первоначально путь к дереву жизни был открыт, на его плоды не было запрета. Если бы человек съел их, он, вероятно, стал бы одним из духовных существ. Но человек выбрал запретный плод с дерева познания. Этим предначертано направление будущего пути человека — от дерева познания к дереву жизни. Короткий и прямой путь, в пределах рая, стал недоступным. У рая поставлены «херувим и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Изгнанием из рая начат трагичный и долгий, крутой путь человеческой истории. Путь в неизвестность — к дереву жизни или к исчезновению в небытии. Путь человека к дереву жизни намечается как восхождение к вечности, преобразование времени и снятие ограни-

---

обзор различных интерпретаций грехопадения (см. Эммануил Светлов (о. А. Мень). Магизм и Единобожие. Брюссель, «Жизнь с Богом», 1971; стр. 419-434, 530-600.

ченности природного бытия. Но сама память об этом будет не раз утрачена и дорогой ценой добыта вновь.

Что же такое первородный грех, под знаком которого всякий человек вступает на свой путь? Ясно, что это не просто одно из греховных деяний, но скорее некая общая основа греха — условие, которое делает грех возможным. Сама возможность греха, способность человека к греху неразрывно связана с понятиями вины, свободы и ответственности. Взглянем на кошку, играющую с мышью перед тем, как ее съесть. Кошке мы не можем приписать вины. Интуиция свидетельствует, что в каком-то важном смысле кошка едина со своей жертвой. Обе они — природа; между ними «их», «естественные» дела. Другое дело, если подобным образом себя ведет человек: он садист. Он знает добро и зло. Получается, что способность к греху отличает человека от животного, отделяет человека от природы.

В дочеловеческой природе господствует чарующая и смертоносная гармония. Животное воспринимает сигналы из окружающего мира и реагирует на них в соответствии со своими инстинктами, потребностями и возможностями. Сознание животного обращено вовне и не выделяет себя из среды. Человека отличает прежде всего рефлексия — обращение сознания на себя само как на предмет рассмотрения, своего рода короткое замыкание сознания. Когда это происходит, совершается чудо самосознания: сознание выделяет себя из мира и становится субъектом, превращая мир в объект. Два главных облика субъект-объектного отношения — два уровня самоутверждения и страдания: выделение человеком себя из окружающего мира как целого (отношение «Я — не-я»), и отличие себя от всех остальных людей («я — другие»).

Первородный грех в первую очередь и есть самосознание. Утраченный рай — дочеловеческое бытие. Разрыв с природным миром ощущается как незажи-

вающий шрам, занимающий поверхность души. Человек тоскует, кричит от боли и хочет вернуться. Все оттенки романтизма и представляют это извечное стремление человека назад — слиться с природой в неразличающем, обволакивающем единстве. Но назад пути нет. Спасение не в отказе, а в овладении самосознанием и в его преображении.

Человека, помимо смерти, определяет самосознание в сочетании со свободой. Знание добра и зла и свобода решать, что есть добро и что зло. Свобода выбирать, что думать и что делать. Что же сделал человек со своей свободой в тот довременной день испытания в раю? Вернемся в сад:

Там съеден плод с дерева познания, «и открылись глаза у них, и узнали они, что наги». Они увидели себя внезапно голыми и одинокими — и, ощутив страх, захотели защититься. «И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Тогда впервые воззвал Бог к созданному Им человеку — не в последний раз на долгом богочеловеческом пути: «Где ты?» Страх Божий еще владеет Адамом; его ответ до сих пор дрожит в листве: «Голос Твой я услышал в раю, и убоился, потому что я наг, и скрылся». Наступает момент испытания, грозный вопрос: «Кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты с дерева, с которого Я запретил тебе есть?»

«Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел».

В главный момент испытания Адама оставляет спасительный страх Божий. Из его уст звучит голос трусливого мятежа. История человека начинается с доноса: «Жена, которую Ты мне дал...»; Ева продолжает поступок Адама, сваливая вину на змея. Человеку вручается свобода; чтобы ею овладеть, надо принять ответственность. Первородный грех раскрывается как тайна человеческой несвободы, добровольно принятой путем двойного отказа от ответственности

и сваливания вины. Пусть тот, кто никогда этого не делал, скажет, что он лишь принудительно наследует грех прародителя. Отныне обозначены пределы человеческого бытия: похищен драгоценный дар познания добра и зла, но отвергнута свобода творческого претворения зла в добро. Вступает в силу роковое «Смертию умрешь».

Рядом с тайной смерти есть тайна пола. В прежнем, дочеловеческом состоянии «были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Им был дан завет: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Они были созданы властелинами животного царства и неотрывными от него. Когда явилось самосознание, они увидели впервые не что иное, как себя самих, — увидели отделенными от Бога, от мира и друг от друга. И увидели, что они различны. Тайна пола раскрывается через различие как половинчатость, недостаточность отдельного человека. Самосознание рождает разрыв, одиночество, неполноценность. И неутолимую жажду вернуть утраченные единство и полноту.

Обо всем этом — на одной страничке Книги Бытия. Этот текст возвышается над бытием и историей реальнее и неразрушимее, чем горы. В его тайнописи еще веками люди будут находить новые повороты и значения. В этом тексте, как в семени, содержится генетический код человеческой сущности и истории.

Человек создан по образу и подобию Божию, ему принадлежит самосознание в сочетании со свободой. Своими действиями и движениями души человек может выявить в себе образ Божий — или неузнаваемо замутнить его. Никакие внешние обстоятельства не властны решать за человека эти самые главные дела его жизни. Наши свобода и ответственность бездонно глубоки.

Из когда-то разобщенных островков жизни наш земной мир превратился в сверхсистему взаимосвязей.

Жизнь единичного человека соединена тысячами интимных нитей с историей мира. Никто не знает, как долго будут длиться последствия самого внешне незначительного поступка. Наши свобода и ответственность безграничны.

Преодолеть первородный грех и значит принять в себя полноту свободы-ответственности за себя и в пределе — за весь мир. Это может сделать лишь самосознание, преображенное любовью. Любовь дает возможность выхода за собственные пределы, способность принять и вместить в себя других людей и мир. Адам, представляющий любого из нас, отказывается от ответственности за собственный, совершенный им поступок, за свое самосознание — и тем предаёт свою свободу. Христос, являющийся по слову Церкви новым Адамом, Своей любовью свободно принимает на себя грехи мира, ни одного из которых Он не совершал, — и тем побеждает саму смерть и открывает новую, ответственную эру истории.

Бремя свободы тяжело. Услужливый разум устраивает вокруг человека тюрьму детерминизма, внушает человеку, что он всего лишь раб осознанных и неосознанных необходимостей. Идеологии и группы предлагают человеку уют в своих рядах в уплату за его величайшую ценность — свободу. Человеческая слабость хочет заранее определить на все случаи жизни, что хорошо и что плохо — чтобы только не решать заново каждый раз.

Самосознание обоюдоостро. Оно концентрирует человека в самом себе, изолирует и отчуждает его от других людей и от мира. Но оно же, просветленное любовью, способно соединить внутреннее человеческое с миром, вместить мир и Бога, сделать внешнее внутренним.

Добро и зло, в их относительности и абсолютности, выявляются через свободу земной жизни каждого человека и всей мировой истории. Как единичная че-

ловеческая жизнь, так и история мира не делятся бесконечно. Обе они открыты к завершению, к концу. Обе должны в свой час пройти через разрыв непрерывности, смертную разлуку, «пламенный меч обращающийся». Там риск катастрофы — провала в небытие, но там и возможность преображения — выхода в вечность к единству с Богом. Приходом Христа отдельная человеческая жизнь и вся история мира раскрыты как единый богочеловеческий процесс, и навсегда разрушена стена, отделявшая рай от мира. Врата рая теперь не «в Едеме на востоке», а в каждом человеческом сердце. Крестом на Голгоферосло посреди нашего мира дерево жизни, и его плод предложен всем нам.

Февраль 1984  
Хьюстон

Весть о трагической гибели Якова Виньковецкого пришла, когда эта статья уже была в типографии. Ушел из жизни наш автор, наш друг. Да откроются перед ним врата рая.

*«Континент»*

# «РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе  
Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти  
Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré, 75008 Paris

**Начиная с 1 января 1984 года, цены меняются вследствие изменения почтовых тарифов.**

Стоимость подписки во французских франках:

## *Обычной почтой*

|                      | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. |
|----------------------|--------|--------|---------|
| Франция              | 74     | 138    | 265     |
| Все остальные страны | 107    | 294    | 397     |

## *Воздушной почтой*

|                          |     |     |     |
|--------------------------|-----|-----|-----|
| Европейские страны,      |     |     |     |
| Северная Африка          | 119 | 228 | 445 |
| США и Латинская Америка, |     |     |     |
| Южная Африка             | 146 | 281 | 530 |
| Австралия, Япония, Китай | 150 | 290 | 570 |
| Израиль, Иран            | 125 | 240 | 468 |

Давнишним подписчикам по-прежнему делается скидка.  
В цену входит выходящее 6 раз в год приложение  
«Обозрение», аналитический журнал «Р. М.» под редакцией А. М. Некрича.

**Просим писать прямо на адрес редакции и приложить банковский или почтовый чек, либо сделать почтовый перевод.**

# Искусство

Владимир Тетерятников

## ПРОФЕССОРСКАЯ ВАКХАНАЛИЯ ВОКРУГ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

### *Еще одна коллекция фальшивых русских икон*

В 1980 году я был шокирован, открыв, что иконы из «лучшей» западной коллекции Джорджа Ханна оказались фальшивками. Моя статья в «Континенте» (№ 34) называлась «Мистификация русской культуры на Западе».

«Мистика» этой мистификации — в том, что фальшивками полвека восхищались два поколения западных «специалистов по России», несмотря на анекдотический и нередко антихристианский характер этих подделок. «Мистика» продолжается, ибо никто не задал вопроса, который стал бы убийственным либо для моих аргументов, либо для репутации западных специалистов: мог ли ничего не понимавший в иконах Дж. Ханн собрать уникальную в мире коллекцию фальшивок? Если не мог — значит, я непременно обнаружу фальшивки в других западных коллекциях, иначе мне придется раз-  
увериться в своих методах экспертизы.

Главным оружием моей экспертизы были отнюдь не технические ухищрения анализа, но апелляция к здравому смыслу, «мистически» отсутствовавшему у моих предшественников. На этот раз я выбрал коллекцию, где абсурдность ситуации очевидна из реальных документов и уже напечатанных профессорами книг.

### *КОЛЛЕКЦИЯ РУССКИХ ЦЕННОСТЕЙ ДЖОЗЕФА ДЭВИСА, АМЕРИКАНСКОГО ПОСЛА В СССР*

Эта коллекция представляет следующие преимущества для нашего исследования:

---

Продолжаем разговор, начатый автором в №34 «Континента».

1. Собиратель был важным и официальным лицом — послом США в СССР в 1936—1938 гг.

2. Коллекция была собрана с одобрения и с помощью высших советских инстанций: от Академии наук СССР до ГПУ.

3. Цель собирания коллекции была не коммерческая, а «укрепление дружбы между американским и советским народами».

4. После прибытия в США коллекция была принесена в дар американскому народу и стала знаменитой.

5. Коллекцию Дж. Дэвиса изучали выдающиеся американские ученые, хранится она в серьезном университетском музее.

Прославление коллекции в США началось с необычайного события: выставки в Белом Доме для президента и его высокопоставленных гостей. Следующая выставка еще более невероятна: в советском посольстве в Вашингтоне, где ее посетил весь дипломатический корпус и многочисленные «друзья советского народа». Затем — триумфальный показ в Американско-Русском институте, после чего выставка навечно осталась в превосходном музее Эльвегеймского художественного центра при Висконсинском университете в г. Мэдисон.

За истекшие сорок с лишним лет коллекция восхитила многих, начиная с губернатора штата в момент принятия дара и кончая... нет, до сих пор не кончается поток посетителей храма искусств Висконсинского университета. Первый печатный каталог был опубликован еще в 1938 г., а в 1973 г. несколько научных, общественных и даже правительственных учреждений выделили средства для «научно окончательного» изучения именно иконной части коллекции. Венцом научного подвига явился солидный труд проф. Джорджа Галавариса «Иконы в Эльвегеймском художественном центре». Удостоил коллекцию своим вниманием и проф. Джон Болт, основатель и глава Института современной русской культуры в Блю Лагун (штат Техас). Коснулись ее и такие классики мирового искусствознания, как Эрвин Панофски и Курт Вейцман.

Собранные Дэвисом ценности не уместились в одном музее — многое было подарено Национальному кафедральному собору в Вашингтоне. Недавно вашингтонский собор продал свою русскую коллекцию на публичном аукционе в Нью-Йорке. Ввиду ценности памятников, торговать было поручено главной мировой фирме — Сотби, обладающей солидной британской репутацией и более чем двухвековым опытом торговли шедеврами искусства. Каталог для аукциона составил эксперт фирмы Сотби Джеральд Хилл — тоже уникум: после скандала с продажей фальшивок из коллекции Ханна эксперты по иконам во всех аукционных фирмах в мире потеряли работу, и лишь нью-йоркский эксперт фирмы Сотби остался при своей старой должности — оценивать русские древности.

Добавим, что личность и коллекция Дэвиса послужили краеугольным камнем для капитального исследования проф. Роберта Вильямса «Русское искусство и американские деньги» — первого труда на эту тему.

### *ДЖОЗЕФ ДЭВИС С СУПРУГОЙ В МОСКВЕ*

Джозеф Дэвис оставил след в американской истории. Адвокат по профессии, он выиграл в 1925 г. судебное дело, защищая интересы компании Форда, и получил неслыханный по тем временам гонорар — миллион долларов. Тогда это был мировой рекорд.

Многолетний друг нескольких президентов США, он особенно отличился в предвыборной кампании Ф. Д. Рузвельта и в награду был назначен послом в СССР (1936). Почти тогда же Дэвис женился на одной из богатейших женщин мира — Марджори Пост, наследнице колоссальной «продуктовой империи». Этой женщине и ее деньгам впоследствии будет суждено сыграть роль в драме «Русское искусство на Западе», однако в настоящем исследовании мы ограничимся лишь деятельностью ее супруга.

Прибыв в Москву, Дэвисы на свои деньги оснастили старое здание американского посольства туалетами, холодильниками и прочим уютом. Кажется, с первого же дня пребывания «на посту» они нашли себе и долговременную утеху жизни — советские комиссионные магазины. Особенно увлекались скупкой ценностей жена и

дочь посла. Обмен американских долларов на советские рубли на берлинской черной бирже принял такой размах, что советские агенты мгновенно вздули курс рубля в пять раз. Но для миллиардерши и «в сто раз» было бы как с гуся вода. Досадовали лишь остальные, более бедные члены московского дипкорпуса.

Нет, все-таки нельзя избежать хоть упоминания о деятельности жены посла на ниве собирания русских культурных ценностей. Страсть Марджори Пост к русскому искусству не прекратилась ни после отбытия из Москвы, ни после развода с Дэвисом. До самой своей смерти по всему свету она выслеживала и, переплачивая, скупала все, что ей «Русью пахло» — особенно если с царскими двуглавыми орлами.

Надо отдать должное Марджори Пост: в лучших традициях американских богачей она завещала свои сокровища американскому народу, и ее поместье в центре Вашингтона стало музеем Хиллвуд — музеем русского искусства.

Паркетные полы инкрустированы двуглавыми орлами. Стены увешаны портретами царей. В витринах сияют драгоценнейшие безделушки работы Фаберже. Превосходная коллекция русского фарфора. Конечно, иконы.

В глубине диковинного сада стоит диковинное строение, названное в путеводителях непривычным американскому уху словом «Дача». Как вспоминала сама хозяйка, она пыталась по памяти скопировать впечатлившую ее дачу наркома Литвинова.

Но вернемся в Москву, в те предвоенные времена, когда Хиллвуда еще не существовало. Гости Москвы хранили скупаемое «дома» — т. е. в посольстве, вывозя чемоданами по частям при поездках из сталинских владений «на волю».

Ныне, задним числом, посольская деятельность Дж. Дэвиса вызывает дружный, негодующий смех современных историков. Капиталистический посол, в самом деле, чуть не влюбился в Сталина и его «великие преобразования». Иногда он, правда, чуть-чуть жалел, что «замечательные сталинские преобразования не идут рука об руку с христианством», но, тем не менее, уверенно и официально сообщал своему начальству, что у этих безбожников «вера в Бога сидит под внешней коммунистической кожей».

«В общем и целом» нынешняя американская наука заклеила Джозефа Дэвиса словами проф. Р. Виль-

ямса: «Дэвис лучше проявил себя в качестве коллекционера русского искусства, чем в качестве информатора о советских делах».

Придется нам подробнее разобраться в том, как проявил себя Дэвис там, где он, как мы слышим, «проявил себя лучше».

### *КАК ДЖОЗЕФ ДЭВИС СОБИРАЛ СВОЮ КОЛЛЕКЦИЮ*

Буквально с первого дня пребывания в Москве Дэвис с семейством начали интересоваться русским искусством, посещали музеи и антикварные магазины. Почти сразу же пришла идея собрать представительную коллекцию русского искусства для американского народа — о наживе американский посол-миллионер не помышлял: написал президенту Висконсинского университета, что все собранное будет подарком бывшего студента своей Альма Матер. Сообщил и советскому правительству об этом желании и даже просил помочь в комплектовании собрания.

Уезжая из СССР, этот дипломат совершил неслыханный поступок: сам предложил советскому правительству заплатить огромную таможенную пошлину за вывозимые ценности. Не пожелал воспользоваться старинной и втихомолку узаконенной привилегией дипломатов насчет «дипломатического багажа». Советское правительство было шокировано. Сам наркоминдел Литвинов уговаривал: вывози так, — но американец был неумолим. Пришлось принять от американского миллионера внушительную сумму. Кстати, проф. Вильямс вдоволь понасмехался над нежеланием Дэвиса «урвать положенное» — такова, вероятно, разница морали между сегодняшним профессором, «живущим на одну зарплату», и миллионером старой школы: «чужого не надо — сам свой миллион сделаю».

Посол Дэвис вел все свои антикварные дела открыто. Даже делился радостью очередного приобретения со своим антиподом — советским послом в США Уманским. Обсуждал покупки с Литвиновым. Спрашивал совета в Академии наук СССР. Даже ГПУ помогало: сам Дэвис заказывал приставленным к нему агентам поехать и купить приглянувшийся ему товар.

Когда в СССР вышел указ о более тщательной проверке багажа дипломатов и изъятия оттуда вывозимых художественных ценностей, весь дипкорпус был возмущен. Был составлен коллективный протест — из всех представителей западных демократий один Дэвис отказался подписать эту бумагу, заявив, что нелегальный вывоз ценностей — уголовное дело. Даже в том случае, когда ценности едут «на свободу».

Кажется, никто ни до, ни после Дэвиса не собирал так честно русских ценностей при Сталине. Но и Сталин никому из капиталистов никогда не помогал коллекционировать с такой непрерывной услужливой предупредительностью. Вот один случай:

Прибыв 28 февраля 1937 г. в Днепропетровск, американский посол, после положенных осмотров ясель, фабрик и «счастливой жизни», разыскал-таки антикварный магазин. Понравилась ему там картина. Сказал: покупаю, дарю в свой университет, заверните, принесите к моему поезду. Как записал Дэвис в дневнике, вечером к поезду пришел директор магазина в окружении, словами посла, «наших друзей из ГПУ». Эти-то «друзья» объяснили американцу, что директор комиссионки завысил цену и что, хуже того, картина, по определению ГПУ, не подлинная. Директору приказали вернуть американцу деньги. Растроганный Дэвис с благодарностью пишет в дневнике об этих, как он выражается, «ангелах-хранителях из ГПУ».

Роль ГПУ вообще уникальна в антикварных похождениях американца по России. К примеру, Дэвис мог даже «приказать» или «поручить» своему надсмотрщику поехать в Ленинград и купить там появившиеся в продаже фарфоровые тарелки и бюст Гудона. Гепеушник вернулся из командировки с несколькими тарелками: остальные оказались «невысокого качества», а бюст Гудона пожелал купить Эрмитаж.

Судя по удовлетворенным записям в дневнике, американский посол вполне доверял художественной экспертизе ГПУ. Однако совсем другое отношение у

него было к «родным» капиталистам. Когда Дэвису предложили картину Айвазовского в Финляндии, он поднял на ноги все американское посольство в Хельсинки, добиваясь тщательной музейной экспертизы. Не получив твердого заверения, что картина подлинная, Дэвис ее не купил, опасаясь капиталистического жульничества.

Однако доверие официального дипломата к официальным советским чиновникам вполне логично. К чести Дэвиса, у него никогда не было апломба «знатока», он не скрывал источников своих знаний, не скрывал советской официальной помощи. 15 октября 1937 г. он писал в ВОКС (Всесоюзное общество по культурным связям с заграницей):

«...Эта картина была одной из группы советских картин, приобретенных мною и принесенных в дар моей Альма Матер — Висконсинскому университету. Эта коллекция, перед тем как переехать в Висконсин, будет выставлена в Вашингтоне, а затем в Нью-Йорке... Вам, вероятно, интересно узнать, что я собирал эту коллекцию, чтобы представить в картинах все стороны советской жизни... Конечно, я не мог бы собрать свою коллекцию без помощи официальных лиц и художников. Я всегда буду помнить об этом с благодарностью».

Итак, вся собирательная история Дэвиса ясна как на ладони.

Почему же иконы оказались малоценными или поддельными?

Как это произошло? Несмотря на помощь ГПУ или — с помощью ГПУ?

### *ЧТО КУПИЛ АМЕРИКАНСКИЙ ПОСОЛ В СССР*

Джозеф Дэвис покупал в советских комиссионных магазинах не в одиночку. Скупала его жена, его дочь от первого брака. Мне неизвестно, как эти, впоследствии распавшиеся семьи поделили свои коллекции.

Похоже, что коллекция, находящаяся в Висконсинском университете, с самого начала собиралась как особая группа памят-

ников, предназначенная «для американского народа». В нее входят две группы произведений: живопись и иконы.

Те русские вещи, что Дэвис в 1955 г. подарил кафедральному собору в Вашингтоне, по-видимому, куплены вне России. Большую часть этих сомнительных шедевров продал Дэвису всемирно известный нью-йоркский магазин «Старая Россия» («A la Vieille Russie»).

Я приехал в Мэдисон 1 июля 1980 г., спустя два с половиной месяца после «аукциона века», когда фирма Кристи продала знаменитые фальшивки из коллекции Ханна. Друзья моих друзей рекомендовали меня директору музея Карлтону Оверленду.

Директор охотно показал мне свои сокровища. Сам снимал со стен иконы, я же фотографировал и рылся в архивах. Но, конечно, американский музейный работник весьма скептически слушал мои разочарованные вздохи и замечания.

Коллекцию, подаренную вашингтонскому собору, я видел в момент ее продажи на аукционе фирмы Сотби в Нью-Йорке 15 декабря 1981 г. Здесь уже пришлось фотографировать тайком.

В том же музее Висконсинского университета находится и коллекция русской и советской живописи Дэвиса. Как ни странно, ни одного портрета вождей — преобладают картины с цветочками, деревенскими гуляньями. Есть полотна «Осада Новгорода в XVI веке» и «Первомайское гулянье в Парке культуры и отдыха». Немножко про Красную армию да про колхозников и рабочих.

Сам Дэвис говорил о своих картинах:

«Я всегда интересовался больше сюжетом, рассказом... чем самой живописной техникой».

И в письме к губернатору штата Висконсин послал скромно пишет:

«Коллекция живописи, хотя и содержит некоторые прекрасные работы, в целом не очень выдающаяся с точки зрения художественного вкуса».

Действительно, лишь ничтожная часть 96 картин может претендовать на «художество». Большая часть —

неумелые копии, на грани самодеятельных попыток фабрично-заводских умельцев. Конечно, и поддельные Айвазовские есть, даже «с подписью». Впрочем, именно фальшивых айвазовских почему-то оказалось пруд-пруд на западном антикварном рынке.

Равнодушие Дэвиса к качеству проявилось и в усиленном заказывании копий с русских и советских картин. Иногда копировали студенты художественных училищ, иногда и сами живые советские классики срисовывали себя для вывоза в Америку.

Естественно, заказ и скупка копий заслужили смех американских профессоров, изучающих деятельность посла. Смех, конечно, несколько однобокий: следовало бы знать, что все мировые музеи копируют, когда оригиналы недоступны. Горе Дэвиса заключалось в том, что заказывал он найти копиистов «своим» гешефникам. А те, как водится, поручали эту ответственную работу лишь тем, кто отличался политической бдительностью и отсутствием родственных связей за границей. Так что и качество было соответственное.

Американский посол в далекой России с течением времени стал усваивать себе некий ореол «первооткрывателя русских талантов». Любопытны его комментарии к русским именам в американском каталоге. Например, о некоем Плеханове: «Молодой художник из Палеха. Рассматривается как имеющий большое будущее». О Петровичеве: «Недавно умер. Несмотря на то, что был почти неизвестен, очень высоко ценился в русских художественных кругах».

Стиль и интонации комментариев Дэвиса живо напоминают путевые записки средневековых посетителей «Индий» и других «дальних стран». Для уроженца Висконсина Россия взаправду может показаться экзотической страной. Глаза неподготовленного туриста воспалены необычностью впечатлений. Потому-то посол и не мог быть достойным «информатором» ни о советских делах, ни о русском искусстве.

Впрочем, остается загадкой, насколько Джозеф Дэвис был знаком с искусством любой страны, хотя бы собственной. Скорее всего, настоящая интеллигентность не входила в число его достоинств.

Профессор Вильямс вдоволь понасмехался над желанием Дэвиса любоваться живописью по студенческим копиям. Но никакого удивления у этого доктора наук не вызвала фраза посла, которой тот объясняет, почему он заказывал копии. Фраза, повторенная в каталоге Дэвиса ВОСЕМЬ раз: «Оригинал хранится в Третьяковской галерее, Москва. Советское правительство не разрешило вывезти оригинал из Советского Союза».

Любой интеллигент должен вздрогнуть от этого признания.

Осмелился бы посол великой или малюсенькой державы попросить «разрешения вывезти» приглянувшиеся ему вещицы в Лувре? Но вот в Москву является посол, посланец доброй воли от заокеанской державы, сам лично полный симпатий к русским. Университетски образованный человек. Посещает главный национальный музей и «тыкает пальцем»: вот эту и эту — прошу разрешить вывезти. И на эту выходку профессора-критики не реагируют.

Случай Дэвиса — не исключение. Когда слухи о том, что Сталин собирается продавать художественные ценности, разошлись среди мировых любителей прекрасного, Арманд Хаммер, известный миллионер и «американский друг Ленина», быстро сколотил компанию для их закупки. Лучший искусствовед того времени Бернارد Беренсон по каталогам составил список главных мировых шедевров из всех русских музеев. И Хаммер предложил ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ «за всё».

Советы ответили: «Вы что, нас за дурачков принимаете?» И правда, было ли в мировой истории, чтобы потенциальные покупатели, не спросив, что хозяин собирается продавать, составляли списочек самого лучшего? Мы ведь вспоминаем не об ограблении дикого африканского племени, а о попытке «сделать бизнес» с европейской страной, пусть и советизированной. Русские ученые того времени — искусствоведы с мировыми именами. А фармацевт Арманд Хаммер осмеливается предлагать свои оптовые цены на Рембрандтов и Рубенсов.

Кончилась та история по правилам цивилизованного мира. Продали Советы американцу Меллону совсем другие картины,

немного, и взяли за них СЕМЬ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ. Многие антиквары тогда считали, что Меллон переплатил. Но это и есть торговля взрослых людей, а не обмен на стеклярус с дикарями.

Так мы разобрались и в том, почему Дэвис, не сумев приобрести оригиналы, заказывал слегка похожие копии. Проф. Вильямс думает, что от некультурности. Но не это главное.

Американец ощущал себя в России, как в этнографической экспедиции по сбору материала о русском племени. Об ихних диких привязанностях и глупых верованиях. Вот и заказывал копии чужих «божков». Кто их делал: местный Рафаэль или маляр — с высоты высшей висконсинской цивилизации неважно.

Так и всучил Дэвис американскому народу фальшивое мнение о единообразии русских талантов и бездарностей.

Но слепота и предвзятость — еще не вакханалия. Вакханалия началась не с Дэвиса. Этнограф купил, упаковал, привез собранные им сувениры, безделушки, черепки и «приятные воспоминания». Подарил американской науке для разбирательства.

Началось все с элементарной вежливости, обмена любезностями. Губернатор штата Висконсин, принимавший дар Дэвиса, писал в своем послании:

«Художественное и историческое значение коллекции Джозефа Дэвиса имеет огромную важность не только для университета, но и для всего штата Висконсин».

Вслед за ним выступают титулованные ученые. Президент Висконсинского университета заявляет:

«Коллекция, собранная Дэвисом, не нуждается в проверке временем. Даже профан может понять ее исторический фундамент и ценность».

И вот вслед за генералом от науки все остальные «профаны» уже ничего не проверяли: они всё сразу «поняли».

Обратим внимание, что и сам Дэвис, привезя русские картины и русские иконы, по-разному оценил эти части своей коллекции. Картины он кое-какие в своей

жизни видывал, поэтому о собранных им картинах скромно пишет, что они не представляют высокой художественной ценности. Но слово «икона» он, несомненно, впервые узнал в своем «этнографическом путешествии». И в родном Висконсине сразу почувствовал себя знатоком православного иконописания. Простительно было бы ему кружить голову соотечественникам, уверяя, что привезенные иконы имеют мировое значение. Но он, еще находясь в СССР, пишет советскому послу в США Уманскому:

«Купил и вывожу коллекцию икон высочайшего качества, уникальную и не имеющую себе равных в мире».

Есть причины, по которым профаны думают, что все вывозимые из СССР иконы обязаны быть ценными.

Первая причина — политическая. Вслед за своими западными единомышленниками Дэвис был уверен, что безбожным большевикам иконы совсем ни к чему: придумывают комиссары разные способы, как от икон избавиться. Вот и постарались всучить американцу «самые религиозные» иконы, т. е. самые ценные и древние. Задумали отравить проклятых капиталистов, а сами остаться без «опиума» и без икон.

Вторая — «научная». Уже тогда началась научная мистификация всего русского. В западных университетах математически точно вычислили, что русская душа — сплошная достоевщина, перемежающаяся с всплесками распутинщины. Иконы же у русских — беспробудная мистика, эталон сверхсвятости. Что для русских свято, для заокеанских любителей трансформируется в «ценность». Пропагандируя русский мистицизм, сами цивилизованные ученые мистицизмом брезговали, в тонкости не вдавались, не исследовали, а ограничивались словоблудием. Пропаганда русского мистицизма закрывала пути к изучению подлинного русского искусства. Мистика ведь есть непостижимое!

Была примешана и «западная мистика». Запад ведь тоже христианский: раз «лик Христа» продается безбожниками, нечего придиричиво разглядывать — хватать надо, спасать надо.

Легко поддались профессора на шантаж христианской тематикой, сталинской безбожностью, «русской достоевщиной». Проф. Джеймс Биллингтон прямо в лозунговой форме выразил «мистическую суть России»: «ИКОНА И ТОПОР!»

Но все же с тех пор прошло почти полвека: спутники, телевидение, электроника... Рядовому человеку хочется верить, что «все науки» двинулись вперед. В том числе и изучение русских икон на Западе. И мне так из СССР чудилось: им-то, американским специалистам по русскому искусству, при их свободе, технике и свободомыслии, можно подняться до вершин познания. И вот я приехал в Америку. Познакомился с коллекцией икон Джозефа Дэвиса. Открываю прекрасно изданный, новейший научный каталог русских икон Висконсинского университета.

### *ВАКХАНАЛИЯ ПРОФЕССОРА ГАЛАВАРИСА*

В предисловии к каталогу проф. Галаварис пишет:

«Несколько лет назад я имел счастье быть приглашенным профессором факультета истории искусств Висконсинского университета в г. Мэдисон... Мои друзья таинственно поведали мне о сокровищах, которые сразу захватили мое воображение... Пришел день, когда директор (музея)... ввел меня в подпольное царство. Это было так, как будто я вошел в подземный склеп времен Древнего Рима и предстал перед потрясающими, чудесным образом сохранившимися картинами. Я сказал «картины», но на самом деле это была сама Святость, сиявшая в полутьме. Святостью были эти иконы, священные образа, панели-иконы, сквозь которое просвечивало Божественное... Лики на иконах были темные, загрязненные и пожухшие, некоторые потрескались, другие послужили пищей для червей. Но пронзительные глаза их были как живые. Я боялся притронуться к этим сокровищам: помню, как однажды на Востоке, в монастыре, монах велел не трогать святые иконы,

если твои руки не святы. Директор не спрашивал о святости моих рук... Что я говорил тогда ему, что он мне отвечал — не помню. Помню только слова о том, что эти меланхолические лики, которые продолжают приковывать наше внимание, некогда принадлежали человеку, который научился их любить, — Джозефу Дэвису».

Дух захватывает, и святотатством выглядит любая попытка критики. Но вспомним, что живем мы в XX веке, что зарплату этим профессорам-мистикам платят в современных денежках и что претендуют они на научные почести, а не на восторженный звон бубенчиков на колпаке юродивого. Вспомним, что, в отличие от захваченного воображением Галавариса, мы знаем, как Джозеф Дэвис «учился любить» русскую икону и кто были его учителя из ГПУ.

Кто такой проф. Галаварис? Во время составления этой книги он занимал пост профессора истории искусств в одном из крупнейших канадских университетов Мак-Гилл. Он автор многих книг и статей по византийскому искусству и иконописи. Немудрено, что ему поручили составить каталог выдающейся коллекции. Однако еще в предисловии он пишет, что, когда иконы были перенесены в светлое помещение и реставрированы, что-то от Святости они утратили.

О результатах своего исследования проф. Галаварис пишет:

«...нет ни одной иконы, похожей на другие. Ввиду уникальности, каждая икона в коллекции требует специального рассмотрения. Каждая икона вносит вклад в наше понимание Святости».

Это в предисловии. А что в книге? Есть глава о красоте икон, есть обширная библиография. Есть вызывающая недоумение глава «Богословие икон и популярная поэзия». Здесь приведено множество цитат из русских поэтов и прозаиков: тут и Ахматова, и Хлебников, и даже сверхсоветский Багрицкий — лишь бы было что-нибудь «иконное». Конечно, нельзя без Достоевского, у которого профессор нашел строки о том, что Федор Карамазов никогда грошовой свечки

не поставил перед образом. Нашлось что-то подходящее и у Блока.

Но с точки зрения экспертизы икон как художественно-исторических памятников, кажется, единственное высказывание «по существу» — признание Багрицкого о любви к древней копоту на темных иконах. И вот оказывается, что во всей книге американского профессора строчки Багрицкого и есть единственное упоминание о каких-либо материально-технических характеристиках икон как музейного памятника!

Единственная конкретная деталь «русского»: на одной иконе, отмечает Галаварис, носы у персонажей уродливо длинные — «типичные лица русских крестьян»!

Раз никакой экспертизы в каталоге нет, нет даже лексики музейной атрибуции — научно критиковать, собственно говоря, нечего. Придется заняться критикой иного толка.

Профессор ни разу не говорит, что его каталог — не первое описание коллекции икон Джозефа Дэвиса. Это антинаучное умалчивание о каталоге, составленном самим Дэвисом в 1938 г., тем более странно, что почти все «атрибуции» Галавариса расходятся с дэвисовскими.

Пример. Об иконе «Знамение» (каталог Галавариса, № 15), сказано: «Четыре серафима символизируют значительность... Композиция построена на больших цветовых плоскостях и ритмических деталях с декоративным эффектом, что делает эту икону одной из наиболее прекрасных в коллекции... Икона — выдающаяся по своей богословской значительности и колористическому эффекту. Изменчивые цвета серафимов увеличивают динамизм всей композиции...» Попросту говоря: центральное изображение Знамения Богоматери прекрасно гармонирует с серафимами по четырем углам — более того, серафимы даже увеличивают динамизм композиции.

Однако в каталоге 1938 г. сказано нечто совсем иное: это не икона, центральное изображение выпилено из какой-то другой большой иконы, серафимы по углам приставлены «просто так», от чего-то другого. Оказывается, предмет, который в 1938 г. был не самостоятельной иконой, а винегретом, через 35 лет стал одной из лучших икон в коллекции и приобрел богословскую значительность. «Ишь ты, как развилась техника экспертизы!» — воскликнет простой человек.

Кто же прав? Ничего не понимавший в иконах Дэвис или профессор искусствоведения Галаварис?

Разгадка напечатана черным по белому на английском языке в дэвисовском каталоге. Как честный и аккуратный человек, Дэвис поставил на титульном листе каталога: «Описания и комментарий — в языке русских экспертов, которые помогли комплектованию коллекции». Итак, первый каталог Дэвиса — пересказ мнений русских продавцов. Эксперты в России еще тогда реставрировали, изучили, анализировали предметы и предупредили покупателя об истинной ценности. Проф. Галаварис предпочел умолчать об экспертизе русских ученых и не противопоставить ей ни слова собственных аргументов.

### *ДРУГИЕ СТРАННЫЕ ЭКСПЕРТЫ*

Проф. Галаварис благодарит за помощь Гейнца Скробуху (он же — Г. Герхард, директор единственного музея иконописи на Западе в Реклингхаузене в Западной Германии; кстати, это единственный музей, который не заказал мою книгу «Иконы и фальшивки» — первую существующую книгу по экспертизе икон):

«Г-н Скробуха... любезно обсуждал со мной материал, сделал все возможное для облегчения моей работы в его музее и читал рукопись этого каталога. Он улучшил каталог весьма важными советами...»

Интересно, что проф. Галаварис полностью пренебрегает мнением русских ученых, которые изучали иконы, держа их в руках, но благодарит Г. Скробуху, который, судя по всему, всего лишь читал рукопись Галавариса и видел фотографии. Еще два десятка имен западных ученых лиц, перечисленных в предисловии к каталогу и способствовавших превращению русских обрезков в самые прекрасные и богословски значительные иконы, — опустим.

Советскую и русскую живопись из коллекции Дэвиса изучал проф. Джон Болт. Статья Дж. Болта «Советские картины в коллекции Джозефа Дэвиса» вполне «идеологически выдержанна» (по-западному): профессор критикует вдоль и поперек весь сталинский соцреализм. И только одного он не заметил: что коллекция — не живопись, а «сувенир» о живописи.

Интересовался проф. Болт и иконами Дэвиса. В архиве музея сохранилось его письмо с просьбой прислать фотографии икон для предполагающейся публикации статьи в журнале «Мир антиквариата».

Перед аукционом фальшивок из коллекции Ханна проф. Болт читал лекцию в фирме Кристи и даже включил этот факт в перечень достижений своего института. В рекламной брошюрке об институте сказано: «У нас есть специалисты по русской иконе». Доклад об иконах делал проф. Болт и в музее Метрополитен. Во время моего суда с Кристи имя Болта прозвучало примерно так: «Кто такой Тетерятников — а вот о красоте этих икон читает лекции заслуженный профессор Болт». Правда, когда Болту сообщили, что его имя вот-вот всплывет как имя эксперта-защитника Кристи, он поспешил написать письмо о том, что он отнюдь не специалист по иконам и никакой экспертизы икон Ханна не делал: «Прочитал доклад — и всё».

Коллекция икон Висконсинского университета была отмечена вниманием настоящего классика мирового искусствознания — Эрвина Панофски. В архиве музея я ознакомился с перепиской Э. Панофски с музеем и с другим выдающимся ученым — Куртом Вейцманом.

Панофски посетил Висконсин в 1955 г. и заинтересовался греческим триптихом из собрания Дэвиса, атрибутированного XV веком. По его мнению, факты говорят, что триптих был написан в 1534—1549 гг., но стилистически икона выглядит еще более поздней.

Панофски показал фотографию иконы К. Вейцману, крупнейшему в наши дни исследователю византийского искусства. Вейцман заметил, что надпись на книге, которую держит Христос, — совсем поздняя и что, по его мнению, икона не греческая, а русская. В заключительном письме музею оба эксперта настаивают, что триптих — русский и не мог быть сделан ранее эпохи Папы Павла III.

Джордж Галаварис упомянул об этом имени, при этом небрежно заметил, что надпись, вероятно, была сделана уже русскими, однако никаких своих аргументов о подлинности памятника не привел. И никакой научной экспертизы, разумеется, тоже не делал — лишь восхищался.

Я сам тоже не провел технической экспертизы триптиха, однако мне вспомнились некоторые факты из мировой истории иконописи.

Во-первых, почему этот якобы бесценный памятник русские ученые продают американцу, которому вообще было безразлично, что покупать? Почему они продают его как памятник XV века, когда на нем явственно стоит указание, что он сделан во 2-й пол. XVI-го? Не намекнули ли русские эксперты этой абсурдностью на некую странность памятника?

Проф. Галаварис, возможно, не осведомлен о том, что и греческие иконы серьезно изучались русскими учеными уже в XIX веке. Более того, русским были известны и подделки греческих икон. Греческие подделки описаны в таком классическом труде, как «Русская икона» Н. П. Кондакова. А эта книга переведена почти на все европейские языки. И в ней написано, что в конце XIX века на антикварном рынке появилось множество поддельных греческих триптихов, якобы сделанных в Венеции. Почти всегда эти иконы содержали что-либо «историческое», стандартно указывающее на вторую половину XVI века.

Греческий триптих коллекции Дэвиса почти идеально укладывается в серию описанных Кондаковым подделок. Сам Галаварис, и тот предположил, что икона не греческой, а венецианской работы. Неудивительно, что известные ученые Э. Панофски и К. Вейцман были в недоумении: русская икона или греческая, странные надписи и прочее. Следовательно, памятник содержит достаточное число необъяснимых странностей. Однако все это не оказало на Галавариса ровно никакого влияния, а книгу Кондакова он, судя по всему, вообще не читал.

Так мало-помалу росла слава и вес коллекции Джозефа Дэвиса. В 1938 г. сам Дэвис писал, например, о своем греческом триптихе как о «бесценном и неповторимом». Но по мере того, как все больше и больше американских профессоров включались в иконную вакханалию, не устоял перед ними и Дэвис. В 1954 г. о том же триптихе он пишет:

«Очевидная истина, что это, возможно, более ценный предмет, чем любое произведение этого типа во всем русском искусстве».

Понимаете, что написано: **ЛУЧШЕ ВСЕГО РУССКОГО ИСКУССТВА** — этот поддельный греческий триптих!

Одним из последних исследователей коллекции Дэвиса стал проф. Роберт Вильямс. В своей книге «Русское искусство и американские деньги», как я уже отметил, он всюду высмеивает несчастного американского посла — за всё, кроме собирания культурных ценностей. По Вильямсу, Дэвис был раздвоенной личностью: неуклюжий политик и отличный коллекционер. И не догадывается профессор, что Дэвис был «цельной натурой»: фальшивая информация и фальшивое искусство — вот итог его жизненной деятельности.

Сам проф. Вильямс, по-видимому, тоже «раздвоен». На стр. 248 он пишет, что Дэвис купил иконы в Третьяковской галерее, а на последней странице книги, подводя итоги, — что «великие коллекции русского национального искусства и Третьяковская галерея остались на самом деле нетронутыми». Так откуда же Дэвис взял иконы?

Впрочем, стоит ли здесь предъявлять претензии с точки зрения здравого смысла, если на протяжении всей книги проф. Вильямс одержим стремлением разоблачить гнусные намерения русских. Недаром подзаголовок книги — «1900—1940», т. е., по мнению Вильямса, еще царский режим стремился высосать американские деньги в обмен на русские краски.

«Раздвоение» продолжается и в статье проф. Вильямса «Тихая торговля: русское искусство и американские деньги», написанной уже после книги. На одной и той же странице (стр. 164) он пишет:

«Пытаясь продать произведения искусства за границу, императорское русское правительство не особенно преуспело» — и: «Лучшие картины часто выставлялись только временно, не для продажи». А пишет он, между прочим, о показе картин русских художников на Всемирной выставке 1904 г. в Сент-Луисе. Странно, что профессор не знает такой общеизвестной вещи, что любое правительство, в том числе и американское, всегда ищет случая выставить свое национальное искусство на всемирное обозрение, особенно на Всемирные выставки.

Вероятно, разгадка двойственного подхода профессора к акциям русского и других правительств состоит в том, что, по мнению профессора, русские мотивируют свое желание выставиться совсем иными соображениями: русские-де делали это, чтобы «умиротворить американскую враждебность» (в 1904 году!), они-де, русские, сделали «искусство силою детанта задолго до того, как это слово стало модным».

Употребив современное словечко «детант», профессор обнаружил, что рассматривает и пересматривает историю с точки зрения потребностей «идеологической борьбы», по-сталински.

Ну, а если иконы оказались фальшивыми — что тогда? Тоже «для детанта»?

От книги Вильямса пошли круги по воде. Рецензии на нее публиковались под такими агитационными заголовками, как «Советская связь — искусство тоннами» («Уолл-стрит джорнел»). А в «Крисчен сайенс монитор» в 1981 г. появилась статья о теперешней советской торговле иконами. Автор отмечает, что ничего ценного большевики не продают, — в качестве же иллюстрации помещена репродукция знаменитейшей иконы XIII века из Третьяковской галереи. Так и дрессируется западный зритель: русские иконы все без разницы.

Самовнушение о безличности всего «иконного» и предвзятость в оценке русских событий воспрепятствовали Вильямсу сделать действительно важное открытие относительно советской торговли искусствами. Аккуратно переписав массу исторических свидетельств, профессор оказался не в состоянии их научно сопоставить

и трезво оценить. И не заметил одной важнейшей фразы Дэвиса, ставящей всю эту историю с головы на ноги!

### *ОТЧЕГО СМУЩАЛИСЬ РУССКИЕ ЭКСПЕРТЫ?*

Как помнится, Джозеф Дэвис почти все скупал через комиссионные магазины. Кроме икон. И вдруг ГПУ само предложило американцу «разживиться иконами».

Связь с ГПУ у посла происходила через приставленного к нему советского чиновника. Его он и посылал в Ленинград за покупками. Этот же сотрудник обычно помогал и с экспертизой, и с заказами копий. Имя его не может не вызвать улыбки у читателей советской литературы: Бендер. Но не Остап — Филипп.

Дэвис вспоминает первую встречу со своими иконами:

«После моего возвращения в Россию летом 1937 года я решил приобрести коллекцию примитивов — икон — вдобавок к остальной своей коллекции. При посредстве советского правительства я приобрел около двадцати икон. Их выбирали самые уважаемые в России эксперты, сотрудничавшие с Третьяковской галереей. Эти иконы были выбраны из музейных вещей: ранее они экспонировались в Кремле, Третьяковке и других музеях Советского Союза. Мне повезло приобрести их у советского правительства».

Зная советские порядки, доподлинно веришь только тому, что все, что ни делал посол в СССР, происходило при посредстве советского правительства. Остальные восторги были слишком доверчиво приняты американскими профессорами.

Иконы из Кремля, Третьяковки и других музеев? Кто их там видел?

Уважаемые советские эксперты. Дэвис не сообщает их имен, но зато отметил, как они себя вели в присутствии покупателя-американца.

Роберт Вильямс, к сожалению, не сообщая источника, пишет в своей книге:

«Несколько смущенных музейных экспертов по искусству в октябре 1937 г. помогали Дэвису выбрать двадцать три иконы, взятые из Третьяковской галереи, Чудова монастыря вне Москвы и Печерской Лавры возле Киева».

Отметим ущербность топографических познаний профессора русской истории: Чудов монастырь находится в самом сердце Москвы, внутри Кремля, а Печерская Лавра – тоже не «возле» Киева, а в черте города.

**Гораздо важнее осмыслить: отчего были смущены русские эксперты?**

Проф. Вильямс не остановился на этом: он, вероятно, тривиально думал, что смущаются русские эксперты, оттого что вынуждены отдавать американцу национально-православное достояние. Но если это так, то они вели себя как герои: под бдительным глазом ГПУ они «дают знать» американскому послу свое недовольство политикой партии и правительства.

Кроме сомнительности такого «героизма», есть и еще одно возражение.

Дэвис увидел в СССР много разных событий. Например, он присутствовал на процессе «право-троцкистского блока». Вопреки всеобщему мнению западных дипломатов в Москве, Дэвис поверил в справедливость сталинских обвинений. Как он сообщал в Вашингтон, «Сталин просто выстрелил первым». Основываясь на личных наблюдениях, Дэвис отметил, что все подсудимые «свежевыбриты», отвечают на вопросы уверенно, уверенно признаются в преступлениях и уличают друг друга. Даже о Вышинском американский посол, сам юрист, писал: прокурор говорил спокойно, деловито, без выкриков.

За это отношение к сталинским процессам, в основном, и ругают сегодняшние профессора американского посла. Чуть ли не дурачком называют.

Перед нами очередной парадокс американской профессорской мысли.

Все, что говорит Дэвис насчет икон, – воспринимается с доверием.

Все, что говорит Дэвис насчет остального, – вызывает насмешки.

Что же, как мне кажется, произошло на самом деле?

**Я хладнокровно предполагаю, что все «смущение» русских экспертов было лишь вырвавшимся наружу издевательством.**

Посла с его женой-миллиардершей «разыгрывали», втирали ему очки и, почти не таясь, по-свойски перемигивались с присутствующими гепеушниками. Да и настоящие ли музейщики были те эксперты? Что, Дэвис у них паспорта проверял?

А вдруг это были обыкновенные «искусствоведы в штатском»?

Не странно ли, что не родилось в сталинскую эпоху терминов вроде «шахтер в штатском» или «композитор в штатском». Зато «искусствоведы в штатском» числом не уступали пионерам и комсомольцам. Не есть ли этот «приоритет» искусствоведения над другими профессиями отголоском, косвенным свидетельством того, что я нащупал пуповину для развязывания всей истории с фальшивыми русскими иконами в западных коллекциях?

Итак, что у нас получается? Иконы оказались фальшивыми, а продавцы-эксперты – смущались. Вывод: знали, что делали. Сознательно продавали фальшивки.

Выходит, что Дэвис был цельной личностью: обманут во всем – от политики до икон. Обмануты или обманулись и американские профессора. Не услышать смысла фразы о «смущении» можно только в разгуле вакханалии.

Остается задать последний вопрос: кто выиграл, кто проиграл в этой истории? Русские эксперты оставили себе шедевры, а фальшивки пошли к невеждам. Тривиальная коммерческая история.

На том бы все и остановилось, если бы вслед за сталинской экспертизой и торговлей на сцене не появились персонажи, не предусмотренные ни всеведением ГПУ, ни сталинским гением.

### *ПСЕВДОИКОНЫ В РУКАХ ПСЕВДОЭКСПЕРТОВ*

Для начала, конечно, полагается ругнуть Сталина – за то, что затеял продажу национального достояния за

границу. Если верить проф. Вильямсу, это сталинское злодеяние не имеет прецедента в мировой истории. Не хотелось бы защищать Сталина, но следует восстановить историческую истину.

Было уже такое в мировой истории. Такие же, как Сталин, и продавали. Французские якобинцы разорили Францию за считанные годы. Можно было бы сказать, что «сталинский вклад» в мировую культуру состоит в том, что продажей фальшивок за рубеж советское правительство дискредитировало русскую национальную историю. Но коммунисты никогда и не претендовали на то, что их правопорядок – «русский». Это заокеанские профессора упорно спихивают коммунизм в русскую национальную берлогу.

Да и с фальшивками были прецеденты. Например, в Китае во время японской оккупации правительство санкционировало дарить японцам подделки под видом «национальных ценностей». И в Европе, когда наполеоновские орды разбежались после поражения, итальянцы наладили массовое производство фальшивок, чтобы продавать быстро появившимся в этих краях англичанам. Продавали под видом «брошенного при бегстве французами».

Так что для выяснения, «кто виноват», одним «разоблачением культа личности Сталина» не обойтись.

Торговец Сталин и покупатель Дэвис были единственными разумными и трезвыми персонажами в этой мистификации. Что сделал Джозеф Дэвис? Купил, вывез и подарил в научное учреждение: пусть, мол, профессора разбираются соответственно их дипломам и должностям. И Сталин – продал, получил денежки и подумал: их-то профессора с американской техникой сами разберутся. Что в музей поместят, а что и в утиль выкинут как недоразумение. Так почему же не разобрались?

Есть, мне кажется, психология «двойного профессорства». Русские и нерусские события оцениваются разными мерками. Привези американец из Франции что-то художественное – и его приобретение будут штудировать музейные специалисты, техники-аналитики. А вот русской иконой «занялись» историки, литературоведы и прочие, склонные к «мистике».

Курызев ведь, что историк – а не музейный эксперт – Д. Биллингтон осмелился создать аксиому о том, что к русской иконе «невозможно применить точную технику датировки и классификации, известной западным историкам искусств». Да зачем же он западных исследователей дискредитирует? Настоящая наука легко разберется в старом или новом дереве, в красках древних или синтетических. Разобрались же в иконах Ханна – правда, после моего разоблачения.

Профаны же спрашивают совета хоть у Багрицкого, точную науку – экспертизу – заменяют литературщиной.

Как в тумане, смотрел Дж. Галаварис на первый каталог Дэвиса и не заметил, что заключительная глава специально для него написана. Называется она «Заметки об иконах. Почему до нас дошло так мало икон в первоначальном состоянии».

Оказывается, кроме «смущения», было в истории продажи икон Джозефу Дэвису и вполне недвусмысленное предупреждение, которое честный Дэвис аккуратно записал для будущих профессоров. Русские музейщики заранее извинялись перед американскими коллегами за восторги иноземного посла.

Суть этого предупреждения в том, что изучение икон – дело серьезное и равноценное любой научной деятельности. Что для русских музеев качество и состояние памятника древности определяется по всемирным музейным требованиям. Что если иконы Дэвису проданы, то потому, что они не иконы, не художественные памятники «в первоначальном состоянии» и, следовательно, недостойны музейного хранения в любой части света, включая Америку.

Было сказано, конечно, и несколько слов для завуалирования: дескать, в России зима – морозная, а лето – жаркое, вот иконы и трескаются. Но, сверх этого, объ-

яснили – и это черным по белому записано в каталоге, что «иногда иконы доходят до нас» ...«без головы», или «одна голова», или просто ничего, одна доска. В этих случаях «кто-то» остальное дорисовывает, или склеивает, или заново выдумывает, иногда и несусветное.

Все это «дорисованное» мы и видим на иконах коллекции Дэвиса, вплоть до несусветной иконы Знамения.

Прочитав это, начинаешь понимать «смущение» экспертов. Ведь этот важный господин, с женой-миллиардершей, при его страсти к художеству и при возможностях рынка, мог бы второй Лувр построить! И вместо этого американец влюбился в обмылки от русской цивилизации.

Культура всегда смущается от присутствия бескультурия.

\*                      \*

\*                      \*

Какой эпилог придумать нашей истории? Может, отделаться шуткой, а то критику антинаучности примут за «антиамериканские настроения» или «традиционную русскую враждебность»?

Из книги в книгу переписывают профессора слова, якобы сказанные Микояном Хаммеру в Москве в 1929 году:

«Вы можете покупать сегодня картины в России. Нас не беспокоит, что они некоторое время побудут у вас. Вот когда мы сделаем революцию и у вас в стране – заберем всё обратно».

Вот оно, профессорское упование: Микоян изволил пошутить, а они всерьез ждали советского наступления на Америку как свидетельства подлинности икон. Отчаянная, мол, русская мистика за «родными» иконами готова с топором наперевес – хоть на край света, хоть через океан!

Становится очевидным, что ошибки в атрибуции икон – не случайный промах западных специалистов по России. Не техническая ошибка, а заблуждение, результат предвзятых эмоций, возникающих при прикосновении ко всему русскому. А эмоции в научной деятельности, как показывает история, превращают профессоров в агитаторов.

Агитация ничему не учит, кроме ненависти. «У вас – музыка толстых!» – «А у вас иконы топорные и всякому дураку понятные!» Так и уравнились профессора свободных демократий с платными и подневольными пропагандистами режимов.

Мировая культура и подлинная наука к нашей истории не имеют отношения. История же этой вакханалии – обыкновенный звон шаманских бубенчиков под развесистой клюквой.

### БИБЛИОГРАФИЯ

Основные источники по деятельности и коллекции Джозефа Дэвиса – следующие публикации и архивы:

1. I. Joseph E. Davies. Mission to Moscow. Simon & Shuster, N. Y., 1941.

Книга «Миссия в Москву» написана в форме собрания материалов день за днем с 25 августа 1936 по декабрь 1941 г. В книгу входят специальные доклады посла Государственному Департаменту, официальная и частная переписка, дневниковые записи и официальные журналы американского посольства в СССР.

2. Архив Дж. Дэвиса в Отделе рукописей Библиотеки Конгресса США. (Library of Congress, Manuscript Division, Joseph E. Davies Papers).

Официальные донесения правительству, письма должностным лицам и частная переписка, связанная с дипломатической работой. Письма посла к советским должностным лицам в Москве. Список приобретенных Дэвисом русских икон.

3. Архив Дж. Дэвиса в городском архиве г. Мэдисон, штат Висконсин.

Документы, относящиеся к происхождению Дэвиса из близлежащего городка Уотертаун. Его бумаги, касающиеся учебы в Висконсинском университете. Бумаги и переписка, относящиеся к передаче его коллекции университету. Статьи и вырезки из газет, посвя-

щенные акту дарения в 1938 г., каталоги и статьи о самой коллекции.

4. Архив Дж. Дэвиса – предметная картотека музея Эльвегеймского художественного центра Висконсинского университета.

Бумаги Дэвиса, связанные с передачей коллекции в университет. Письма Дэвиса в университет с замечаниями о хранении коллекции. Переписка разных ученых с музеем по поводу изучения коллекции Дэвиса. Реставрационные паспорта на иконы. Фотографии икон до и после реставрации. В архив перенесены все этикетки и наклейки с икон коллекции.

5. Catalogue of the Joseph E. Davies collection of Russian painting and icons presented to the University of Wisconsin. 1938.

Первый каталог коллекции Дэвиса, составленный в 1938 г. при передаче коллекции в университет. Автор каталога не указан, но, вероятнее всего, им был сам Дэвис. На титульном листе каталога подзаголовок: «Discriptions and comments in the language of the Russian art experts who aided in assembling the collection». В каталоге перечислены 96 картин русских и советских художников и 22 иконы.

6. George Galavaris. Icons from the Elvehjem Art Center. The Elvehjem Art Center, Univ. of Wisconsin – Madison, 1973.

Джордж Галаварис. Иконы из Эльвегеймского художественного центра. Каталог включает 22 иконы.

г. Владимиру Максимова,  
Главному редактору  
журнала «Континент»

В связи с десятилетним юбилеем «Континента» мы хотим от всей души поздравить сотрудников редакции во главе с Владимиром Максимовым, которым ценой самоотверженных усилий удалось в исключительно трудных условиях эмиграции создать журнал, ставший средоточием свободной российской литературы и общественной мысли. Мы желаем «Континенту» многих лет плодотворной деятельности на благо российской словесности, во имя будущей свободной России.

*Магазин и издательство  
«РУССИКА»*

# Литература и время

Адам М и х н и к

## ПУШКИН И РУССКИЕ ГЛАЗАМИ ПОЛЬСКОГО ПИСАТЕЛЯ

Виктор Ворошильский преподнес нам королевский подарок – книгу «Кто убил Пушкина», биографию самого знаменитого русского поэта, биографию современную, написанную с точки зрения сегодняшнего дня и Польши. Для многих – как ни парадоксально – это будет первая встреча с великим поэтом, отвращение к которому привила школьная зубрежка; и, во всяком случае, для каждого это станет новым открытием Пушкина.

Книга Ворошильского написана десять лет тому назад. Сначала издательство потребовало переменить название. Друзья автора считали, что такое странное требование вызвано уверенностью издателя в том, что Пушкина убило... КГБ. Но книга тогда не увидела света. «Нецензурными» оказались как Пушкин, так и Ворошильский. Выйди книга тогда – она оказалась бы прекрасным историческим повествованием. Сегодня же эта книга поразительно современна – пощечина автора нынешним доносчикам, цензорам и сыщикам.

Эту книгу читаешь, как детективный роман, хотя она соединяет содержательное повествование об увлекательных событиях с весомым уроком прочтения пуш–

---

Статья из подпольного журнала «Критика», 1983, №16-17. Написана в следственной тюрьме. Передана в «Континент» согласно желанию автора. За границей публикуется в парижском журнале «Зэшиты Литерацке», которому мы передали копию текста. (В оригинале называется «Пушкин и русские».)

кинской поэзии. Так именно и нужно писать о жизни великих писателей, но так великолепно, как Ворошильский, немногие способны написать.

Любая биография, чтобы не превратиться попросту в скучную опись хронологических событий, должна строиться вокруг каких-то избранных путеводных нитей. В этом случае выбор подчеркнут в самом заглавии: «Кто убил Пушкина». Ответу на этот вопрос подчинено все целое.

Автор подверг биографию своего героя специфическому дроблению по темам. Отдельные главы книги – не просто рассказы об очередных этапах биографии Пушкина. «Происхождение», «Учителя», «Царское Село», «Движение», «Клетка» – это еще и описания цепочек событий, которые формировали психологию поэта в течение всей жизни. Хронологический порядок подчинен порядку тематическому. Такая структура делает книгу очень ясной и необыкновенно интересной; том более чем в 500 страниц читается одним духом. А когда кончаешь, жаль расставаться с Пушкиным. И хотелось бы знать больше: к примеру, о «Гавриилиаде» или о том последнем периоде, когда друг повешенных декабристов являлся в николаевские салоны в мундире камер-юнкера...

Пожалуй, никто другой не был столь предназначен для написания книги о Пушкине, как Виктор Ворошильский. Ежи Путрамент в каком-то месте своих воспоминаний «Полвека» упоминает о том, как в самом начале 50-х годов он послал учиться в Москву совсем молодого поэта, который своей идеологической принципиальностью доставлял лишние хлопоты партийным матадорам от литературы. Учеба в Москве должна была умерить пыл «молодого разгневанного». Путрамент с огорчением отмечает, что результат превзошел всякие ожидания. После нескольких лет учебы из Москвы вернулся молодой поэт, столь же принципиальный и доставлявший куда бóльшие хлопоты. Путрамент часто лжет в

своих воспоминаниях – иногда просто затем, чтобы не разучиться, – однако в описании этого происшествия его огорчение вполне искренно. В Москву отправился ревностный в своей узкой идеологической вере адепт военного коммунизма – из Москвы вернулся последовательный и пронизательный критик тоталитарных диктатур. Вернулся умудренный человек, прекрасный знаток русской литературы и российской действительности. История выкинула коленце: быть может, именно Путраменту мы обязаны русской темой в творчестве Виктора Ворошильского. Хотя целью Путрамента наверняка не было заслужить нашу благодарность.

Русская линия – я в этом убежден – самое плодотворное в писательской деятельности Ворошильского. Россия – это его великая тема. И Россия – подлинная Россия – имеет действительные основания быть ему благодарной. Мы же благодарны ему за то, что он рассказывает нам об этой подлинной России. Он занимается этим упорно, в течение многих лет и – внимание! – без всяких комплексов, что в нашей словесности не так уж часто.

Россия возвращается в стихах Ворошильского и в его поэтических переводах, в статьях и прозе. Стихотворение об Осипе и Надежде Мандельштам, воспоминание о встрече с Борисом Пастернаком, фельетон о Горьком, переводы из Айги или Юнны Мориц... Но самое существенное – это цикл книг о русских писателях: о Салтыкове-Щедрине, Маяковском, Есенине. И вот теперь Пушкин. Эти книги складываются в некий целостный образ русской литературы и российской действительности, образ – повторим, – нарисованный поляком без «русского комплекса», проявляющегося либо в официальном низкопоклонстве, либо в тайно лелеемой ненависти. Немногие поляки способны сегодня так писать о России: Чапский, Герлинг-Грудзинский, Пшибыльский, Валицкий, Полляк, Дравич, может, еще

несколько\*... А притом Россия – одна из главных польских тем! Незнание России делало нас беззащитными и неумными и может так же влиять и в дальнейшем.

Россия Ворошильского – это Россия, увиденная польскими глазами, или, точнее, глазами поляка, который не раз оказывался в пределах достижимости русского кнута и не раз искал духовную силу в сочинениях избиваемых кнутом русских. Об этом выразительно свидетельствует краткий очерк о Солженицыне. Если прибавить, что этот поляк – поэт, что он познал и барскую любовь и барский гнев, что годами он оставался на самом краешке официальной жизни и, наконец, переступил порог «неофициальности»; что сей польский поэт хорошо узнал ту специфическую литературную жизнь угнетенных обществ, которая определяется не столько стихом, сколько доносом, то – повторим – никто более его не был предназначен Музой, чтобы стать биографом Пушкина.

Литературная жизнь России – это постоянный конфликт стиха с доносом и поэта с сыщиком. История великой русской литературы – это история сочинений, конфискованных или искалеченных цензорским карандашом, история писателей замученных или нравственно сломленных, арестованных или посаженных в сумасшедший дом, убитых или покончивших с собой. Духовная история России – это история людей в клетке. Я не знаю книги, которая была бы столь зримым рассказом об этой клетке, как книга Виктора Ворошильского. Один из самых популярных жанров в клетке – донос. Во-

---

\* Рышард Шибыльский – литературовед, автор книг о Достоевском и Мандельштаме; Анджей Валицкий – один из крупнейших специалистов в области русской общественно-философской мысли, в частности, славянофильства и русской религиозной философии; Северин Полляк – один из старейших переводчиков русской поэзии. Остальных упомянутых Михником читателю «Континента» представлять не приходится. Из числа неназванных прибавим еще хотя бы Станислава Баранчака и Войцеха Карпинского. – П е р.

рошильский широко знакомит нас с этим жанром, инкрустируя свой рассказ сочными цитатами. Донос в повествовании о клетке играет ту же роль, что любовное письмо в мелодраме: он позволяет всмотреться в алхимию чувств. Любовное письмо для читателя – входной билет в дамский будуар; донос – в будуар самовластного деспота. Цитируя доносы и полицейские рапорты, Ворошильский вводит нас в мир, закрытый для простых смертных: читатель поспешает за своим проводником, зарумянясь от возбуждения, как заливался бы краской монах при посещении публичного дома. Но эта экскурсия еще и в высшей степени воспитательна: она позволяет понять природу конфликта чиновников с литературой, духа лакейства с духом свободы.

К самым видным доносчикам той эпохи принадлежал наш соотечественник – Фаддей Булгарин. Эту фигуру, ведущую скотину своего времени, следует вспоминать почаще, особенно в моменты, когда читаешь столько статей во славу Козетульских\* авторства Булгариных. С этой целью привожу донос, составленный нашим соотечественником для русской полиции о Царскосельском лицее, где учился Пушкин. Наш земляк писал:

«В свете называется Лицейским духом, когда молодой человек не уважает старших, обходится фамильярно с начальниками, высокомерно с равными себе, презрительно с низшими, исключая тех случаев, когда для фанфаронады надобно показаться любителем равенства. Молодой вертопрах должен при сем порицать насмешливо все поступки особ, занимающих значительные места, все меры правительства, знать наизусть или сам быть сочинителем эпиграмм, пасквилей и песен предосудительных на Русском языке, а на Фран-

---

\* Козетульский – персонаж комедии «Фредро». – П е р .

цузском – знать все самые дерзкие и возмутительные стихи и места самые сильные из революционных сочинений. Сверх того он должен толковать о конституциях, палатах, выборах, парламентах. (...) К тому принадлежит также обязанность насмехаться над выправкою и обучением войск, и в сей цели выдуманно ими слово шагистика. Пророчество перемен, хула всех мер или презрительное молчание, когда хвалят что-нибудь, суть отличительные черты сих господ в обществе. Верноподданный значит укоризну на их языке, европеец и либерал – почетные названия. Какая-то насмешливая угрюмость вечно затемняет чело сих юношей и оно проясняется только в часы буйной веселости. (...) В Лицее начали читать все запрещенные книги, там находился архив всех рукописей, ходивших тайно по рукам, и, наконец, пришло к тому, что если надлежало отыскать что-либо запрещенное, то прямо относились в Лицей. (...) Начальники Лицея, под предлогом *благородного обхождения*, позволяли юношеству безнаказанно своевольничать, а на нравственность и образ мысли не обращали ни малейшего внимания. И как с одной стороны правительство не заботилось, а с другой стороны частные люди заботились о делании либералов, то дух времени превозмог – и либерализм укоренился в Лицее, в самом мерзком виде».

Я не мог удержаться от этой длинной выписки: одним – в поощрение, другим – в поучение. Пускай те, что прочтут мой текст из любопытства, зажгутся охотой прочитать всю книгу; а те, что будут читать по долгу службы, – пусть узнают своего классика. В особенности хотелось бы мне уговорить Артура Сандауэра оставить, наконец, в покое Рильке и Гомбровича, Библию и Бялошевского. Булгарин – таков должен быть его герой для ближайшего исследования из области феноменологии доноса. Пора воздать честь позабытым учителям...

Ключ от дверцы клетки, в которой жил Пушкин, держал в своей длани главный полицейский России – царь. Иногда он отворял клетку – например, Мицкевичу, который, «ползая молчком, как змий, дразнил деспота». Пушкину он ее не открыл.

Ворошильский описывает различные попытки Пушкина вырваться за границу, его усилия, упорство и отчаяние. Он так ни разу и не выехал. Царь Николай так любил литературу, что предпринял труды, чтобы овладеть душой Пушкина, но с телом поэта расстаться не умел. Когда я читаю о Николае, мне все припоминается стихотворение Херберта «Что думает пан Когито о пекле», где Херберт писал: «Вельзевул любит искусство. Он хвастает, что его хоры, его поэты и его живописцы уже почти превзошли райских. У кого искусство лучше, у того и правительство лучше – это ясно. (...) Вельзевул опекает искусство. Он обеспечивает своим художникам спокойствие, хорошее питание и абсолютную изоляцию от адской жизни».

Да, царь Николай хорошо знал, что делал, одевая Пушкина в мундир камер-юнкера... Однако, прежде чем он это сделал, он оказал поэту немалые милости. Когда тот выл с тоски в ссылке в Михайловском, монарх проявил милосердие и призвал его пред свои очи. Пушкин уже несколько лет отбывал епитимью за *неблагонадежные* стихи, когда Николай начинал свое царствование. Бунт декабристов был уже подавлен, его вождей арестовали и подвергли следствию. Пятерых из них казнили. Именно в этот момент монарх беседует с Пушкиным.

«Компетентной и авторитетной записи этого разговора, – пишет Ворошильский, – не существует. Известно, что после его окончания оба собеседника появились в салонах взволнованные и возбужденные, что царь выкрикнул что-то вроде: „Он теперь мой!“ – или же: „Господа, вот новый Пушкин, забудем о старом“».

В этом разговоре есть привкус шекспировской трагедии. Лицом к лицу друг с другом стали могущественнейший полицейский России и величайший русский поэт. За полицейским были армия, двор, традиции. За поэтом – только духовная свобода и достоинство писателя. Этим-то полицейский не обладал, и этого он захотел поэта лишить.

Вся дальнейшая жизнь Пушкина подобна шахматной партии с Тамерланом, который срубал голову проигравшему за бездарность, выигравшему – за дерзость. Что случилось в 1837 году: поставил ли полицейский поэту мат, или сам поэт опрокинул шахматную доску? – вот вопрос каждого биографа Пушкина. Ворошильский не дает на него однозначного ответа. Одно все-таки выглядит бесспорным: выиграть эту шахматную партию Пушкин не мог. Во время того знаменитого разговора поэт принял монаршую милость: он с благодарностью согласился на предложение царя Николая, главного полицейского России, быть его единственным цензором. Предложение выглядело чудом: казалось, открывается клетка, расширяется свобода поэта, более того – он обретает возможность влиять на государственные решения. Словом – светлое будущее. Однако все это было мнимо. Когда ключ от клетки держат чиновники и полицейские, поэт, стремящийся залучить ключ, тоже должен стать чиновником – если не хочет стать узником. По существу, Пушкин признал главного полицейского России надлежащей особой для оценки – хотя бы в служебных рамках – его литературного творчества. Царь перестал для него быть тем, кем был по сути, – палачом. Стал партнером игры, правила которой он сам же и назначал.

Посредником между главным полицейским и поэтом стал Бенкендорф, шеф Третьего отделения. Войцех Карпинский в своем эссе «Платок императора» напомнил, что, «когда в 1826 г. Николай I поручил ген. Бенкендорфу создать независимую от существующих

министерств тайную полицию, тогда будущий шеф III отделения Личной канцелярии Его Императорского Величества обратился к своему повелителю с просьбой об указаниях. Император Всероссийский как раз держал в руке носовой платок и подал его Бенкендорфу со словами: „Вот единственное указание. Отри этим платком слезы моего народа“».

Так-то вот Бенкендорф отирал и пушкинские слезы. Вот выдержки из его писем поэту:

«Его Императорское Величество в отеческом о Вас, милостивый государь, попечении, соизволил поручить мне, генералу Бенкендорфу, не шефу жандармов, а лицу, коего он удостоивает своим доверием, – наблюдать за Вами и наставлять Вас своими советами (...). Советы, которые я, как друг, изредка давал Вам, могли пойти Вам лишь на пользу, и я надеюсь, что с течением времени Вы в этом будете все более и более убеждаться».

«Его Величество не только не запрещает Вам въезда в столицу, но оставляет это целиком на Ваше усмотрение, с тем только, чтобы Вы предварительно письменно обращались за разрешением».

«Милостивый Государь Александр Сергеевич! Отъезжая из Москвы, не имея времени на личный разговор с Вами, я уведомил Вас письмом о Высочайшей Воле: чтобы в случае каких-либо новых Ваших литературных сочинений, до напечатанья либо распространения таковых в рукописи, Вы предварительно представили их до рассмотрения будь то через мое посредничество, будь то непосредственно Его Императорскому Величеству...

В настоящее время доходят до меня известия, что Вы изволили читать в обществе сочиненную Вами трагедию. Это склоняет меня покорно просить Вас сообщить, отвечают ли истине такие известия или же нет. Я, к тому же, убежден, что Вы слишком рассудительны, чтобы не ощущать в полной мере столь великодушной

снисходительности монаршей и не стремиться сделать себя ее достойным».

Вот язык полицейского и сыщика крупного формата – учитесь, товарищи! Если я рекомендую Сандауэру изучать Булгарина, то лучший друг писателей, благодетель политзаключенных, мой наизаботливейший опекун генерал Чеслав Кишак обязан изучать прозу генерала Бенкендорфа. Так следует говорить, писать, аргументировать! Стил – это человек. Только овладев этим стилем, можно будет хвастаться вслед за Феликсом Эдмундовичем Дзержинским, тоже нашим соотечественником, создателем дубиночной руки партии, с гордостью можно будет сказать, что сотрудник органов – это «горячее сердце, холодная голова, чистые руки». Бенкендорфу не надо было делать таких заявлений – это было очевидностью. Никого не смущало, что Бенкендорф следил за каждым шагом поэта, за каждой его поездкой в провинцию, за каждым путешествием из Москвы в Петербург, что он читал каждое его сочинение и каждое его письмо. Вельзевул любит искусство...

Пушкин был – в общепринятом смысле этого слова – порядочным человеком. Царь Николай – тоже в общепринятом смысле слова – деспотом и подлецом. Когда порядочный человек вступает с подлецом в игру с подлыми правилами – он должен проиграть. Это тем более неизбежно, если за подлецом стоит подлая система правления. Принимая игру, порядочный человек сам начинает подлеть: достоинство вытекает из него потихоньку, незаметно, день за днем, капля по капле. Он ищет себе рациональных оправданий. Напрягает ум, чтобы найти обоснование своим поступкам. И так, мало-помалу, человеческое достоинство превращается в придворный сервизизм, а духовная свобода – в тошнотворное ощущение крепостной зависимости. Сначала внушаешь себе, что это только маска, только камуфляж, необходимый для достижения успеха. Однако со

временем маска пристает к лицу так плотно, что становится лицом.

Так подлеет порядочный человек. Можно ли сойти с этого пути, бежать от этой судьбы? Можно. В смерть.

Пушкин ушел в смерть. Ему удалось бежать от ополчения. Его судьба, так прекрасно и пронзительно рассказанная Виктором Ворошильским, была продолжением судьбы русского писателя и дальнейшим ее предсказанием. Сам поэт отдавал себе отчет в этой непрерывности. В заметках «О русской истории XVIII века», большую часть которых он сам уничтожил, Пушкин записал:

«Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первый лучи его, перешел из рук Шешковского (домашний палач кроткой Екатерины. — Прим. Пушкина) в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами — и Фонвизин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность».

Это прошлое. А будущее? Лермонтов и Полежаев, Чаадаев, запертый в качестве сумасшедшего, и Гоголь, уничтожающий второй том «Мертвых душ», Достоевский, приговоренный к смерти, и Чернышевский, арестованный и сосланный, Лев Толстой, окруженный в Ясной Поляне сыщиками, и Щедрин, страдания которого описал Ворошильский в «Снах под снегом». А позднее — и самоубийцы: Маяковский, Есенин, Цветаева; расстрелянный Гумилев, умирающий в лагере Мандельштам, выстаивающая в тюремных очередях с передачей для сына Ахматова, затравленный Пастернак, переживший лагерь и изгнанный Солженицын, осужденный за «тунеядство» Бродский. Такова духовная правда России. Той великой России, не сдающейся деспотизму, — той, перед которой склоняется Виктор Ворошильский своей книгой. Склоняюсь и я вместе с ним. Я хотел бы, чтобы знание об этой России и уваже-

ние к ее свершениям и мужеству были широко распространены в польском обществе.

Книга Ворошильского провоцирует и вдохновляет на новые вопросы. Некоторые из них я хотел бы отметить.

Ворошильский необыкновенно высоко оценивает движение декабристов. Он обращает внимание на его антидеспотическую направленность и демократическую программу. Однако, если приглядеться к декабризму ближе, станет очевидным, в какой большой степени этот бунт элиты поколения формировался в мире понятий, свойственных царизму. Идеи западной демократии, привитые на российскую почву, приносили плоды и в виде таких антицарских программ, которые довольно далеко отстояли от демократии. В каком-то смысле декабристы были предтечами не только антицарского демократизма, но и антицарской диктатуры. В программе Пестеля звучит нота якобинского террора, которая годы спустя разовьется в тоталитарную практику большевиков. Глядя с этой точки зрения, можно задуматься: не было ли стихотворение Пушкина об Андре Шенье, поэте французской революции, гильотинированном якобинцами во время диктатуры Робеспьера, предсказанием будущей судьбы русской революции и ее поэтов? Послушаем:

Где вольность и закон? Над нами  
Единый властвует топор.  
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами  
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!

После декабрьского бунта Пушкин, вероятно, не мог писать в таких категориях об антицарском движении, но раньше? Разве это не могло быть отражением каких-то споров, шедших в кругу будущих заговорщиков? Я не настаиваю на этой гипотезе, но думаю, что она заслуживает рассмотрения.

Спорной проблемой остается и отношение Пушкина к польскому вопросу. Ворошильский представил его весьма убедительно: согласно его концепции, польский вопрос мало волновал Пушкина, знаменитые же его стихи – антипольские по смыслу – были вызваны причинами «конъюнктурно-бытовой природы»: они, похоже, были попыткой преодолеть статут человека, постоянного находящегося «в подозрении». Остается, однако, открытым вопрос, почему Пушкин счел возможным и целесообразным воспользоваться именно этим, а не другим способом ради выхода из заклятого круга подозрения? Допустим, с точки зрения Пушкина, это было второстепенное дело, не слишком существенное, но наша польская точка зрения совсем иная, и именно великий русский поэт мог бы это осознать.

Поэтому мне, признаюсь, ближе объяснение, исходная точка которого состоит в том, что Пушкин написал в этих стихах то, что действительно думал; что он действительно возмущался «клеветниками России», что он в самом деле считал конфликт России с Польшей «домашним спором», что он по-настоящему радовался взятию Варшавы Паскевичем в годовщину Бородинской битвы. Чаадаев – цитируемый Ворошильским – писал в «Апологии сумасшедшего»: «Я не умею любить отечество с закрытыми глазами, с опущенной головой, с завязанным ртом». Пушкин, думаю, это сумел – по крайней мере, уже сумел в 1831 году. За этим был, быть может, не национализм, как считает Вацлав Ледницкий, ибо национализм – тут Ворошильский прав – ассоциируется с «ослеплением, неспособностью замечать отечественное зло, тупым противопоставлением всего, что свое, чужому». По крайней мере, так сейчас мы понимаем термин «национализм». В сознание же Пушкина, по-моему, было вписано чувство принадлежности к нации, которая имеет право играть ведущую роль в мире и навязывать свою волю другим народам. Он мог не переносить деспотизма, цензуры, сыщиков и доносов,

мог всем сердцем сочувствовать освободительному движению декабристов, мог годами мечтать о выезде за границу и предпринимать неустанные усилия в этом направлении, но он не мог жаждать падения Российской Империи.

Такой подход был – и, пожалуй, остается – частым среди русских; такое расщепление, к тому же, отнюдь не что-то непонятное. Сколько поляков – спросим себя – в эпоху Второй Речи Посполитой (т. е. после восстановления независимости в 1918. – Пер.) соглашалось с требованием независимой государственности украинского народа? Лишь единицы. А ведь Польша не была страной под деспотическим правлением... А много ли французов соглашалось с требованием независимости Алжира? А ведь это была эпоха деколонизации, Франция же была страной парламентарной демократии... Жаждать поражения и умаления собственного государства попросту очень трудно, даже сознавая, что это государство не идеально. Такой подход требует огромной гражданской отваги и огромной духовной силы, которыми обладают лишь немногие.

Задумываясь над феноменом Пушкина, следует помнить обо всем этом – тогда вся история приобретет надлежащие пропорции. Однако же, и заботясь о пропорциях и сохраняя похвальную умеренность, трудно все-таки не отметить, что такие взгляды – высказанные в пушкинских стихах и широко распространенные среди российской элиты разных времен, – предreshали и перманентный польско-русский конфликт, и тот факт, что российский деспотизм в деле порабощения Польши не раз находил союзника в лице русского общественного мнения. Верно, что Пушкин не был врагом поляков, как не был их врагом и царь Александр II, сын и наследник Николая, кровавой для нас, поляков, памяти.

Во время посещения Варшавы в самом начале своего царствования (22 мая 1856 г.) он объявил полякам:

«Господа! Я прибыл к вам, желая забыть о прошлом. Мною руководят наилучшие по отношению к вашей стране намерения. От помощи, которая будет мне оказана, зависит их осуществление. Прежде же всего я должен вам объявить, что взаимное отношение друг к другу требует объяснений. Вы занимаете в моем сердце такое же место, как Финляндия, и такое, как все мои российские подданные, но я понимаю, что порядок, который был установлен моим отцом, должен быть сохранен. Так что, господа, никаких иллюзий. Тех, кто и дальше хотел бы им предаваться, я сумею удержать и помешать тому, чтобы эти мечты вышли из границ их воображения.

Счастье Польши зависит от ее полного слияния с народами моей Империи. Все, что совершил мой отец, есть благо. Я сохраняю это. Ваши сражались наравне со всеми остальными. Князь Горчаков был свидетелем того, как отважно они проливали кровь на защите отечества. Польша и Финляндия мне так же дороги, как, впрочем, и все иные части моей Империи. Так что нужно, чтобы вы ради блага самих поляков знали, что Польша должна навеки остаться соединенной с великой семьей Императоров Всероссийских.

Верьте мне, господа, что я полон наилучших намерений, но от вас зависит облегчить мне задачу, и еще раз повторяю: никаких иллюзий, господа, никаких иллюзий!»

Нет оснований сомневаться, что царь Александр II имел «наилучшие намерения». Дело, однако, в том, что от этих самых «иллюзий» поляки отречься не могли. Они никогда от них не отреклись и никогда не отрекнутся. Об этот факт всегда вынуждена была разбиваться добрая воля российских властителей; по этой причине всегда проигрывали прорусские течения польской политики. Известен разговор 1862 года между братом царя Вел. Кн. Константином и лидером польского общественного мнения Анджеем Замойским. На вопрос Кон-

стантина, что русские могут сделать для поляков, Замойский, говорят, ответил: «Пусть русские уйдут. Убирайтесь и оставьте нас в покое». Во время разговора великий князь играл револьвером, который лежал на столе... За исключением револьвера – атрибута диктаторской власти, – легко вообразить себе подобный разговор между Мицкевичем и Пушкиным. В этом вопросе взаимопонимание было невозможным. В момент конфликта Мицкевич, должно быть, был для Пушкина «клеветником России», а в глазах польского поэта автор «Бородинской годовщины» – тем, кто, «золотом иль чином ослеплен», бьет поклоны перед царским тронном, «деспота воспев подкупленным пером» (из стихотворения «Русским друзьям», цитаты даем в пер. В. Левика. – П е р.).

Это, к сожалению, не академические рассуждения исторического характера. Постыдные стихи Пушкина сегодня – без всякого критического комментария – перепечатываются в популярных массовых изданиях. На этих стихах воспитываются всё новые поколения русских. В тот день, когда я пишу эти слова, «Жице Варшавы» опубликовало интервью с Е. Евтушенко. Евтушенко, которому в уме отказать нельзя, посреди различных красивых фраз и банальностей, в частности, говорит: «Например, Пушкин, мечтавший о временах, когда „народы, распри позабыв, в великую семью соединятся“, – разве не оказался он пророком нового социалистического общества?»

Польскому читателю трудно читать эти слова без удивления. Оставляю уже в стороне абсурдность представления Пушкина как пророка Самого Прогрессивного Строя. Оставляю в стороне сервилизм Евтушенко: Самый Прогрессивный Строй как соединение в великую семью народов, позабывших о распрях! Эту ложь не уравновесит упоминание в интервью Евтушенко имен «проклятых» поэтов: Пастернака и Ахматовой – в числе величайших поэтов XX века... Меня, однако, поразило,

что Евтушенко забыл: в своем стихотворении Пушкин эту мечту приписал... Мицкевичу. А мицкевичевская мечта – и об этом русскому писателю забывать не следовало бы! – не имела буквально ничего общего с соединением народов в рамках Российской Империи. Такова была мечта русских царей, но не польских поэтов. Поляки слишком хорошо знали практическое осуществление этих грез, слишком навязчиво звучит у них в ушах шутка о польском орле: «Курица – не птица, Польша – не заграница». Кроме того, поляков может интересовать: таково ли современное восприятие стихов Пушкина, как у Евтушенко?

Думаю, что мои русские друзья не обидятся на эти замечания. Я люблю их так, как наш великий поэт Адам Мицкевич любил своих «друзей-москалей». И, как он, я шлю им сердечный привет: «Вы узнаете меня по голосу...» (даем дословный перевод – в пер. В. Левики: «И голос мой вы все узнаете тогда...» – П е р.).

Вот и всё о польском вопросе. Что же касается Пушкина, то Вяземский заметил, что эти западные «клеветники России» могли бы ему ответить: «Мы ненавидим вас, или, точнее, презираем, поскольку в России такой поэт не стыдится писать и печатать такие стихи...»

Хорошо, что Ворошильский нашел это высказывание Вяземского и привел его. Это голос мудрой и дальнорзоркой России, России, свободной от комплексов и великодержавных искривлений. С такой Россией, на мой взгляд, Польша должна искать взаимопонимания. Я пишу эти слова, сознавая, что польский путь к взаимопониманию тоже не будет легким. Это будет путь людей, продвигающихся вопреки застарелым комплексам, обидам и мстительным чувствам, вопреки невежеству и вопреки национальной мании величия. Это будет путь крутой и тяжкий, но наверняка единственный, если мы не хотим погрузиться в бездны племенной ненависти.

Книга Виктора Ворошильского – очень важный шаг на этом пути.

## **Читайте в следующем номере «Континента»**

**Проза:**

**И. Брежна, Ф. Кандель,  
А. и Л. Шаргородские**

**Стихи:**

**Валентин З/К (Соколов),  
Ю. Кублановский, Л. Лосев**

**Публицистика:**

**Р. Берг, И. Дарский,  
М. Кулмагамбетов, Б. Топорская**

**Литературный архив:**

**А. Мицкевич в переводе А. Якобсона**

# Колонка редактора

## НЕЧТО ЮБИЛЕЙНОЕ

Сначала я хотел бы напомнить вам старую шуточную молитву: «Господи, избавь меня от друзей, а от врагов я избавлюсь сам!»

Но, к счастью, десятилетний опыт «Континента» и его участников являют собою счастливое исключение из этого парадоксального правила.

Хотят того или не хотят наши, к сожалению, многочисленные враги, но журнал существует и, смею надеяться, еще долго будет существовать только благодаря нашим еще более многочисленным друзьям.

И среди этих друзей я в первую очередь назвал бы его инициатора и основателя, выдающегося немецкого издателя и общественного деятеля – Акселя Шпрингера.

В числе членов нашей редакционной коллегии вы можете увидеть сегодня самых различных по своим политическим убеждениям и эстетическим критериям представителей духовного Соппротивления России и Восточной Европы: Андрея Сахарова и Милована Джиласа, Странника и Пауля Гому, Владимира Буковского и Юзефа Чапского, Иосифа Бродского и Ценко Барева, Василия Аксенова и Густава Герлинга-Грудзинского, Эрнста Неизвестного и Ежи Гедройца, Александра Гинзбурга и Петра Григоренко, Эдуарда Кузнецова и Наума Коржавина, Андрея Седых и Ирину Иловой-скую-Альберти. В шести из сорока вышедших номеров журнала принял участие публикацией своих материалов Александр Солженицын.

Практически девять десятых наиболее видных деятелей этого Соппротивления объединились сейчас вокруг «Континента». И это – лучшее доказательство нашей духовной и политической терпимости.

Высочайшую степень действительной толерантности и понимания проявили к журналу те западные интеллигенты, которые с первого дня его существования безоглядно разделили с нами ответственность за лицо и судьбу журнала. Репутация «Континента» отныне неразрывно связана с именами Раймона Арона, Джорджа Бейли, Сола Беллоу, Николаса Бетелла, Корнелии Герстенмайер, Эжена Ионеско, Артура Кестлера, Роберта Конквеста, Николауса Лобковица, Виктора Спарре, Карла-Густава Штрема, Амоса Оза и Пьера Эмманюэля. Теперь по своему горькому опыту мы знаем, каким личным мужеством надо было обладать каждому из них, чтобы проявить эту великодушную солидарность с нами.

К настоящему времени «Континент» вышел уже на одиннадцати языках (некоторые издания временно прекратили свое существование) – русском, немецком, французском, английском, испанском, греческом, голландском, норвежском, итальянском и польском и имеет тенденцию к расширению своей языковой географии.

Показав в своей повседневной практической деятельности пример подлинной и последовательной общественной широты, журнал приобрел надежный и все расширяющийся круг друзей как у себя на родине, так и за рубежом, и теперь уверенно смотрит в будущее.

Об этом красноречиво свидетельствует приветствие Андрея Сахарова, направленное им в свое время в редакцию «Континента»:

*«„Континенту“ три года – двенадцать книг, на страницах которых мы встретились с авторами СССР и советской эмиграции, Восточной Европы и ряда западных стран. Такой межнациональный характер журнала стал его отличительной и важной для советского читателя чертой.*

*В сложном деле организации и становления международного журнала неизбежны шероховатости, просче-*

ты, ошибки. Мне и моим друзьям не всегда все нравилось в художественной части журнала. Не всегда я согласен с публицистическими выступлениями, преувеличенным пафосом, а иногда (с моей точки зрения) и неточностью подхода к национальным и иным проблемам в колонке редактора. Не всегда мне кажутся справедливыми литературно-критические оценки журнала.

Но главный итог трех лет – „Континент“ показал себя самым интересным и самым читаемым в СССР из всех выходящих за рубежом русских журналов. Выход каждого номера „Континента“ для нас всегда событие, влекущее за собой споры, обсуждения. Такое отношение читателей – лучшее доказательство жизнеспособности и значения журнала.

А. Сахаров»

Поэтому я хочу закончить эту колонку, переиначив старую молитву на новый лад: «Господи, избавь нас от наших врагов, а друзей мы приобретем сами!»

## ПРЕМИИ «СОЛИДАРНОСТИ» В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

Собрав мнения многих групп и общественных слоев, в том числе независимых творческих кругов, Комитет независимой культуры в марте 1984 г. присудил премии «Солидарности» в области культуры за 1983 год. Премиями награждены:

1. Редакция независимого литературного журнала «Ар-ка» (Краков).

2. Януш Богуцкий (Варшава) – за подготовку симпозиума «Знак Креста» в костеле Милосердия Господня в Варшаве.

3. Анджей Бжозовский (Варшава) – за документальный фильм «Гостиница „Бристоль“», Варшавская студия документальных фильмов.

4. Пшемислав Гинтровский (Варшава) – за цикл песен «Сувениры».

5. Збигнев Херберт (Варшава) – за книгу стихов «Рапорт из осажденного города», Литературное книгоиздательство (подпольное. – Прим. ред. «Континента»), Краков.

6. Лукаш Королькевич (Варшава) – за картины.

7. Богдан Красневский (Торунь) – за картины.

8. Коллектив независимого издательства «Кронг» (Варшава).

9. Ян Юзеф Липский (Варшава) – за книгу «КОР», Лондон, «Анекс», 1983, готовится к выходу в одном из независимых издательств на родине.

10. Витольд Лютославский (Варшава) – за последнее сочинение, Третью симфонию (первое исполнение – Чикаго, 1983).

11. Адам Михник (Варшава) – за литературную критику и публицистику, написанную в следственной тюрьме в Мокотуве.

12. Создатели спектакля «Незабываемый 1962 год» – Популярный театр (Варшава).

13. Марек Сапетто (Варшава) – за картины.

14. Лешек Собоцкий (Варшава) – за картины и графику.

15. Виктор Ворошильский (Варшава) – за стихи, написанные в период интернирования, и за книгу «Кто убил Пушкина» (Варшава, «Искры», 1983).

16. Стефания Войтович (Варшава), певица, – за все ее музыкальное творчество.

(Цит. по: «Солидарность. Информатор Центрально-Восточного региона», Люблин, 6 апреля 1984.)

**«Континент» поздравляет лауреатов премии «Солидарности» и в особенности Виктора Ворошильского и Адама Михника – авторов, выступающих у нас в юбилейном номере.**

# Наша почта

*В редакцию «Континента»*

## В ТЕНИ ДОСТОЕВСКОГО

Иная брань, конечно, неприличность.  
Нельзя сказать: «такой-то-де старик,  
Козёл в очках, плюгавый клеветник,  
И зол, и подл», – всё это будет личность;  
Но можете печатать, например,  
Что «господин парнасский старовёр  
В своих статьях нелепицы оратор,  
Отменно вял, отменно скучноват,  
Тяжеловат и даже глуповат».  
Тут – не лицо, а только – литератор.

*А. С. Пушкин, 1829*

В свое время в западногерманской газете «Die Zeit» (от 6. 2. 81) Хорст Бинек напечатал пространное интервью с Андреем Синявским. Это интервью было приурочено, надо полагать, к столетию со дня смерти Ф. М. Достоевского.

Замечу прежде всего, что в газетный текст были вмонтированы два фото равного размера: слева – Синявский, справа – Достоевский. И в подтверждение – зачин интервьюера: «...я..., Андрей Донатович, ... нахожу, что лицом вы всё более уподобляетесь Достоевскому...» Ну, немецкому газетчику такое утверждение, может, и простительно: ведь оба с бородой, оба кончаются на «ский». Тем не менее, подобная физиономистика безвкусна и, во всяком случае, совсем неуместна.

Но суть, понятно, не в неприятном сочетании фотографий. И – на мой взгляд – и не в Достоевском. Ведь не зря же перед названием интервью красуется надзаголовок: «В социальном аспекте русские во веки веков оста-

нутя рабами». Это не цитата из покойного нацистского органа «Untermensch» («Недочеловек») и не изречение Хорста Бинека, это – заключительный аккорд самого Синявского; стеснительный немец только чуть приглушил звучание, выбросив уж чересчур категорическое «конечно же»\*.

Здесь не место – да и не в этом цель моей заметки – разбираться в той деформации, которой Синявский подвергает Достоевского, как ранее – и куда более обстоятельно – он это сделал с Гоголем («В тени Гоголя») и Пушкиным («Прогулки с Пушкиным»)\*\*. Оговорюсь только, что оценки Синявского весьма оригинальны, а расстановка акцентов чрезвычайно своеобразна; я подозреваю, что чужое творчество Синявский использует не только как материал для исследования, но, попутно, и как средство саморекламы: «Внимание, господа! Фокусы, выкрутасы, ловкость языка! Коленца первый сорт! Только у меня!»

Моя цель – другая: ознакомить русского читателя, не читающего немецкой газеты «Die Zeit», с недостойными и необоснованными оскорблениями русского писателя Андрея Синявского в адрес русского народа.

Вот они, эти оскорбительные высказывания.

«Русский человек аморфен. Закона он не принимает, закон не имеет для него существенного значения. Куда важнее: милость правителя».

---

\* Эти и другие слова Синявского из «Die Zeit» я привожу в обратном переводе с немецкого.

\*\* Насколько я в курсе дела, исследовательский зонд Синявского еще не проник во Льва Толстого, первого писателя Земшара. Пока что Синявский ограничился (всё в том же интервью) определением: «...Толстой... гениальная заурядность...»

Известно: если залезть в колодец или достаточно глубокую яму, то можно и днем увидеть звезды. Однако Синявский из своей ямы не узрел самой крупной звезды, самого яркого светила: Льва Толстого.

Странная аберрация!

Всё это – ложь. Достаточно вспомнить хотя бы о «Господине Великом Новгороде», – или знаменитое вече не было самым демократическим установлением того времени? Почти сплошь монархическое европейское средневековье не знало такой подлинной законности, такого истинного народовластия. Венецианская республика? Ганзейский Союз (куда, между прочим, входил и Новгород – Hansastadt Naugard)? Куда там! Разве что древние германцы, собираясь на тинг под столетним дубом, видели такую законность и свободу, да, пожалуй, еще Афины и Рим – в лучшие времена расцвета (хотя афинские и римские рабы придерживались, возможно, и другого мнения!).

Так что Андрей Синявский попросту лжет. А так как его трудно заподозрить в историческом невежестве – то это ложь заведомая, целенаправленная. Ложь, подогнанная под определенную концепцию.

С другой стороны, небезызвестно, что на заре западной цивилизации не столько воссиял свет разума, сколько запылали костры Святейшей Инквизиции. Жестоковато, конечно, но зато – по закону, не то, что на Руси с ее аморфным народом и княжей милостью!

Не очень-то тычьте мне в глаза традиции европейской законности!

«Культ личности? Почему же всегда именно у нас? Ведь это не случайно. Мы всегда предавали себя во власть какому-нибудь идолу».

Двухэтажная ложь. Первый этаж: в России прежде *никогда* не существовало такого «культа личности», какой навязал народу Владимир Ленин – мизантроп, демагог, лжец, «профессиональный эксплуататор невежества рабочего класса»\* и прихлебатель германского генштаба, – и какой довел до абсурда абрек Иосиф Сталин.

---

\* Определение Плеханова – между нами говоря, тоже не очень-то светлой личности.

Да, да, чую: сейчас мне ткнут под нос Иоанна Грозного! Ну, знаете ли, сравнение этого больного царя с Лениносталиным – по меньшей мере недобросовестно.

Двухкратное «всегда» Синявского однозначно означает, что: а) поскольку «культ личности», поклонение «идолу» существовали в России всегда, испокон, то Великая Октябрьская Катастрофа ничего нового в принципе не внесла – разве что терминологию; б) поскольку «культ личности» был всегда неотъемлем от России, органически сросся с ней, то простым методом экстраполяции нетрудно установить: так оно будет и впредь, до скончания веков. А посему: сопротивляться советской власти, бороться против нее – бессмысленно; ну, какой резон свергнуть одну деспотию, чтобы заменить ее другой? Какой толк низвергнуть одного идола, чтобы поставить на пьедестал другого? По Синявскому выходит: никакого резона, никакого толка. Ведь все равно «в социальном аспекте русские во веки веков, конечно же, останутся рабами».

Второй этаж лжи. «Почему же именно у нас», – вопрошает Синявский. Вопрошатель, несомненно, хотя бы понаслышке, знает о некоем Адольфе Гитлере (он упоминает его в своем интервью – значит, слышал). Знает он и то, что взошел Гитлер не «у нас», а также тот факт, что этот патологический изверг не захватил власть силой, пользуясь финансовыми инъекциями враждебной иностранной державы, а был всенародно избран\*.

Кстати: следует ли отсюда, что немец «аморфен» и что «закона он не принимает»? По логике Синявского – следует.

---

\* 30. 1. 1933 г. президент Пауль фон Гинденбург назначил Адольфа Гитлера рейхсканцлером. 5. 3. 1933 г. 48% совершеннолетних немцев (11,7 миллионов человек) высказались за Гитлера-рейхсканцлера. Далее число его приверженцев катастрофически росло, и после смерти Гинденбурга (2. 8. 1934) Гитлер стал полновластным хозяином Германии.

Между прочим, русские – думаю, что по прирожденной стыдливости (которую режим искореняет вот уже более 60-ти лет) – все-таки не дошли до такой мерзости, чтобы приветствовать друг друга кличкой убийцы: хайль Сталин!

Прочитую еще раз Синявского – в связи с Гитлером: «Сталин угробил, пожалуй, не меньше людей, чем Гитлер, возможно, даже больше». Вот как, господин стилист? Не меньше? 60 миллионов – это «не меньше»? Да Гитлеру разве что снился подобный масштаб, такой воистину революционный размах! Куда ему, недоделанному!

Я понимаю, что убийца – всегда убийца, независимо от числа своих жертв. Вот Комаров, лошадиный барышник с Калужской заставы, уколошил «всего» штук 15 – так что же он, человеколюбец, что ли? Арифметика тут не к месту, с моральных позиций – это всё равно: что 60 миллионов, что 15 человек, что 1.

Да вот для каждой отдельно взятой потенциальной жертвы это не всё равно.

Меня удивляет наивная неосведомленность Андрея Синявского. Или такие мелочи ему, схожему с самим Достоевским, не по рангу?

Да, так о «культе личности», который «всегда именно у нас». Ну, пусть Гитлер – уродливый выродок, случайно (это ведь «у нас» всё «не случайно»!) подхваченный мутной водой политики. Но вот и другие наши милые современники: итальянец Муссолини, испанец Франко, китаец Мао Цзе-дун, югослав Тито, албанец Ходжа. Все эти доблестные объекты «культа личности» – тоже случайность? Темная игра истории, так сказать? И ведь все они – вне России, лишь один Тито отпочковался от Сталина, да и тот восстал на своего производителя!

Эх, Андрей Донатович! Концепция-то ваша – того, трещит и кособочится, вроде этаких блочных Черемушек!

А ежели уж совершить экскурс в прошлое... Был вот такой испанский король Филипп II, садист и истязатель. И еще римский папа Александр VI Борджиа, отравитель и христопродавец. И еще Генрих VIII... И еще вдохновенный палач, рябой Робеспьер... И еще... Что же они все – в отличие, скажем, от Иоанна Грозного – гуманисты? И как там у них обстояло дело с «культом личности»? И – вот ведь заковыка! – не в России они тиранствовали, симпатяги эдакие, не «у нас», не над русским «аморфным» народом изголялись!

Едва ли Андрей Синявский, писатель и литературовед, посвящен в жизнь и историю своей страны, в прошлое и настоящее Запада хуже, чем, к примеру, я, математик. Скорее – наоборот. Человек он, не сомневаюсь, образованный и неглупый. Всё он отлично знает и понимает.

Почему же он столь преувеличенно выпукло видит одно и ничуть не замечает другого? Что за неестественная однобокость?

Короче говоря: зачем Синявский передергивает? Действительно, зачем?

Сообщаю безо всяких экивоков: мне лично Синявский крайне антипатичен\* – но не настолько, однако, чтобы тратить на него целую статью. Будь он неким уникалом, я бы просто посмеялся, может, плюнул бы, пожалуй, даже пожалел бы его (ибо мне сдается, что всё это – от комплекса неполноценности; бедняга!). Но в том-то и беда, что Синявский – «Голос из хора». А хорто – довольно большой, массовый, причем весьма голосистый, подстать небызывестному советскому хору им. Пятницкого. Тут и Ефим Эткинд, и Лев Копелев, и – извините за выражение! – Эдичка Лимонов. Конечно, в

---

\*Я с Синявским лично не знаком, даже издали его не видел, в переписке с ним также не состою, – так что «тут – не лицо, а только – литератор».

хоре не без разногласицы: Синявский и Эткинд поносят Россию, Лимонов порочит Америку, Копелев «с ученым видом знатока» потчует своих западных слушателей и читателей химически чистой чушью, беспримесной чепухой. Но весь этот разнобой не слишком существен, лейтмотив-то у всех один: дезинформация, перекос действительности.

28. 3. 81 Ханс-Петер Ризе опубликовал во «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (одна из наиболее крупных и солидных газет не только в Западной Германии, но и во всем мире!) статью под названием «Для нас стены нет» (Берлинской то есть). Статья рассказывает о докладе Льва Копелева в Бонне на тему «Немецкая литература в России». Как сообщает Ханс-Петер Ризе, один из слушателей спросил докладчика: «...правда ли, что в Советском Союзе поощряется – по идеологическим соображениям – гэдээровская литература?» А докладчик ответил («только тут заговорив о разном подходе» к литературам двух Германий): «Да, ГДР, пожалуй, лучше пропагандирует свои книги... Для нас стены нет». Вот оно, оказывается, в чем дело: советская колония ГДР заботится о рекламе своей литпродукции, а неорганизованной, еще не превращенной в концлагерь ФРГ – это всё до лампочки. Четко разъяснил докладчик, умница\*.

Кстати, заметьте: Ханс-Петер Ризе, как и Хорст Бинек, предпослал своей статье броскую цитату из речи русского эмигранта.

Здесь, мне кажется, уместно задать общий вопрос: *свободен ли в своем творчестве русский писатель в зарубежье?* Я отвечаю однозначно: *нет, не свободен. Не свободен и не может быть свободен, пока не свободна Россия.*

И это касается не одних писателей.

---

\* А по Пушкину: «нелепицы оратор».

Вернемся, однако, к нашему герою Андрею Синявскому. (Как говорят французы: вернемся к нашим баранам.)

Вот еще одно его высказывание, о диссидентах (простите мне это недоумелое словечко!):

«...диссидентское движение не охватило ни рабочих, ни ученых, ни инженерно-технической интеллигенции... оно замкнулось в кругу деятелей литературы и искусства...»

А вот статистическая справка: список некоторых «диссидентов» с указанием их профессий:

*А. Инициативная группа (зачинатели оформленного демдвижения), основана 20. 5. 69:* 1) Генрих Алтунян, радиоинженер, 2) Владимир Борисов, рабочий-электрик, 3) Татьяна Великанова, математик, 4) Наталья Горбаневская, поэтесса, 5) Мустафа Джемилев, без профессии, 6) Сергей Ковалев, биолог, 7) Виктор Красин, экономист, 8) Анатолий Краснов-Левитин, учитель литературы, религиозный деятель, писатель, 9) Александр Лавут, математик, 10) Юрий Мальцев, переводчик, 11) Леонид Плющ, математик, 12) Григорий Подъяпольский, геофизик, 13) Татьяна Ходорович, филолог, 14) Петр Якир, историк, 15) Анатолий Якобсон, лингвист.

*Б. Демонстранты на Красной площади (против советского вторжения в Чехословакию), 25. 8. 68:* 16) Константин Бабицкий, филолог, 17) Лариса Богораз, филолог, 18) Наталья Горбаневская (см. выше), 19) Вадим Делоне, поэт, 20) Владимир Дремлюга, рабочий, 21) Павел Литвинов, физик, 22) Виктор Файнберг, математик.

*В. Руководители Солженицынского фонда (основан летом 1974 г.):* 23) Александр Гинзбург, журналист, 24) Арина Гинзбург, филолог, 25) Кронид Любарский, астрофизик, 26) Мальва Ланда, геолог, 27) Татьяна Ходорович (см. выше), 28) Сергей Ходорович, инженер-программист.

*Г. I-й Сахаровский комитет (основан в 1970-м или 71-м году):* 29) Андрей Сахаров, академик, физик, 30) Андрей Твердохлебов, физик (он же основатель мос-

ковской группы «Эмнести»), 29) Валерий Чалидзе, физик, 30) Игорь Шафаревич, математик.

*Д. Комиссия по расследованию злоупотреблений психиатрией в политических целях (основана 5. 1. 77):* 31) Вячеслав Бахмин, математик-программист, 32) Александр Волошанович, врач-психиатр, 33) Ирина Гривнина, программист, 34) Ирина Каплун, филолог, 35) Анатолий Корягин, врач-психиатр, 36) Александр Подрабинек, фельдшер, 37) Феликс Серебров, рабочий. 38) Леонард Терновский, врач-рентгенолог.

А также: 39) Владимир Буковский, биолог, 40) Юрий Галансков, поэт, 41) Семен Глузман, врач-психиатр, 42) Петр Григоренко, генерал, военный историк, 43) Софья Каллистратова, адвокат, 44) Юрий Орлов, руководитель московской группы «Хельсинки», профессор, физик.

Итак, итог: из 44-х человек списка только 6, т. е. 13,6%, являются «деятелями литературы и искусства». Утверждаю: Андрей Синявский не мог не знать хотя бы приблизительно этого соотношения, я же вот знаю! А в правозащитном («диссидентском») движении я никогда не участвовал, хотя и всячески ему сочувствовал. И – в отличие от Синявского – в концлагере не сидел, а ведь именно там советские граждане получают высшее политическое образование!

Во всяком случае, два имени из моего списка знакомы Синявскому наверняка: Петр Якир, историк, один из лидеров правозащитного движения в 1969 – 1972 годах, и академик Сахаров, в прошлом – создатель советской водородной бомбы и ныне – лауреат Нобелевской премии мира.

Однако Синявский исключил и того, и другого из «диссидентского движения»: ведь оба – не «деятели литературы и искусства»! Тем самым Синявский намеренно распространил дезинформацию, публично высказал заведомую злоречивую ложь, возвел – минимум на двух человек – напраслину, поклеп.

Вот, собственно, и всё по поводу Андрея Синявского – в связи с его пространным (и престранным) интервью для газеты «Die Zeit».

Остается, впрочем, еще один вопрос: а при чем тут Достоевский, зачем Синявский потревожил тень великого правдолюбца и провидца? А вот при чем, а вот зачем: Синявский попросту прячется в тень Достоевского, она нужна ему, как укрытие.

Это теперь модно: прятаться в чью-нибудь тень. Некий Гидони (или Гнидони, запоматывал фамилию) из провинции Торонто не только присвоил своему сволочному «свалочному журналу»<sup>\*</sup> пушкинское название «Современник», но кощунственно украсил его обложку силуэтом Пушкина. Гидони-Гнидони явно пытается укрыться в тени Пушкина. Но тщетно: его выдает дурной запах. Так же, как и Синявского.

И, под занавес, еще одна, последняя цитата.

«Я: Что поразило вас более всего в русском крестьянине?

Он: Его опрятность и свобода».

А. С. Пушкин. «Разговор с англичанином о русских Крестьянах»

Этот разговор произошел в жесткое – но по иной, не советской шкале! – царствование Николая I.

Но господин Синявский не различает шкал: микроватты ли, киловатты – всё едино.

Впрочем, при, мягко говоря, политическом дальтонизме это и неудивительно.

*Юрий Иофе*

---

<sup>\*</sup> Это точное определение принадлежит обозревателю из «Русской мысли покойному М. Сергееву-Рафальскому. Полностью с ним согласен. Кстати, это и единственное, а чем я согласен с этим литературоведом.

Г-н Максимов\*.

Читая вашу «Сага о носорогах» просто диву даешься, как это вы ухитряетесь строить из себя поборника истины, называя себя русским да еще верующим и предавать русский народ.

Вот например: ваш ответ г-ну Д (очень сомнительно, что вами действительно было получено такое письмо, скорее всего это уловка, что бы васказатьсь). Ничего более подлого еще ни кто не отважился написать: «Октябрь делали не только русские люди, не одни только русские люди работали в ЧК и т. д. и т. д.» противно даже цитировать. Ведь даже сами евреи не напишут так. Обычно они говорят: «Ведь не одни же мы, с нами были и другие нац. меньшинства и русские тоже». Это далеко от истины, но все таки приличнее. А вы, ведь не можете же вы не знать, что революция делалась в основном евреями, даже 200-300 тысяч евреев приехало из США помогать русским евреям делать революцию и уничтожать русский народ. Как же у вас поворачивается язык так нагло лгать. Вот вы удивляетесь почему многие народы стремятся у себя в стране сделать революцию ведь мол в России она не удалась (от себя прибавлю, что пользу от революции получили только одни евреи и многие из них это признают.

Революции будут продолжаться, хотя бы потому, что в каждой стране найдется нечисть (в России ею оказались евреи и примкнувшие к ним), которым будет выгоден переворот. Вот если бы вы, гуманист, поборник свободы и какие титулы вы себе еще приготовили, говорили миру, что революции – это Зло и России она была не нужна. Все имеющиеся недостатки можно и нужно было устранить мирным путем, тогда к вам могли и прислушаться. Но вы упорно твердите, да революция была нужна. Стыдитесь Максимов. Вот интеллигенция дореволюционной России была пропитана еврейским

---

\*Письмо публикуется полностью и в правописании автора.

духом и что из этого получилось. Евреи, придя к власти, уничтожили своих помощников в первую очередь. К сожалению интеллигенция наших дней также вся проевреенная. Вы обижаетесь, если вас не поддерживают, потому что диссиденты не являются представителями России. Но разве это не так. Диссиденты – это евреи третьей эмиграции, ну подумайте какое они имеют отношение и к России и к русскому народу. Ведь интересы русских и евреев диаметрально противоположны друг другу. Евреи стремятся сесть на шею народам среди которых они живут, а русские стремятся освободиться от их ига.

Вы упоминаете о «морской болезни». Это как раз относится к вам-диссидентам, писателям, художникам. Нам бы русским ваши заботы. Скажите какая трагедия, когда кто то из вас не может протолкнуть свое произведение в печать. Большинство среди этих запрещенных либо чистейшая парнография, либо хвала еврейству. И народ СССР ничего не выиграет если вам позволят выпускать ваши книги, скорее наоборот.

Вы говорите, что следует разоблачать зверства сталинизма. А это значит если писать правду то писать о евреях. Ведь они и только они и придумали и организовали эти побоища, эти лагеря смерти. То уж если разоблачать то начинать надо с них. Ну как, это вам подходит. Конечно нет. Ведь евреи по словам Агурского, отец которого приехал в числе этих 200-300 тысяч евреев, кровавых помощников революции, это символ страдания человечества. Вот уж поистине низкий тип.

Теперь о вашем Сахарове. Опозорились вы с этой кандидатурой, особенно после его дурацкой голодовки, что отлично высмеял ваш же единомышленник Зиновьев в «Гомус советикус». Ведь только у евреев такое может случиться. Ехал отпрыск Боннер с женой на Запад, провожали его сердешного и родительница и НЕВЕСТА ЛИЗА. В Америке не ужилась молодая пара, распалась нежная семья, но горевать молодцу не

пришлось долго – невеста то Лиза, вот она – ждет недождется своего суженого. И дождалась ведь, поголодал великий диссидент не зря. А что было бы, если бы жена не покинула сыночка Боннер, сидеть бы бедной Лизе и лить слезы. Ведь нарочно не придумашь.

А сейчас по следам советской прессы совсем Боннер-злодейка забила великого диссидента, так он и ходит болезный с синеками. Был когда то человек ученый и вот связавшись с такой супружницей, что получил. Смех да и только. И вот такого человека, который вызывает и жалость и смех вы прочите в вожди.

Вы сами г-н Максимов из носорогов носорог. Я как то писала в редакцию вашего журнала в защиту г-на Рафальского, ныне покойного, от одного озверевшего еврея, так вы на мою голову послали чуму. Неслишком ли часто вы шлете проклятия. Смотрите как бы они не вернулись на вашу голову.

*Р. Рожсковская*

Р. S. Вы говорите, что хорошо знаете отечественную историю, а знаете вы ровно столько сколько евреи позволили вам знать, не больше. Прочтите книгу русского патриота В. Шульгина «Что нам в них не нравится», узнаете то, что евреи скрывали и скрывают от русского народа.

*ОТ РЕДАКЦИИ: Русофобским откровениям известного литературоведа Синявского, процитированным в письме Юрия Иофе, мы намеренно противопоставляем юдофобские откровения никому не известной эмигрантки из Нью-Йорка, ибо, при всей, казалось бы, полярной разнице уровня, стиля и грамотности этих откровений, их объединяет общий тон почти патологической злобы и человеконенавистничества. В связи с этим мы считаем необходимым вновь напомнить нашим читателям о все возрастающей, как в эмиграции, так и у нас на родине опасности:*

**– ВНИМАНИЕ: ОБЫКНОВЕННЫЙ РАСИЗМ!**

Уважаемый Владимир Емельянович!

Журнал «Континент» является сегодня мировым форумом свободной и демократической мысли. Тон и содержание публицистики журнала определяется теми, кто пишет, свободно излагая свои взгляды. Эти взгляды не могут не раздражать тоталитарно мыслящих.

В связи с этим, письмо «ведущего инженера одного из НИИ Ленинграда», напечатанное в № 38 «Континента», можно расценивать двояко:

1. Как мнение человека, изложенное честно и откровенно.

2. Как замаскированную попытку прямых оппонентов журнала дискредитировать авторов «Континента», изобразить их «некомпетентными», пишущими «домыслы», искажающими факты, плохо владеющими языком.

Какое бы из двух объяснений Вы ни приняли, я прошу Вас обратить внимание на следующие факты. Ведущий инженер заявил, что он не может согласиться с тоном и содержанием публицистики «Континента». Такое несогласие возможно, если инженер знаком с изданиями, тон и содержание которых его удовлетворяют. Такими изданиями для человека, живущего в СССР и не пользующегося секретными фондами КГБ, является советская пресса во главе с «Правдой». Очевидно, тон и содержание этих изданий инженера не беспокоят, поскольку ряд своих заключений он делает в духе традиций этих изданий. Например, автор письма пишет: «Применение Советским Союзом химического оружия в Афганистане, как известно, пока не доказано». Действительно, в советской прессе это не доказано и никогда не будет доказано, точно так же, как расстрел Советами польских военнопленных в Катыни или участие КГБ в покушении на Папу. Однако для Конгресса и президента США факт применения химического оружия в Афганистане не подлежит сомнению. Я прилагаю к своему письму копию «Бюллетеня Комиссии по без-

опасности и сотрудничеству в Европе» (Конгресс США), подтверждающего применение химического оружия в Афганистане, на что указывает в своем заявлении и президент Рейган.

Инженер также пишет, что в статье «Сахаров и Си-Би-Эс» («Континент» № 30) автор, С. Караванский, «как будто склоняется к запрету» совместных американо-советских передач. Но это, пользуясь терминологией автора, ни на чем не основанный домысел. Ни о каком запрете в моей статье не говорится. Что же касается самого ведущего инженера, то он не «как будто», а на самом деле «склоняется» к попыткам выгораживания СССР. Вот его слова: «Договор с Францией 1934 года тоже трудно считать нарушенным, т. к., строго говоря, нападения Германии на Францию не было: Франция сама объявила войну Германии после нападения Германии на Польшу». Какая академическая детальность! Франция, видите ли, виновата, что она выполнила свой долг по отношению к союзнику и объявила войну агрессору! СССР же не виновен в том, что вместе с Германией оккупировал союзника Франции! Аргумент, которому может позавидовать «сам» Андрей Громыко! Довод, который можно встретить на страницах «Правды»! Этим же аргументом оперирует и ведущий инженер. Далее он оправдывает невыполнение СССР резолюций ООН и Хельсинкских соглашений, что с одинаковым успехом могут сделать и «Правда» и «Известия».

После такой защиты с позиций ТАСС поведения СССР на международной арене автор упоминает ряд мало актуальных сегодня нарушений Союзом ССР своих договоров, а также нарушение некоторых менее значительных конвенций. Ради достижения цели нужно идти и на жертвы. А цель, по-моему, одна: дискредитировать «Континент». Ибо как иначе объяснить целый ряд придирок к статьям и авторам? Инженера все раздражает в наших статьях. Создается впечатление, что

он «ищет костей в молоке», чтобы изобразить нас «некомпетентными». И это достигается путем мелочных придирок. Не «член», а «сотрудник», не «Хельсинкские соглашения», а «Хельсинкские договоренности» (ведь так называл их Брежнев!). Дело же не в слове, а в содержании. Автора раздражает содержание, о чем он заявил сразу.

Если статья на позицию инженера, то в его «указующем» и «дополняющем» письме тоже есть неточности. Автор пишет: «Договор с СССР о взаимопомощи с Чехословакией 1939 года не был нарушен Советским Союзом». Но Чехословакия не могла заключать договоры в 1939 году: она была оккупирована еще в 1938 году. Договор же с СССР был заключен до 1938 года. Но я не вижу в выискивании описок и мелких неточностей материала для дискуссии. Инженер же свое письмо построил именно на таком выискивании. Такая тенденция, вместе с его заявлением, что его не устраивает «тон и содержание» публицистики «Континента», заставляют сомневаться в его искренности.

Публикуя такие письма, «Континент» соблюдает принцип демократичности. Было бы желательно, чтобы и советская пресса стала на такой путь, публикуя письма тех, кто не согласен с ее тоном и содержанием. Случится ли это когда-нибудь?

С уважением,  
*Святослав Караванский*

13. 2. 84

# Критика и библиография

## *ВЗГЛЯНУТЬ СЕБЕ В ЛИЦО*

Для ученого, занимающегося тайнами человеческой личности, да и просто для человека, желающего понять новый феномен – «советский человек», или, в данном случае, «советский интеллигент», – книга Р. Орловой имеет все данные стать научным экспонатом, таким, который принято называть «чистым экземпляром». Например, наглядным пособием к книге Р. Арона «Опиум для интеллигенции», в той ее части, которая касается интеллигенции по ту сторону «железного занавеса».

Вряд ли даже когда-нибудь можно будет говорить об обобщенном типе советского интеллигента. На протяжении всех более чем шести десятилетий советской власти интеллигенция не была однородной, не только поколения отличаются одно от другого, но часто даже разница в пять – десять лет играет немалую роль. Думается, что следовало бы различать, а не считать синонимами два несовпадающих понятия: интеллигенция советского периода и собственно советская интеллигенция, т. е. такая, которая ближе всего к «идеалу», каким его себе представлял, скажем, т. Сталин.

И здесь снова приходится возвратиться к понятию интеллигенции вообще. С ним произошла та же уводящая от первоначального смысла трансформация, что и со многими другими понятиями. Не будем опускаться к самым истокам, возьмем его таким, каким оно выкристаллизовалось в русской культуре к началу нашего века. Когда впервые было произнесено «интеллигентский орден», то общность эта, в первую очередь, определялась каким-то, пусть не очень ясным, трудно передаваемым словами, пониманием высшей духовности, более высокого определения интеллекта или, если угодно – а я именно так и понимаю, – а р и с т о к р а т и ч н о с т ь ю мышления. Именно на такой основе к подобному ордену могли принадлежать князь и разночинец, богослов и земский деятель. Но чуть ли не сразу это понимание интеллигенции

---

Р. Орлова. Воспоминания о непростедшем времени. Анн Арбор, «Ардис», 1983.

перекрыло, перекричало другое – «революционная интеллигенция». Это она присвоила себе орденские права, в результате чего все свойства ордена стали походить на партийные, с делением на «левых» и «правых», тех и других «крайних», «наших» и «чужих». Постепенно выпало и определение «революционная». Снова осталось только «интеллигенция», но теперь уже, так сказать, имманентно революционная. Да так и закрепилось, как будто другой и быть не может.

Но и не всю эту интеллигенцию, не говоря уже о «старой», можно было пускать в социализм, куда имели право на вход только лучшие из нее да еще те, кто уже подрос, воспитанные этими лучшими. Ко второй половине 30-х годов эта работа в общих чертах была проделана. Мало того, что т. Сталин объявил социализм построенным, он еще мог в выступлении по поводу провозглашения новой Конституции с удовлетворением констатировать, что «старой интеллигенции у нас больше нет», старой ли орденской или революционной. К 1937 году выросла новая интеллигенция, которая уже принимала жизнь как данность и именно ее и считала «нормальной». Это был период, который по ассоциации с названием известного документального фильма можно было бы назвать «обыкновенный социализм», растянувшийся, условно, до середины 50-х годов. Вот об этой «советской интеллигенции» и рассказывает книга Р. Орловой.

Мне снова хочется подчеркнуть, что книга эта не об интеллигенции этого периода, а только о ее ядре, элите, «новых интеллигентах». Лет через тридцать им не захочется выделять себя в особой подразделение, им легче будет укрыться под сенью «советской интеллигенции». Но уже только один пример, что в одно и то же время жили они и Домбровский, проводит четкую границу между «новым интеллигентом» и «интеллигентом советского периода». Этих новых глубоко уязвит книга А. Белинкова «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша». Они почему-то увидели себя, а потому как же не оскорбиться, не задохнуться от обиды, не столько за Олешу, сколько за себя. И, благородно негодуя, тем самым как бы включали Олешу в свои ряды («наших бьют»!) или, наоборот, поднимали себя до него. Тут слово «советского» их смутило. Но Олеша к ним не принадлежал – его место было в ряду Пастернака и Платонова, Тынянова и Эйхенбаума, Бахтина и Шостаковича... У этого ряда есть одно определяющее

свойство, какого у новой интеллигенции не было: им всем было что с д а в а т ь. И если вышеназванные, как и немалое число других, что-то сдавая, сумели большее сохранить и создать большее, то Олеша отдал, с д а л все в обмен на агонию многих десятилетий физического выживания.

Роман, и прекрасный, на тему предпочтения физического выживания духовному и культурному уже написан – это «Пушкинский дом» А. Битова. Конечно, очень условно Ю. Олешу можно приравнять к милому, славному, умненькому и такому знакомому Леве Одоевцеву. Ведь Лева – уже вроде из другого даже времени и как бы из «новых», но он – особый, редким судьбинным везением быть, сохраниться звеном тянущейся цепочки рода, традиций, духовности и культуры, на нем же и оборвавшейся. Им, таким разным: реальному Ю. Олеше и литературному герою Леве Одоевцеву – было что сдавать.

Новой интеллигенции, начавшейся с поколения Р. Орловой, сдавать в смысле ценностей – духовных ли, материальных – было нечего. Так что белинговская «Сдача и гибель...» – не о ней, не о ее представителях. Они уже полностью формировались при советской власти и, как говорится, «другой такой страны не знали». Как пишет Орлова: «Я никогда не была беспартийной», – и это, пожалуй, должно составить основу понимания, что такое «советский интеллигент» периода обыкновенного социализма. Его мышление глубоко партийно, независимо от того, сохраняет ли он партийный билет до конца жизни или бросает его на стол, в глубине души считая, что он просто лучший, чистейший коммунист, нежели та банда, которая считает себя партией.

Обыкновенный социализм внешне даже напоминает нормальную жизнь. Заполнялись вузы, рабочие и колхозники выполняли и перевыполняли планы, писались книги, издавались журналы, сочинялись радостные песни, затуманивались романтикой глаза поющих о бригадине, поднимающей паруса, молодые «пели и смеялись, как дети». Правда, кое-кто, может быть, даже из тех, кто «с веселой песней по жизни шагал», в свободное от песен время собирали передачи, стояли к окошкам тюрем и других соответствующих учреждений, но ведь и в нормальной жизни тюрьмы не пустуют. В общем, жизнь как жизнь, своя юность, дружбы, любви, горести, работа, встречи, разговоры, споры...

Недавно мне довелось прочесть прочесть один прелюбопытный киносценарий. На некоем острове С., в некоем теплом море, некто, то ли писатель, то ли художник, но главное, что человек из нормального мира, волею обстоятельств попадает в эдакий милый дом и в еще более милое семейство, большое, как и все семьи на этом острове. И задерживается там. Внешне все как бы нормально: члены семейства едят, пьют, любят, ненавидят, ссорятся и мирятся, спорят, выясняют отношения. Пообвыкнув, незнакомец начинает даже принимать участие в семейных делах, иной раз его как человека нейтрального просят рассудить, кто прав, кто нет в семейной ссоре. При этом и слова употребляются все нормальные: честь, честность, верность, доверие и т. п. Иногда во время его отлучек в ближайший город или на «большую землю» его просят что-то отвезти или передать на словах. И, будучи человеком предельно порядочным, он ни разу не взглянул на содержимое передаваемого, как и не вдумывался в смысл устных поручений. Короче, много проходит всяких эпизодов на добрых три часа киновремени. Но к концу сюжета что-то происходит и один из сыновей семейства попадает в тюрьму. Герой же наш, кому именно этот брат стал другом кровным, вызывается выступить в суде свидетелем защиты. Подготавливает душевраздирающую речь о честности, благородстве, отношении к семье и детям и т. д. И только постепенно, в ходе суда, открывает для себя, что прожил долгое время в одном из самых сильных кланов островной мафии, какими (как и семействами) славится этот остров. Самому ему теперь грозит статья по обвинению в сообщничестве, ибо в нормальном обществе незнание законов не освобождает от наказания.

Вот так и новый интеллигент в стране победившего социализма жил, не зная, что живет в системе с изначально криминальной государственностью. И принимает именно эту жизнь за нормальную. Тогда все, как у людей. ИФЛИ – «коммунистический лицей» (и до сих пор с какой же почти нескрываемой гордостью звучит у автора это определение), ВОКС – «культурные связи», журнал «Иностранная литература» (и это при Чаковском!) – и долго, что-то слишком долго остаются они молодыми, долго не кажется им ни странным, ни противоестественным, что от их, не имеющих никакой литературной ценности рецензий, летят чьи-то головы, закрываются журналы, что от их честности – ну, как иначе назовешь, конечно, чест-

ность – исчезает человек, да ведь так себе и человечешко-то был. Нет ужасающих предательств, чудовищных поступков, кошмаров самобичевания – все по мелочам, только с каким-то легким, но ощутимым все же налетом подловатости. Конечно, что-то, им самим непонятное, время от времени беспокоило их, какое-то несоответствие, и они чувствовали, но отмахивались от этого беспокойства, находя оправдание в чем угодно.

Правда, на этот же период пришлась вторая большая война, да ведь и она в жизни нормальных-то государств в каком-то смысле явление нормальное, неизбежное что ли. К слову сказать, психологическое отношение к войне еще и до сих пор не изучено – кто-то, может и впрямь, шел защищать «завоевания советской власти», кого-то, может, вдохновили подвиги Суворова или возрожденная по приказу вождя память об Иване Грозном. Но сколько же было и таких, как власовский генерал, бывший секретарь одного из московских райкомов, который на вопрос, зачем он вообще пошел на войну, мог бы и пересидеть, а затем еще и перешел к Власову, отрезал: «Надоело ежедневно, ежечасно, ежемгновенно г о р е т ь». Но настоящий новый интеллигент продолжал гореть.

Вот его, горящего, и сегодня можно безошибочно узнать по одному признаку – по чаще всего употребляемому им в речи безличному наклонению: «нам говорили», «нас убедили», «нас обманули», «было запрещено», «было разрешено», «если бы нам позволили» и т. д. во всех речевых оборотах. Заметим, что речь идет не о простых, полуграмотных мужиках, а о тех, кто причисляли себя к интеллигенции.

Представляется интересным отметить, что на протяжении всей этой довольно объемной книги воспоминаний автор не применяет по отношению к себе и людям своего круга слово «страх». У них страха не было. У них все было чисто и возвышенно: вера, слепота, святое непонимание, энтузиазм – короче, все, что угодно, кроме страха и вытекающей из него трусости. Но, тем более, еще ни разу не произнес сегодня тогдашний новый интеллигент слово «глупость». И хотя автор клянется, что ничего не хочет оправдывать, а всего лишь объяснить их, тогдашних, для лучшего понимания потомками, но уже одно то признание, что ту свою жизнь они не променяли бы ни на какую другую, на самом деле говорит о желании быть оправданными, прощенными. Как плакал пьяными слезами Я. Смеляков после доклада Хрущева: «Да если признать все это

за правду, то ведь вся наша жизнь – ничто, одна только глупость, оправдаться за которую можно только пулей в лоб». Им и сегодня не хочется признавать это.

Книга писалась на протяжении чуть ли не двадцати лет. Казалось, можно было бы поразмыслить в более широких категориях о ВОКСе, нежели в понятиях «культурных связей», пусть даже «некультурно» осуществляемых. Ведь ВОКС – один из главных форпостов советской пропаганды на границу и, как говаривала другая сотрудница этой уникальной синекуры, крыша и кормушка для всего коммунистического и попутнического сброда мира, а она знала, что говорила, ибо подвизалась там по бухгалтерской части. А теперь, рассказывают, еще и террористического, что, впрочем, также было всегда. Конечно, можно ограничиться именами Л. Хеллманн и ей подобных или письмами любимому писателю Р. Роллану. Но та же организация принимала «неистового» Сикейроса, в послужном списке которого числится среди прочего руководство хотя и неудавшимся, но невиданным дотоле по массированности покушением на Троцкого. И таких «культурных голубей мира» проходило через ВОКС куда больше.

Можно было бы и над «Иностранной литературой» подняться повыше, равно как и над ее главным редактором, фигурой не менее нерукопожатной, чем редактор другого бесславного журнала. Тут веселые мальчики в эмиграции навесили редактору нашего «толстого» журнала ярлычок: «любимец (выкормыш) Кочетова», и за что? За четырехмесячное (!!) состояние, формальное и полубеспамятное, в редколлегии «Октября» – самый, на мой взгляд, трагикомичный эпизод в биографии Кочетова, когда этому «самостийнику» (выражение Эренбурга из книги Орловой) вдруг захотелось тоже стать, подумать только, либералом. С такой же усмешечкой звучит у другого нового интеллигента вослед бывшему сошарашечнику: «любимец Хрущева». Тогда чего уж там, давайте всех сталинских лауреатов называть «любимцами Сталина» – и тогда среди этих любимцев окажется не только С. Бабаевский, но и В. Некрасов. И хотя автор много страниц уделяет иностранной литературе, например, Хемингуэю и Ремарку, ни тот, ни другой не пришли к советскому читателю со страниц «Иностранной литературы» того времени, когда автор сама там работала. А о том, что пришло, пожалуй, сегодня лучше и не вспоминать.

Воспоминания эти можно, несмотря на литературный пример «переплетения», разделить на две части: о себе и о других. Во всем, что автор пишет о себе и о себе подобных, можно согласиться, что автор честен, хотя честность эта особого свойства, какое допускает, например, демократическая юстиция – признаться в меньшем преступлении, нежели на самом деле совершенное, а соответственно получить меньшее наказание или даже отпущение грехов. Можно согласиться, что автор даже беспощаден, хотя беспощадность эта, если можно так выразиться, элегантная, как будто святое неведение как бы уже и оправдывает и страх и глупость. Но невозможно для меня отдать им право на суждение о неподобных им.

Когда-то отдельно напечатанная главка из этих воспоминаний о Ф. Вигдоровой вызвала чувство глубокой благодарности, но теперь, прочитанная в контексте книги, позволяет понять, что вырванными из контекста могут быть не только отдельные фразы или цитаты, но и целые главы. Все как-то уж очень уравнивается, уравнивается. Например, сначала о весьма неприглядной стороне литературной деятельности Т. Мотылевой, но тут же уравнивающая гирька о том, скольким людям – уж не своим ли жертвам – она помогала. Казалось бы, всего лишь легкое упоминание, что, мол, вот и Вигдорова отдала «дань» системе, или «психологическая» деталь, какой серой и неинтересной показалась автору она при первом знакомстве (ах, как они ценили в людях и в себе внешнюю яркость) где-то в начале 50-х годов, и вот уже чуть ли не уравнена Вигдорова с Мотылевой. Или о Галиче. Видимо, уже по инерции повторено и расширено, каким был Галич до своих песен, хотя если чуть-чуть вдуматься, то станет ясно, что «грешил» он не столько данью системе, сколько халтурой, даже и той не без вкуса, а это грех его перед искусством, а не системой. Когда же нет возможности сказать о «дани», как с Белинковым, надо пройти по его моральному облику, привести примеры «некрасивого» мужского поведения, даже и тут не понимая, что в таких делах людям судья – только Бог. Писать же, что по советским стандартам Белинков в середине 60-х годов «благоденствовал»: квартира (даже с деталью: «бесплатная»), третье издание «Тынянова», две поездки за границу – вот это-то я и называю подловатостью. Это на каком же году его окаянной жизни, да и насколько же всего этого хватило?! Главу о Белинкове в этих воспоминаниях иначе, как возмути-

тельной, назвать нельзя. И не потому, что автор не согласен с Белинковым в его оценке Ю. Олеши, а вот именно из-за подобных литературно-психологических деталей. Вплоть до мельчайших, вроде барственно-капризной манеры, хотя автору и всем, кто знал Белинкова, было известно, что он очень больной человек, боли мучили его постоянно, а больной всегда выбирает себе такую позу или манеру, в какой вот эта боль меньше всего чувствуется. Это почти как с Троцким, когда люди, не знавшие его близко, но с богатым воображением, принимали его почти постоянную гримасу недовольства за недовольство происходящим, хотя это чаще всего была гримаса физической боли.

Да Бог бы с ними, с деталями, если бы они не составляли единственный противовес в развенчании значения книги Белинкова по дешевому принципу – а сам какой?! Легче всего принять для нового интеллигента, что Белинковым ли, Солженицыным или еще кем-то руководит животная ненависть ко всему советскому. Он как будто не понимает, не хочет понимать, что, кроме ненависти, существуют и другие чувства или эмоции: гнев, боль, жалость и т. д. Сравнить Белинкова с Белинским можно только по пяти первым буквам фамилий. Белинский против Пушкина, Белинков против Олеши – да неужели же Пушкин приравнивается к Олеше?! Да ведь уже и это было. В памяти всплывает платоновское: «Горький – это Пушкин нашего времени», написанное когда? – да все в те же непрошедшие времена, в самом конце 30-х годов...

В. Гроссман назвал свой последний роман «Жизнь и Судьба», разом проведя черту между этими двумя понятиями. Не хочет принять новый интеллигент, что у Солженицына и Белинкова, Пастернака и Ахматовой, Вигдоровой и Галича была Судьба, а вот у него только Жизнь. Невозможно ему понять разницу перехода черты и всего лишь приближения к ней, ему хочется – это-то и называет он «плюрализмом» – сидеть на всех стульях сразу.

Лет двадцать, да нет, пожалуй, больше, назад у замечательного писателя и человека Б. Вахтина была подготовлена рукопись совершенно удивительных и необычных то ли сказок, то ли притчей. Первая из них начиналась так: «Я никак не могу заглянуть себе в лицо...», и дальше шло описание немыслимых фортелей, какие рассказчик проделывает, чтобы достичь желаемого. Как последнее средство он выби-

рает бег: «Вот я бегу и все же никак не могу заглянуть себе в лицо. Может, мне побегать еще быстрее?» Вот эта абстрактная, на первый взгляд, сентенция как нельзя лучше подходит к нашей мемуарно-биографической литературе. Следует оговориться, что речь идет не о жанре, ибо у жанра есть свои законы, как бы туманно они ни были определены. Поскольку же большинство мемуаристов в случае чего всегда может сослаться на то неоспоримое обстоятельство, что они – не писатели, то судить их книги по законам жанра было бы неправомерно. Правда, надо признать, что те из них, кто до конца помнит это обстоятельство, пишет гораздо ближе к жанру, как, например, П. Григоренко или Р. Пименов, чем те, для кого оно лишь своеобразная форма литературного кокетства. Вся эта, уже довольно обширная, литература убеждает, что заглянуть себе в лицо можно, хотя сие случается чрезвычайно редко, но что бег как средство тут совершенно бесполезен. Под «бегом» в данном случае можно понимать нагнетание больших, маленьких и совсем крошечных жизненных происшествий и даже своего рода «откровений», людей, фамилий и т. д. Подобно тому, как такой вот «бег» Эренбурга в его «Люди, годы, жизнь» или катаевского «Святого колодца» не помог ни тому, ни другому заглянуть в лицо ни себе, ни своему времени. Как не помогает он и автору воспоминаний о непрошедшем времени – для него это время никогда не пройдет.

*Е. Брейтбарт*

### *О РОМАНЕ ЮЗА АЛЕШКОВСКОГО «КАРУСЕЛЬ»*

Лет пять тому назад, когда Юз Алешковский только покинул СССР, в одном из русских зарубежных журналов появилась заметка, где о его работе сказано было так: «В творчестве Алешковского проявила себя жизнеутверждающая народная стихия, смехом заклинаящая тоталитаризм». Невзирая на многосложные причастия, что по свойственной им привычке обожрались несвежими – ЩАми, рецензент практически не ошибался. Только, пожалуй, заклинает Алешковский не сме-

---

Юз Алешковский. Карусель. «Писатель-Издатель», США, 1983.

хом, а – добром. Добром – во всех его проявлениях: от стопки водки, поднесенной несчастному и одинокому стукачу, до спасения души и жизни.

Когда читаешь Алешковского, – при всей несравнимости масштабов, – приходит на ум фраза булгаковского Иешуа-Иисуса: «Если бы с ним поговорить, я уверен, он резко изменился бы». Напомним, что речь идет о Марке Крысобое, которого сам Пилат назвал холодным и убежденным палачом.

Алешковский говорит по-всякому: базлает, ботает, треклет, хрипло и печально шепчет в самое ухо, захлебывается от хохота; иногда – речет, вещает, но тотчас же стеснительно хмыкает. Но что бы он нам ни говорил (ботал...) – невероятное, немыслимое количество д о б р а буквально обрушивается на нас, какие-то световые гирлянды опутывают по рукам и ногам, мягко спружинивают, не давая свалиться в черную бездну; искаженные, смрадные, лживые, в дребезину обезбоженные существа, попадая под слово Алешковского, как бы взрываются изнутри ослепительным ассистом...

В романе «Карусель» Алешковский еще, пожалуй, пуще прежнего настойчиво обстраивает нас добром. Здесь он не опасается даже «лозунга», сентенции, а хоть бы – и призыва. Читаем: «Держитесь, мужики, держитесь, не унывайте, пока живы мы еще, всем чертям и бесам мира с нами ничего не поделать, а если помрем, то не поделать тем более. Держитесь, оставаясь людьми, держитесь, бесконечно униженные насилем, произволом, хворями и голодухой, держитесь...» Заключительная часть этой цитаты будет нами вскоре повторена – и продолжена, а покамест посмотрим дальше: «...чувствую вину и сладостный страх перед непостижимостью человеческой души, способной, рискуя собственным существованием, вытащить из могилы другого». Полагается отметить, что все это произносит не автор, а персонажи «Карусели», но нужды нет – иначе и быть не может. Более того: вне контекста слова эти звучат как будто чересчур в лоб, но в романе вышеприведенные «лозунги и призывы» впрямую противопоставлены гнусной шелупине всяческих «Давай-давай!», «Даешь!!», «Внешнюю (и внутреннюю) политику нашей партии беззаветно одобряем!!!» и прочему подобному. И вот такая жесткая стыковка, вместо того, чтобы «по теории» превратить роман – в декларацию, напротив – придает некую дополнительную отте-

ненность и проработанность стилю, фабуле и собственно сюжету романа.

Для меня Алешковский – моралист и дидакт и к в самом что ни на есть лучшем и первозданном смысле этих понятий. И чем вольготнее ему в тексте, в избранном им труднейшем роде романа-монолога, тем непротиворечивей и изящней всяко лыко идет у него в строку – и бытовые историйки, и уголовные хроники, и какие-нибудь этакие «религиозно-философские абзацы», выполненные чуть ли не на арго: «И хоть город наш дрянь и хозяйничает в нем изворовавшееся и изолгавшееся дерьмо, жизнь везде есть жизнь и главное все-таки, скажу вам от чистого сердца и громадного опыта, больше любить ее, чем ненавидеть всякую шушеру (шоблу)...»

Больше любить, чем ненавидеть. От чистого сердца и громадного опыта.

Как видим – все на своем месте.

Несколькими строками выше говорилось о избранном Алешковским труднейшем роде романа-монолога. Но дело, кажется, еще заманчивей и опасней: Алешковский (возможно, что и неосознанно) движется к созданию так называемой б е л о й л и т е р а т у р ы. Термин этот – не филологический, а, если угодно, мистический, так что речь идет о подразделе белой магии, как антипода магии черной. Книга белой литературы «заклинает и поборяет» темные силы... Короче говоря, такая книга – по выражению Цветаевой – равна добром делу.

Я бы не рискнул забираться в столь двусмысленные дебри, если б не один эпизод из «Карусели». Герой книги Давид Ланге (может быть, лучше не герой, а повествователь?) оказывается в психушке в соседстве с людоедом.

«Помню, в начале людоедского рассказа я чуть не сблевал от чувства гадливости и иступленного гнева своего сердца и с трудом спросил:

– Как же ты мог пойти на такое?

– Советская власть приучила, – с глубоким убеждением и прискорбным вздохом, как человек, внушающий себе, что нет его личной вины в чем-либо ни капельки, ответило людоедиче (обратите внимание на средний род: ответил О! – Ю. М.) – Она и только она! – повторил он упрямо. – Разве не она голоду устроила по всем деревням в нашей области? Она! ...па-

паня сказал: «Будя! Поели вы нас – теперича мы вас пожуюм маленько!» (Это – известная цитата из классика Великой французской революции: голодный имеет право съест сытого.)

Но готов ответ у Алешковского: «Держитесь, мужики, держитесь, оставаясь людьми, держитесь, бесконечно униженные насилием и произволом, хвоями и голодухой, – и тогда десяти сталиным и шести советским властям не выжечь души, как бы неистово не пытались они сделать это, ни в человеке, ни в народе».

А затем – и начинается то, что я решился назвать белой литературой: Давид Ланге собрался было собственноручно казнить чудище, но теряет сознанием. Людоед приводит его в чувство.

«– ...я тебя откачал,... а ты меня все же пореши. Ждать неохота, когда подохну. Тошно ждать.

– Довести меня до того, что я тебя прикончу – не доведешь. Не пожалею я тебя и греха на душу не возьму. За то, что привел в сознание, спасибо. Дошло?

Михей с готовностью задержал, закивал своей башкой... Уткнулся лицом в подушку и тихо завыл: он плакал. (Уже не о н о, а о н, человек? – Ю. М.). Плакал зверь, а в сердце моем начало шевелиться чувство, опередившее ехидное мстительное злорадство – безрассудная жалость, и жить в эти минуты от наличия его в сердце и от сознания, что обращено оно к твари, не имевшей, на мой взгляд, права на сострадание, было неизменно горестно, тяжело и непонятно».

Безрассудная жалость, или – как говаривали в древности иудейские учителя: л ю б о в ь з а д а р о м, к о т о р а я с п а с е т м и р.

Возможно, следовало бы разбираться с «Каруселью» в несколько ином ракурсе. Сказать нечто о «винтовой» композиции романа, ибо «Карусель» не «просто» роман-монолог, но роман в письмах. Точнее – в одном письме с продолжением. И продолжения эти необыкновенно ловко сцеплены друг с другом, образуя чуть ли не «корону сонетов». Но начав цитировать прежде всего «морально-философское» и только изредка вклиниваться меж цитатами, – так же придется и завершить: строками, которые Алешковский выделил курсивом.

*«...свобода это – доверчивое следование судьбе, свобода –*

*абсолютное доверие Богу, и благодарность Ему за все, то есть за судьбу, наверно, и есть счастье».*

Согласен.

*Ю. Милославский*

Единственная ежедневная русская газета  
за рубежом

## **«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»**

выходит в Нью-Йорке, США, с 1910 г.

Главный редактор **Андрей Седых**

«Новое русское слово» регулярно печатает документы самиздата, протесты из СССР, произведения лучших эмигрантских писателей, публицистику и прочее.

Подписная цена 70 долларов в год,  
35 дол. — 6 месяцев

Воскресное издание — только 35 дол. в год

Годовая подписка воздушной почтой  
(пачками по 6 номеров) — 150 долларов в год

Подписку с платой направлять по адресу:

519 Eight Avenue, 5th floor, NEW YORK CITY, N. Y. 10018 USA.  
NOVOE RUSSKOYE SLOVO

## «НОВЫЙ ЖУРНАЛ»

Редакция: Р. Б. ГУЛЬ (гл. ред.), Ю. Д. КАШКАРОВ,  
Е.Л. МАГЕРОВСКИЙ

**154-я книга. СОДЕРЖАНИЕ:** *Р. Гуть.* 65-летие А. И. Солженицына. *С. Яворский.* Ограбленные боги. *Ю. Кашкаров.* Муром. СТИХИ: *О. Анстей, В. Перелешина, О. Ильинского, И. Чиннова. М. Дубинин.* «Жестокий век» Пушкина. *Н. Ульянов.* Рим (венки сонетов). *Ю. Иваск.* Похвала российской поэзии. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ. *Переписка И. А. Бунина с М. А. Алдановым* (публ. А. Зверса). *Анат. Штейгер.* Детство. *М. Гольдштейн.* Вундеркинды 30-х годов. *В. Стерлигов.* Из воспоминаний о художниках. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА. *М. Гардер.* Тоталитарная анархия. *Р. Дэвис.* Предтечи августа. *Д. Левицкий.* Б. Н. Чичерин. *Н. Моравский.* Осень 1905 г. сквозь призму двух газет. *Н. Первушин.* Новое о Древней Руси. СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ. *Е. Кусова.* К убийству проф. А. Л. Бема. *Г. Кочевецкий.* Судьба пианиста Топилина. ПАМЯТИ УШЕДШИХ. *С. Г. Пушкарев, прот. К. Фотиев.* Прот. А. Шмеман. БИБЛИОГРАФИЯ. *Прот. К. Фотиев.* С. Голлербах. «Заметки художника». *Т. Емельянова.* М. Геллер. «Андрей Платонов в поисках счастья». *Ю. Тролль.* Пьесы и киносценарии А. Солженицына. *С. Крыжицкий.* И. Мацкевич. «Дорога в никуда». *Б. Прянишников.* В. Русаков. «Рассказы о потомках Пушкина». *Е. Ремилева.* Б. Балыков. «Девичья честь».

Цена 1 книги — 9 долл., 4-х книг — 30 долл.

Адрес редакции:  
2700 Broadway, New York, N. Y. 10025

# По страницам журналов

## «СТРЕЛЕЦ» «ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ»

(«Стрелец», 1984, № 1)

Издательство «Третья волна» бьет ключом. На последней странице первого номера нового журнала «Стрелец», который стал выпускать издатель А. Глезер, – обложки книг, продукция «Третьей волны»: Козловский, Сысоев, Мамлеев, снова Козловский, сам альманах «Третья волна».

В отличие от альманаха («Третья волна»), журнал «Стрелец» смотрится именно журналом. И это говорит о профессиональном росте издателя. Журнал делать сложнее, чем альманах, – ведь в журнале, наряду с необходимой литературно-художественной «начинкой», нужен отклик «на злобу дня», даже если журнал выпускается раз в триестр.

В связи с названием журнала вспоминаешь «Полутораглазого стрельца» – книгу о футуристах Бенедикта Лифшица. Обложка журнала выполнена в футуристических традициях художником Виталием Длугим. Формат и оформление приятно-утилитарны: обложка мягкая, журнал легко спрятать в карман, пригодится он и для дорожного чтения – невзирая на то, что содержание «Стрельца» отнюдь не легковесно. В списке авторов первого номера Дмитрий Бобышев, Елена Шварц, Сергей Юрьенен, Лев Наврозов; там же – критика Михаила Геллера, интервью Солженицына. Здесь же и художники, выступившие как писатели. Кстати, уже не раз говорилось о том, как хорошо порой пишут художники. Мрачная ирония Неизвестного, увлекательный рассказ Оскара Рабина – еще одно доказательство, того, что умный художник обладает почти всегда и зоркостью, и умением цепко схватывать необходимую для художественного повествования деталь.

Разумеется, первый номер любого журнала – некий «парад-алле», когда перед читателем лучшие из лучших. Но то, что «Стрелец» как бы снял пенки со всего лучшего, что сейчас есть в сфере культуры, литературы, искусства, как в неофициальной отечественной, так и в нашей диаспоре, – доказывает, что к «новорожденному» отнеслись с доверием. В начале номера – благожелательные напутствия В. Максимова, А. Седых и др.

Стихи – Дмитрий Бобышев, Виктор Кривулин, Елена Шварц. Почти воочью видишь, как исчезает, махнув змеиным хвостиком, верткая нитка границы, сдернутая с глобуса! Мы отдалены – не разделены...

Я ведь русский, братья мои, русский я!  
И куда же меня занесло?

Карта Мира, вселенская, хрусткая,  
Нулевое мне кажет число, –

поэзия Бобышева поет над Атлантикой чистым русским распеваем.

Так оптимизм пришел на смену тайному страху – вдруг на новой почве исчезнет запах у таланта? Это сомнение, непонятно кем внушенное, сейчас, к счастью, оказалось несостоятельным. (А может, время такое, и сейчас, и вправду, наши писатели, «переболев» чужбиной, оправились от обморока?)

Вот одно из доказательств очевидного: отрывок из романа В. Войновича, который читается как самостоятельный рассказ, – «Шапка». Советская иерархия – вещь хитрая. Писатель Ефим пишет «о хороших людях» – и это хорошо. Только нейтрально пишет. Нет у него – о, разумеется! – ни строчки против советской власти, но – нет и за! И вот Ефим, томимый жаждой получить лимитную пыжиковую шапку из литфондовских закровов, прямой наводкой пошел за протекцией к большому начальству – и получил по шапке! «Ты хочешь дуриком в другую категорию пролезть, в другой класс, ты хочешь, чтобы тебе дали такую же шапку, как мне, чтобы нас уравнили... Ты думаешь, что против советской власти не пишешь, так мы тебе за это спасибо скажем? Нет, нам мало, что не против. Нам нужно „за“», – вещает босс-громовец. И кажет фигу – огромную! «Увидав перед собою фигу, Ефим сначала слегка отпрянул, а потом качнулся вперед и, как собака, тяпнул Каретникова за большой палец, прокусивши его до кости...» Здесь даже и не рассказ, а нечто вроде басни – и какое же удовольствие ее читать!

Вообще же рассказ – жанр своенравный. Что-то перестал он даваться прозаику западному. Романист – стайер. Он всегда может на своей долгой дистанции добрать напряжение. Труднее спринтеру – рассказчику. Ему надо быть максимально мобилизованным от и до, чтобы рассказ «держал и не пушал», а еще чтобы его была охота пересказать.

В «Стрельце» есть и еще рассказы, Юрьенена и Наврозова. Оба, по странному совпадению, пишут от лица ребенка. Прием не нов. Рассказ Юрьенена профессионально сюжетен. А вот рассказ Наврозова не перескажешь, сюжет незапоминающийся. Образчик современной, «линейной» прозы, когда каждый отрезок кажется хорошо написанным, но нет властной хватки, сюжет не «цепляет», нет стереоскопии (так – псевдонаучно, может, – обозначим вдохновение?)

...Человеком владеет тоска «по настоящему». Рассказ Андрея Платонова (в разделе «Литературный архив») утоляет эту жажду.

При разговоре о Платонове можно, не стесняясь, употреблять слова «неповторимо», «виртуозно», а также – «гениально». О Платонове писать трудно, и надо быть Михаилом Геллером (предпославшим рассказу «Усомнившийся Макар» свою статью), чтобы написанное не выглядело школьным сочинением. Ведь даже чтение Платонова –

труд для души человеческой. Каждую строчку платоновских сказов воспринимаешь как чудо, наслаждаешься монументальным изяществом догмата: «Стали, наконец, являться пролетарии... кто с хлебом, кто без него, кто больной, кто уставший, но все милостивые от долгого труда и добрые той добротой, которая происходит от изнеможения...»; «Даешь душу, раз ты изобретатель!»; «...голова бедного класса отдыхала на подушке под потолком и железным покровом крыши, а ночной ветер природы уже не беспокоил волос на голове бедняка, некогда лежавшего прямо на поверхности земного шара...»

\* \* \*

Продолжим, сделав передышку, так как речь пойдет о более значительном, чем просто суждение о том, что и как написано. Александр Исаевич Солженицын дал интервью журналу «Таймс», и его воспроизводит «Стрелец».

Критиковать Солженицына – пошло. Но комментировать – не значит встать в длинный загибающийся хвост критиканов. Просто сказанное Солженицыным предполагает воздействие и отклик.

Собственно, это отклик всего лишь на одну из многих насущнейших тем, затронутых в интервью.

Не хочется верить, что человек забыл Бога. В России сегодняшнего дня приток в Церковь увеличивается. На Западе же существует спокойная вера, что Он есть. Он – великий фон. На воскресную мессу идут старики, молодые, подростки. Плохо одно: мы временами забываем, что не Бог для нас, но – мы для Бога. Отсюда и стремление достичь недалей цели – личного счастья.

В интервью говорится: «Упадок нравов привел к тому, что слишком стали наслаждаться изобилием». Это так. Но вспомним Рим. Империя раскололась, но на ее сколах взметнулся огонь христианства. Что, если упадок становится началом возрождения?

Отказаться от соблазнов... Да, если есть от чего отказываться. Вызовет восхищение тот, кто среди изобилия изберет строгое постничество. Но – похвалите пост в присутствии голодного человека...

Мне иногда кажется, что самоотречение и недобровольное страдание суть полярные вещи. Страдание очищает, ну, а если не выдержит человек, – вся ли вина на нем одном? Поэт сказал: «Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». Да не предназначено же стекло для «млата», но всегда ли нужен один булат? Оставим же стеклу его хрупкость. «Страдание, – говорит Александр Исаевич, – действительно необходимо для нашего духовного усовершенствования. Но страдания вообще посланы всему человечеству и каждому живому существу в достаточном количестве, чтобы, – *если суметь* (выделено мною. – К. С.) – обратить их к духовному росту. Если человек не делает из них

выводов и озлобляется, так, значит, он совершает очень плохой выбор, сам себя губит». Что ж – теплое растение гибнет от мороза, сорняк выживает. Только так ли уж нужен сорняк с его сопротивляемостью?

Иисус Христос пострадал за всех, за все наши грехи и муки, за нас с нашим малым счастьем, тупым горем. Но – на кресте рядом с Ним еще двое бились в муках, пострадавшие за *свои* грехи! Им, виновным, каково было! Ведь их-то страдание нашло против их воли. И даже роптать они, как Иов, права не имели, поскольку страдание заслужили. И вот мне иногда хочется крикнуть на весь свет: «Господи! Пошли хоть на одну минуту радость всем людям, без исключения, чтобы счастье одного не составило муки другого! Дай нам эту минуту, Всемогущий, – одну-единственную минуту радости на этой земле!»

*Кира Сангур*

## **Журнал «БЪДЕЩЕ»**

(«Будущее»)

**на болгарском языке, ежемесячник,  
издающийся в Париже**

*Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.*

**Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunel,  
75017 Paris, Tel. 380-57-64**

**Годовая подписка: 120 Fr. (70 DM, 30 \$  
Par avion: 50 \$)**

# Наша анкета

В связи с десятилетней годовщиной «Континента» редакция обратилась к членам редколлегии журнала, а также к некоторым общественным, политическим и культурным деятелям Запада и Востока с одним-единственным вопросом:

– Что Вы хотели бы сказать «Континенту» и о «Континенте» к его десятилетию?

Публикуем полученные нами ответы.

Абдурахман Авторханов

Уважаемая редакция!

Искренне поздравляю вас, ваших зарубежных и советских читателей в связи с выходом в свет сорокового номера квартальника «Континент».



«Континент» – не только оригинальный литературный журнал, на страницах которого находят себе место все виды жанров, кроме «скучных», но и многогранная летопись нашей трагической эпохи с ее тяжкими жертвами, с ее великими мучениками.

Канули в вечность времена, когда Пушкин с досадой замечал: «Мы ленивы и нелюбопытны...»

Сегодня уж кагебисты хорошо знают, как неистребимо у советских людей «любопытство» к вершинам духовной культуры и глубинам человеческой психики, породившее феномен мирового звучания: *самиздат*. Кто может усомниться, что свободное слово самиздата наво-

дит на советских тиранов больше страха, чем все атомные бомбы мира? Помните знаменитые слова Ленина, что допущение свободного слова в советской России было бы равносильно самоубийству большевизма.

Особенно велико значение свободного художественного слова в стране сплошной грамотности и многомиллионной интеллигенции, которой тупоумная партийно-полицейская клика правит как чужеземные оккупанты. Тем важнее роль «Континента» в деле нравственного возрождения и гражданского перевоспитания подсоветских народов как предпосылки их политического освобождения.

Только отпетые тупицы не могут видеть, что гибель советского режима и есть единственно возможная гарантия против атомной войны.

В а с и л и й   А к с е н о в

Когда я слышу, как спорят, к какой части спектра, левой или правой, принадлежит наш юбиляр (год за три – возраст молодой зрелости), я вспоминаю, как одна-



жды в поезде московского метро я увидел человека, читавшего «Континент». Журнал, разумеется, был скромно обернут в газетку. Все вокруг читали: московское метро ведь, как известно, самое читающее в мире. Кто читал Чаковского, кто Стаднюка, кто Пикуля... Эта часть спектра в эмигрантских спорах почему-то почти не учитывается. Один читал «Континент». В какую сторону спектра сдвигался

этот скромный смельчак?

«Левое» и «правое» нынче безнадежно перепутано. Проще говорить о «низком» и «высоком». Желаю юби-

ляру по-прежнему удерживать нравственную высоту и дальше набирать в художественности.

Ценко Б а р е в

Десять лет тому назад на культурно-политическом горизонте появился новый журнал – «Континент», во главе с писателем Владимиром Максимовым. Журнал ставил своей задачей вести борьбу против коммунистического тоталитаризма наследников Сталина. Создалась новая трибуна, дающая возможность людям, живущим в условиях несвободы, высказаться по политическим и культурным вопросам.

«Континент» своим появлением создал эмигрантский журнал нового типа: он не только трибуна мысли и творчества третьей русской эмиграции – он открыл свои страницы для авторов с той стороны железного занавеса, притом не из одного лишь Советского Союза, но из всех стран, находящихся под коммунистическим гнетом. Этим редакция и особенно главный редактор выразили свое убеждение в том, что совместная борьба поработанных коммунизмом народов должна иметь и совместную трибуну.



Другой вклад «Континента» – то, что он сумел привлечь к себе представителей культурно-политической элиты свободного мира. Благодаря этому «Континент» установил связь мыслящих людей свободного и поработанного мира и оправдал свое название. Именно это делает его международным, а не только «русско-эмигрантским» журналом.

«Континент» за десять лет сумел обратить внимание свободного мира на страдания людей под властью тоталитарных режимов. «Континент» заставляет мировое общественное мнение быть непрерывно начеку в отношении судьбы поработенных народов.

Не случайно именно члены редколлегии «Континента» были среди инициаторов и основоположников Интернационала Сопротивления, цель которого – координировать усилия борцов за свободу в разных местах нашей планеты.

Но «Континент» – не только политическая трибуна. Он вносит свой вклад в развитие свободной литературы и продолжает традиции всех журналов, которые десятилетиями боролись против притеснения свободной культуры.

Десятилетие «Континента» – одна из вех общего дела во имя справедливости и свободы. Хочу пожелать, чтобы следующая веха была уже не за границей, а на свободной родной земле, освобожденной от коммунистического рабства.

лорд Николас Бетелл,  
член Палаты лордов Великобритании,  
член Европейского Парламента



Маяком правды и здравого смысла явил себя журнал «Континент» в трагическое для России десятилетие, отмеченное арестами и ссылками целого ряда крупнейших ее творцов и общественных деятелей.

Многие ли представляли себе тогда, в 1974 году, что «Континент» отметит свой десятилетний юбилей? Большинству казалось, что, подобно любому журналу всякой эмиграции, после

периода кратковременного расцвета он благополучно сойдет с публичной сцены. Но, к счастью, с ним этого не произошло.

Наоборот, для тысяч своих читателей, как на Западе, так и на Востоке, «Континент» стал образцом подлинно русского духа. Я уверен, что в будущих исследованиях русской истории этот журнал займет свое почетное место.

Энцо Беттица,  
член Европейского парламента,  
член руководства Итальянской  
либеральной партии

К десятилетию журнала я хочу прежде всего поздравить его инициатора и главного редактора, моего друга Владимира Максимова и его заместителя Наталью Горбаневскую, а с ними всех тех, кто творчески участвует в создании этого замечательного плода самых благородных и высоких традиций русской культуры. Хочу добавить, что искренне горжусь тем, что принадлежу к редакционной коллегии «Континента».

Что же касается самого журнала, то, на мой взгляд, главная отличительная черта его (помимо культурного богатства, о котором шла речь выше) – это его подлинный плюрализм и по-настоящему либеральный дух его руководителей. Можно сказать вкратце, что этот журнал – это образец и показатель того, чем, как мы надеемся, сможет и должна стать в недалеком будущем послесоветская Россия.



Боюсь, что «Континент» приговорен к долгому будущему, поскольку до тех пор, пока существует политическое зло, будет существовать и этот журнал. Я полагаю также, что он переживет всех нас и уж во всяком случае доживет до начала нового тысячелетия. Радоваться или горевать по этому поводу – я не знаю.



# Владимир Букровский

«Континент» сумел стать настоящей трибуной антитоталитаризма. За десять лет он сумел объединить все лучшее, что есть в наших обществах. Встреча восточноевропейских, советских, западных писателей и мыслителей на страницах «Континента» все эти годы перерастала во множество реальных встреч, создавая опыт конкретной солидарности в той борьбе, которая должна быть общей, иначе все усилия, все жертвы останутся напрасными. Думаю, что без опыта «Континента» было бы невозможно создание Интернационала Сопротивления. Кстати, именно в тесной комнате редакции впервые обсуждалась эта идея, еще неясно сформулированная нашими индокитайскими друзьями. В мои частые наезды в Париж я



всегда вижу, сколько людей – и далеко не только русских эмигрантов – приходит в редакцию за поддержкой новым начинаниям. Могу пожелать только, чтобы эти начинания были всегда плодотворными и незаурядными, а поддержку они найдут.

### Армандо В а л ь д а р е с

Наш журнал празднует свою десятую годовщину. Все десять лет он был и продолжает оставаться открытым окном к свободе. Его страницы – послание надежды тем, кто страдает во власти тоталитарного рабства.



Поздравляя «Континент», я хочу выразить свою благодарность всем, кто его создавал и кто над ним работает. Одновременно я хочу высказать свою солидарность тем, кто повсюду страдает под ярмом тоталитаризма.

### Галина В и ш н е в с к а я

Я, как говорится, «человек простой». Мне в «Континенте» близко то, что других, высококолых, раздражает. Назовите это агрессивностью – или энергией, стойкой верностью принципам, мне это близко под любым названием. Вот, пожалуй, главное.



Мэзон-Лаффит, 29 марта 1984

Дорогой Владимир Емельянович!

Десять лет публикации журнала – достаточный период, чтобы произвести что-то вроде подведения итогов. Я не знаю другого журнала, для которого эти итоги



оказались бы столь позитивными. «Континент» стал не только ведущим журналом русской эмиграции, но и в большой степени журналом Восточной Европы. Журнал последовательно борется с империализмом российским или советским, провозглашая – в высшей степени честно – право Украины и прибалтийских стран на независимость, а также выступая не только за нормализацию польско-русских отношений, но и за дружбу обоих народов.

Это стало особенно ясно, когда в Польше родилась «Солидарность». Критерием эволюции может служить сравнение «Континента» с «Колоколом» Герцена. «Колокол» обладал огромным влиянием на русское общество, но потерял его, поддержав польское восстание 1863 года: он не сумел преодолеть национализм своих соотечественников. Вам – при поддержке таких людей, как Сахаров и Солженицын, – это в большой степени удалось, и в этом историческое значение «Континента».

Я хотел бы также поздравить Вас с качеством, редким у редакторов: при весьма четком – иногда даже доведенном до крайности – формулировании Ваших взглядов, Вы публикуете материалы, не совпадающие с Вашей точкой зрения. Это прекрасный пример либерализма и уважения к свободному слову.

Говоря о «Континенте», нельзя умолчать о Наталье Горбаневской, для друзей – Наташе, а друзья эти – все поляки на Западе и в Польше, которые встретились с ее действительностью и помощью, с ее особым вниманием к польским делам и с ее прекрасными переводами польской поэзии и прозы. Ее помощь при издании последнего русского номера «Культуры» была неоценимой.

Для меня очень дорого, что с самого возникновения «Континента» я вместе с моими друзьями принадлежу к его редколлегии.

Г у с т а в   Г е р л и н г - Г р у д з и н с к и й

Дорогой Владимир Емельянович,

так это уже десять лет! А словно совсем недавно состоялась наша первая встреча в парижском кафе



вскоре после Вашего приезда из Москвы. Эту встречу и разговор с Вами я описал в «Культуре», подчеркнув Ваше намерение (с благословения Солженицына) основать журнал. И был создан «Континент» – журнал, с которым «Культура» с самого начала установила дружеские отношения.

Когда я пытаюсь подытожить в памяти десять первых лет существования «Континента», вот уже под сорок объемных и богатых номеров ежеквартальника, – размышляя над тем, что было решающим в формировании его четкого лица, я прихожу к выводу, что Вам и Вашим ближайшим сотрудникам удалось соединить две важные (и часто трудно согласуемые) вещи: соблюдение решительной собственной линии и открытость журнала иным мнениям – лишь бы

они не выходили за рамки целей, которым обязан служить сражающийся эмигрантский журнал, выходящий на языке, на котором звучал «Колокол».

Для нас, поляков, особым достоинством русского «Континента» было в течение десяти минувших лет – и, нет сомнения, будет в дальнейшем – постоянное внимание, направленное на обращенные в вассальную зависимость страны Центрально-Восточной Европы и на народы, прямо входящие в состав советской империи. Наша судьба общая – общей она останется, пока существует устройство, основанное на «тюремной цивилизации» (используя выражение Надежды Мандельштам). Недавняя история «Солидарности» показала, что никто из нас не может мыслить об освобождении и бороться за него с успехом *только* в границах своих национальных, общественных и культурных устремлений. «Континент» – я в этом убежден – останется верен этой простой истине.

### Корнелия Ирина Герстенмайер

Чистосердечно должна признаться, что когда я в первый раз узнала о проекте издания «Континента» на других языках, я сомневалась в успехе.



Но сегодня, после десяти лет существования, «Континент» стал не только частью истории русской литературы, но и важным фактором интеграции восточно-западного диалога, а также диалога восточноевропейской эмиграции.

«Континенту» удалось охватить самый широкий круг читателей. Разумеется, журнал одно-

временно вызвал и одобрение, и критику, но ведь критика оживляет дискуссию и, кроме того, показывает, что с «Континентом» можно разговаривать.

Теперь мы, с осторожным оптимизмом, но и с надеждой вступаем в свое будущее вместе с «Континентом».

Пауль Г о м а

Появился «Континент» № 40. Ну и что!

По правде говоря, многие другие журналы уже дожили чуть ли не до «возраста Мафусаила». Однако «Континент» отличается от своих коллег большим художественным оформлением. Но это не все – «Континент» является местом встречи различных авторов и тенденций на всевозможных языках. Все культуры нашли место вокруг общего стола, и диалог может развиваться благодаря духовной силе.

Пусть «Континент», этот очаг толерантности, просуществует – а почему нет? – до 400-го номера!



29/III-1984 г.

Петро Григоренко  
Зинаида Григоренко  
Андрей Григоренко

В редколлегию журнала «Континент»

1974 год. Аресты друзей, вынужденные выезды на Запад вызывали боль и тревогу. Сгущались тучи над



правозащитниками. И вдруг издалека привет и поддержка – страницы «Континента».

Принципы: 1. Безусловный религиозный идеализм. 2. Безусловный антитоталитаризм. 3. Безусловный демократизм. 4. Безусловная беспартийность – целиком приемлемы.

Не зря Максимов и его друзья поехали на Запад. Журнал будет жить и станет поощрением духа. И вот сегодня десять лет.

Десять лет журналу может показаться очень коротким сроком. Но если мы на минуту задумаемся, то увидим, что прошедшее десятилетие было столь насыщено

событиями, что срок этот не кажется коротким. Не всё, наверное, было гладко и не всегда недоразумения легко разрешались. Но «Континент» держал курс и добился надлежащего места в борьбе с советским тоталитаризмом и продуктивного диалога между представителями различных народов советской империи. И нам хочется пожелать всем тем, кто делает «Континент» тем, чем он есть, его Главному редактору В. Максиму, редакции, авторам, читателям – дальнейшего плодотворного сотрудничества. Также нам хочется пожелать всем тем, кто находится в изгнании: «В будущем году – на Родине».

Милован Д ж и л а с

Владимиру Максиму и сотрудникам  
по поводу десятилетия «Континента»

Самое лучшее, что можно пожелать «Континенту» по поводу его десятилетия, – это чтобы двадцатилетия он дождался в России.



Но, от всего сердца желая этого «Континенту», я, должен сказать, не очень уверен в том, что так будет. А для дела, которое «Континент» осуществляет, это даже не имеет рокового значения: идеи, которыми вдохновляется «Континент», исходят из жизненной сути, более долговечной, чем все беды и трудности, и

всегда приносящей плоды. На этом пути – пути истины-свободы – нет поражений, сколько бы ни приходилось ждать победы.

Наконец, одно напоминание: принимая во внимание тот престиж, который завоевал себе «Континент», и

учитывая тесное сплетение современного мира, я считаю, что было бы полезно и перспективно, если бы «Континент» еще шире и систематичнее следил за духовными течениями и общественными явлениями также и вне Советского Союза и Восточной Европы.

Привет от сотрудника.

## И. И л о в а й с к а я - А л ь б е р т и

Десять лет «Континента», свободного русского журнала за рубежом, постоянно связанного с Россией, с теми, кому там не дают права голоса, постоянно созда-



ющего связь между Россией и другими поработочными народами, – чудесный результат жертвенной, терпеливой, умной и созидательной работы. Это и почетный этап в жизни российских диссидентов на Западе, доказательство того, что советская власть ошиблась в своем хитроумном расчете: выдворим этих бунтовщиков за границу, и всё, никто более не обратит на них внимания.

Расчет оказался неправильным. Внимание растет, становится более глубоким и серьезным – уже не сиюминутная сенсация, а беседа. Это происходит благодаря таланту, трудолюбию и преданности России некоторых людей нашей эмиграции. Среди них выдающееся место занимает главный редактор «Континента», большой русский писатель В. Е. Максимов, посвятивший всю свою жизнь служению свободной русской культуре, защите гонимых и борьбе против коммунизма.

Поздравляю В. Е. Максимова и его сотрудников, в первую очередь его заместителя Н. Е. Горбаневскую, и благодарю их за то, что они сумели сделать для всех нас.

Святослав К а р а в а н с к и й

О «Континенте» я услышал впервые в лагерной тюрьме Сосновка в Мордовии. Но истинное знакомство с любым изданием начинается со знакомства с его редколлекцией и мотивами, движущими ею.



Теперь я ближе знаком с «Континентом» и считаю, что мотивы, движущие редколлекцией, и благородны и гуманны. Это, однако, не значит, что я согласен со всем, что печатается на страницах журнала. Но мое несогласие не сопряжено с желанием «закрыть рот» тем, чье мнение я не разделяю. Наоборот, все, кто мыслит, должны высказы-

зывать свою точку зрения. Найти ошибку в мнениях других, раскрыть их несостоятельность – это, пожалуй, главная задача каждого активного инакомыслящего. Поэтому хочется, чтобы в дальнейшем «Континент» не пасовал перед «острыми темами» и не отклонял материалы, с которыми редколлекция не согласна или считает их «взрывоопасными». Пусть «взрыв» породит спор, а в споре, как известно, рождается истина.

Лично мне хотелось бы видеть в «Континенте» специальную рубрику для таких «взрывоопасных» материалов. Назвать ее можно «Колонка инакомыслящего», либо «Давайте обсудим», либо «Осторожно! Спор!», либо еще как. Такая рубрика, при условии, что авторы будут избегать «ленинских норм» в полемике (о чем

должна позаботиться редакция), сделает «Континент» еще более необходимым спутником всех гонимых за идею.

Роберт К он к в е с т

Я думаю, что «Континент» оправдывает свое название, настаивая на единстве европейской культуры, включая русскую. В это журнал внес большой вклад. Но



я историк, и мне особенно по душе исторические материалы, публикуемые «Континентом». Не зная советского прошлого, для раскрытия которого «Континент» прилагает много усилий, никто – ни на Западе, ни на Востоке – не разберется в том, что происходит сегодня, и не будет знать, что делать, чтобы улучшить положение.

Я хотел бы еще сказать о литературе. Если вспомнить о том, что лучшие представители русской и украинской литературы в большинстве своем сегодня либо находятся в изгнании, либо печатаются в самиздате, а официальная литература в СССР практически ничего собой не представляет, то «Континент», знакомя нас с русской литературой, представляет нам подлинную культуру страны и удостоверяет ее связь со всею европейской культурой.

Не только страны Восточной Европы, но и Россию, со всеми элементами запоздалого развития, какие можно обнаружить в русской истории, по существу следует рассматривать как неотторжимую часть Европы. Под Европой я имею в виду Европу европейских языков (по типу заморской Британии, к которой мы

относим и Австралию), включающую европейский континент и «заморскую» Европу, но не Америку – ни Северную, ни Южную. К этой Европе через распространение английского и французского языков примыкают Индия и часть Африки. Русская культура – составная часть мировой европейской культуры, распространившейся на значительной части земного шара. Русская культура – повторяю, часть ее.

Если же принять во внимание, что «Континент» издается не только по-русски, но и на других языках, можно сказать, что этот журнал проникает в остальную европейскую культуру и одновременно, в своем русском издании, старается сохранить и укрепить русскую культуру, помочь ее расцвету как культуры европейской.

Я считаю, что «Континент» сделал большое дело для сохранения восточноевропейской и русской культуры как таковых и одновременно для их осмысления как части общеевропейской культуры.

И – у «Континента» нет соперников. Потому что в Советском Союзе вакуум – ну, если не считать «Литературной газеты». Но что такое «Литературная газета»? Ничего, пустое место...

### Лев К о н с о н

Не от хорошей жизни появился «Континент», но он появился и, слава Богу, живет вот уже десять лет.

Не знаю, у кого как складывалось, и, может, как-то можно было идти иначе, но теперь мне трудно представить свою жизнь без «Континента», да я и не хочу представлять ее без него.



Что мне сказать «Континенту» и о «Континенте» в связи с выходом его сорокового номера? Прежде всего, что я рад. Рад тому, что он существует уже десять лет. И



что желаю ему просуществовать еще столько... сколько надо будет – вплоть до появления возможности всем нам свободно вернуться домой, – чтоб продолжать то же дело там... Рад, что журнал противостоит всем формам носорожества и не теряет ориентировки в том семантическом тумане, где словом «либерал» называют людей, либеральных по отношению только к тоталитарным диктатурам. Рад,

что он противостоит всем их попыткам превратить Россию и русский народ в козлов отпущения за грехи всей нашей цивилизации, попыткам, не только обидным и несправедливым, но и опасным – ибо внушают всем остальным, что они ни при чем и в безопасности. Всем этим надо заниматься и дальше. И если это даже произойдет за счет жарких полемик по жгучим внутриэмигрантским проблемам и отношениям, то тем лучше. Жизнь коротка, а от всей свободы слова всё равно не отгавкаешься.

Континент – это, как известно, обширная территория, твердь, омываемая морями и океанами. И в самом деле – вполне обширная, вполне твердь, и морей-океанов тоже хватает. А равно штормов, цунами, смерчей и прочей мрачной свистопляски... Как и должно. На то и Континент, чтобы раскидисто и твердо *быть*, омываться и противостоять разрушительным стихиям.

Всего десять лет, а внутреннее чувство такое, словно «Континент» всегда был. Без него уже труднопредставимы и русскоязычная культура и эмигрантская жизнь. А следовательно: «До ста двадцати!» – как положено по еврейскому обычаю желать в день рождения виновнику торжества.



Николаус Лобкович,  
ректор Мюнхенского университета

Дорогие друзья,  
«Континент» – один из наиболее интересных журналов нашего времени. Он не только дает информацию о различных процессах, происходящих в России и в других странах за «железным занавесом», но также позволяет западноевропейцам лучше понять душу людей тех государств Европы и других частей света, которые, являясь частью



мировой цивилизации и культуры, насильственно отторгнуты от них тоталитарной системой.

Я желаю, чтобы «Континент» продолжал оставаться таким же, каким он был до сегодняшнего дня, и чтобы круг его читателей все более расширялся. Нам необходимо ваше мужество, дорогие друзья.

Д-р Алоиз М е р т е н с,  
государственный секретарь  
по иностранным делам ФРГ,  
Бонн

## СПАСИБО «КОНТИНЕНТУ» – НЕПОДКУПНОМУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

Десять лет назад, когда был основан «Континент», отношения Востока и Запада стояли под знаком разрядки. После опыта 70-х годов мы знаем, что это была псев-



доразрядка, и всё еще надеемся, что может существовать и разрядка подлинная. Политика Запада того времени была благожелательной попыткой сделать более сносными последствия мировой войны, которую вели две тоталитарные державы на территориях Европы, и начать процесс постепенного смягчения политических причин напряженности и гонки вооружений. Тогда, как и сегодня, «Континент»

своими критическими предупреждениями предостерегал нас от иллюзий, основываясь на опыте жителей государства, пренебрегающего правами человека. Эти люди указывали нам границу, за которой происходившее сближение Запада с советской властью становилось опасным.

Активный политик рискует удовлетвориться тем, что предлагает ему сиюминутная политика. Он всегда нуждается в будоражащем и предупреждающем голосе тех, кто не потерял способности анализировать фундаментальные измерения политических конфликтов.

Сегодняшний конфликт Востока и Запада нельзя объяснить только экономическими или военными данными. Как вчера, так и сегодня он возникает из притязаний на господство той идеологии, которая наделяет себя историческим правом вносить в жизнь необратимые изменения. Претензии коммунистической партии на непогрешимость порождают доктрину о человеке – повелителе истории, присвоившем себе право сначала в мышлении, а затем путем насилия преодолеть действительность ограниченных, грешных и неидеальных людей. В этом – причина подавления прав личности и принципов национального самоопределения, которую всегда указывал «Континент».

Сегодняшний конфликт Востока и Запада противостоит идее единства Европы. Марксистский тоталитаризм пустил свои первые ростки в Германии, и одним из его первых критиков был русский – Достоевский, который и до сих пор остается одним из великих идейных противников Маркса и Ницше (достаточно вспомнить разоблачение психоза сверхчеловека в образе Раскольникова). Несмотря на все расколы, Европа живет иудеохристианской традицией. Эта традиция преодолевает всякую «римскоимперскую» идеологию, в каком бы виде та ни выступала, – она побеждает убеждением, что, сотворив человека, Создатель дал ему способность сопротивляться насилию. Никакая высокая цель никаким насилием не способна уничтожить эту свободу личности. Об этом «Континент» не раз свидетельствовал европейской общественности.

Для многих, кто сумел или кого принудили пересечь границу с Западом, западное общество оказалось большим разочарованием. В «Континенте» не раз говори-

лось о том, что потребительский материализм Запада приводит к потере понимания цены свободы. Запад нуждается в этой неприятной критике. Для будущего Европы необходимо, чтобы таким голосам удавалось проникать в восточноевропейские страны, чтобы там знали, как трудно плюралистическим демократиям защитить мир от опасности войны, соединить в одно целое мир, свободу и борьбу против всяческой несправедливости. Обманутые надежды часто приносят разочарование, а это может вновь привести к крайним позициям.

Спасибо «Континенту» в его десятилетний юбилей за важный вклад в успешный диалог между Востоком и Западом. Пусть его голос продолжает громко звучать и тревожить тех, кто пытается спрятаться в логово кустарной идеологии или в обманчивую частную жизнь вместо того, чтобы честно разобраться в действительности.

Эрнст Н е и з в е с т н ы й

Я поздравляю главного редактора «Континента» Владимира Максимова, я поздравляю всю редколлекцию, в том числе и себя самого, с десятилетием выхода нашего журнала в свет. Путь его был тяжелым, но, преодолевая все трудности, он шел по намеченному направлению. Идеалы и принципы, провозглашенные с первого же номера журнала, не изменились. Я считаю, что это и есть его главное достижение. Читатель – будь то враг или друг «Континента» – не может не заметить, что журнал этот обладает поистине марафонским дыханием, а это жизненно важно



в нашем юрком, спекулятивном и весьма изменчивом мире. Дай-то Бог «Континенту» и в его следующем десятилетии сохранить это дыхание и не изменить самому себе.

Жорж Н и в а

Мы, французы, забыли, что такое «журнал», которого ждешь из месяца в месяц, где встречаешься с авторами регулярно, на какой реагируешь эмоционально, как на живое лицо: восторгом и досадой, раздражением и увлечением. Настоящий журнал – это друг, чьего звонка ожидаешь с нетерпением. И вот таким другом для нас стал «Континент», подаривший нам столько стихов и прозы за десять лет.

Французская публика потому забыла о журналах, что споры ее перекочевали в другие места, а русские журналы потому и плодятся (к тому же еще и толстеют!), что других территорий для живого спора и животворящего слова у вас нет. Вот когда по русскому телевидению мы услышим Бродского и увидим дебаты между Максимовым и Синявским с комментариями Некрасова, тогда... Пока же мы, читатели русской печати в свободном мире, радуемся, что есть острова русского слова – русские журналы за рубежом. Мы желаем, чтобы этот журнальный архипелаг когда-нибудь «царским поездом» причалил к тому дальнему матерiku, чье отсутствие и присутствие придает, по моему, каждому русскому слову сегодня такой вес, такую ответственность и такую, хотя и скрытую, но трагическую красоту.



В области публицистики и обзора культуры «Континент» поистине журнал международный, но более всего «Континент» восхищает меня своей большой гражданской смелостью, включая самокритику. Впервые на страницах русского журнала большое число русских интеллектуалов выступало на защиту всех порабожденных народов СССР, в защиту их права на самоопределение. В этой борьбе, которая включает освобождение самой России, «Континент» проявил глубокую мораль своей государственной мысли. Поздравляю.



Мстислав Р о с т р о п о в и ч

Дорогие мои! Вы предупредили, что не ждете восхвалений. Но чего? Критики? Я – не критик, и мне свойственно восторгаться тем, что люблю, а не выискивать «пятна на солнце». Все эти годы, а уж особенно в шокотный момент, когда нас «лишали родины» – как будто можно лишиться родины! – я чувствовал дружеский локоть, братскую поддержку «Континента» и его главного редактора. Надеюсь, что и вы чувствовали мою ответную поддержку, полную любви и восхищения. Она и на следующие десятилетия всегда с вами.



Дорогой Владимир Емельянович!

От имени редакции «Нового Русского Слова», старейшей русской газеты в мире, позвольте поздравить Вас и всех сотрудников «Континента» с десятилетием существования журнала.

Когда-то, во время исторической обороны Севастополя, каждый месяц засчитывался защитникам крепости за год службы. Как засчитать Вам десятилетнее пребывание на посту редактора «Континента»?

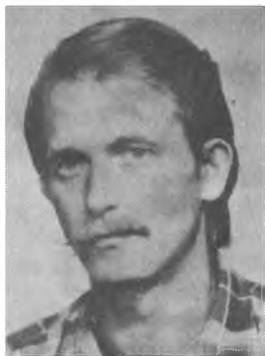
Под Вашим твердым руководством «Континент» объединил лучшие литературные и публицистические силы всех трех эмигрантских «волн». Десять лет – долгий срок, не многие издания выдерживают испытание временем, но «Континент» по-прежнему молод и интересен. С его страниц веет чистым воздухом.

Что же можно пожелать «Континенту», его редактору и сотрудникам в юбилейные дни? Только одного: чтобы наступил момент, когда «Континент» сможет выходить в свободной России, в Москве или в Петербурге, где будут его читать бесчисленные читатели и почитатели.

Душевно Ваш



Не так уж много на свете журналов, которые хотели бы – в той форме, в которой они выходят, – прожить покороче. Таких, что самой своей деятельностью стремятся сменить место выхода. К этим удивительным журналам принадлежит «Континент». В момент осуществления идей, за которые он борется, идей демократии в Восточной Европе и вообще во всем мире, – «Континент», вероятней всего, радикально изменился бы. Но и тогда такой журнал останется нужным.



Когда я впервые встретился с «Континентом» (а было это под конец 1975 года, как раз тогда, когда в конституцию ПНР вписывали «любовь» к Советскому Союзу), он стал для меня откровением. Я многому научился, а главное, увидел, что можно подняться над тем, что нас разделяет, не игнорируя этого и в то же время стараясь в нем разобраться и ведя к взаимному пониманию, ибо «Континент» борется со старым принципом «разделяй и властвуй», тем принципом, который коммунистические режимы вбивают в нас с детства.

Когда я читаю «Континент», у меня нет впечатления, что это «эмигрантский» журнал. В благоприятствующих условиях он мог бы выходить где угодно: в Москве, Ленинграде, Праге, Варшаве или Будапеште. Читая тексты, не можешь определить места издания. И в этом, вероятно, тоже лежит величие журнала.

И хотелось бы по-старопольски пожелать «Континенту»: «Сто лет!» – но я предпочел бы пожелать как можно меньше лет в Париже и как можно более скорого переезда в Москву.

# КОНТИНЕНТ

Ежеквартальный литературный,  
общественно-политический  
и религиозный журнал

## ЮБИЛЕЙНАЯ АКЦИЯ

1984 – юбилейный год журнала. Ему исполняется 10 лет. В связи с этим читателю, **ни разу не имевшему абонемента**, предоставляется возможность в течение всего юбилейного года оформить **удешевленную** годовую подписку (4 номера) на КОНТИНЕНТ. Всего лишь за ДМ 30.–, что на 25% дешевле обычного годового абонемента (ДМ 40.–) и на 37,5% – обычной розничной цены (ДМ 12.–).

Ваш абонемент, дорогой читатель, – одновременно и моральная поддержка, и признание, и пожелания дальнейших успехов «юбиляру» – крупнейшему журналу в русскоязычной прессе эмиграции.

Редакционная коллегия КОНТИНЕНТА:

**Василий Аксенов, Раймон Арон, Ценко Барев, Джордж Бейли, Сол Беллоу, Николас Бетелл, Энцо Беттица, Иосиф Бродский, Владимир Буковский, Ежи Гедройц, Александр Гинзбург, Пауль Гома, Густав Герлинг-Грудзинский, Корнелия Герстенмайер, Петр Григоренко, Милован Джилас, Ирина Иловайская-Альберти, Эжен Ионеско, Роберт Конквест, Наум Коржавин, Эдуард Кузнецов, Николаус Лобковиц, Михайло Михайлов, Эрнст Неизвестный, Амос Оз, Андрей Сахаров, Виктор Спарре, Странник, Юзеф Чапский, Карл-Густав Штрём, Пьер Эмманюэль.**

Главный редактор журнала  
**Владимир Максимов**

На страницах журнала – современная  
проза, поэзия, публицистика  
авторов Восточной Европы

Склад и экспедиция

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB**

**Bauerstrasse 28 · 8000 Munchen 40 · West Germany**

Купон на обратной стороне

# КОНТИНЕНТ

Годовая подписка (4 номера)  
40,— ДМ, или 20,— US\$, включая пересылку.

Вы экономите 8,— ДМ, или 4,— US\$  
от розничной цены!

---

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера)  
начиная с №.....

Имя: .....

Адрес: .....

.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком ☐ почтовым переводом ☐  
через банк ☐

---

Платеж и заполненный талон просим направлять:

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB**

Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630

Postscheckkonto: München 147391-804



# РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

**«КОНТИНЕНТ»**

Свыше 1500 титулов на складе.

Требуйте каталоги

Subscription inquiries  
should be addressed to



**A. Neimanis • Buchvertrieb**

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany



Мы с удовольствием приветствуем сороковой номер журнала «Континент». «Континент» широко распространен среди польской университетской интеллигенции. Он с первого номера доходил в Польшу, так что мы, новое поколение польской оппозиции, встретились с ним уже давно. Можно сказать, что в какой-то степени мы тоже являемся его учениками.

Чтобы читать «Континент», имело смысл учиться русскому языку — языку наших оккупантов, но и языку наших друзей в коммунистическом рабстве. Благодаря «Континенту» мы смогли понять, что Советский Союз и коммунизм не надо отождествлять с Россией, что может существовать демократическая Россия, которая чувствует в себе силу отбросить империалистическую традицию и царей, и «красных».

«Континент» как форум восточноевропейского диалога, свободной и независимой мысли разных наций сыграл роль предтечи в формировании восточноевропейской оппозиции и в осознании общности ее интересов в борьбе за свободу, против советского гнета.

Нам, либеральным демократам, борющимся за свободную и независимую Польшу среди независимых и свободных народов Восточной Европы, программа «Континента»: свержение коммунизма и равные права для всех наших наций — очень близка.

Мы надеемся, что «Континент» будет продолжать свою успешную работу на пользу всех народов Восточной Европы. Но мы думаем, что самые серьезные труды «Континента» еще впереди — на том новом этапе, когда начнут создаваться свободные и равные отношения между народами Восточной Европы после падения советской власти.

*От имени польской подпольной организации «Неподлеглоść» («Независимость») и редакции журнала «Неподлеглоść» — их парижский представитель*

**МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ  
ОБ  
АНДРЕЕ САХАРОВЕ:**

*Я не знаю никого другого, у кого был бы такой взгляд. Я познакомился с ним в те времена, когда он начал терять все свои привилегии. Он выбрал этот крестный путь, прекрасно понимая, что его ожидает. Сначала он превратился в рядового человека, стоящего в очереди за картошкой. Как я. Мы были соседями по даче. Сейчас его положение гораздо хуже рядового. И все эти страдания — за нас. Вот почему я считаю, что все мы сейчас отвечаем за его жизнь.*